ТЮРЬМОЙ

АЛЕКСЕЙ ШЕМЕТОВ

SHOUT
SHARE
IT

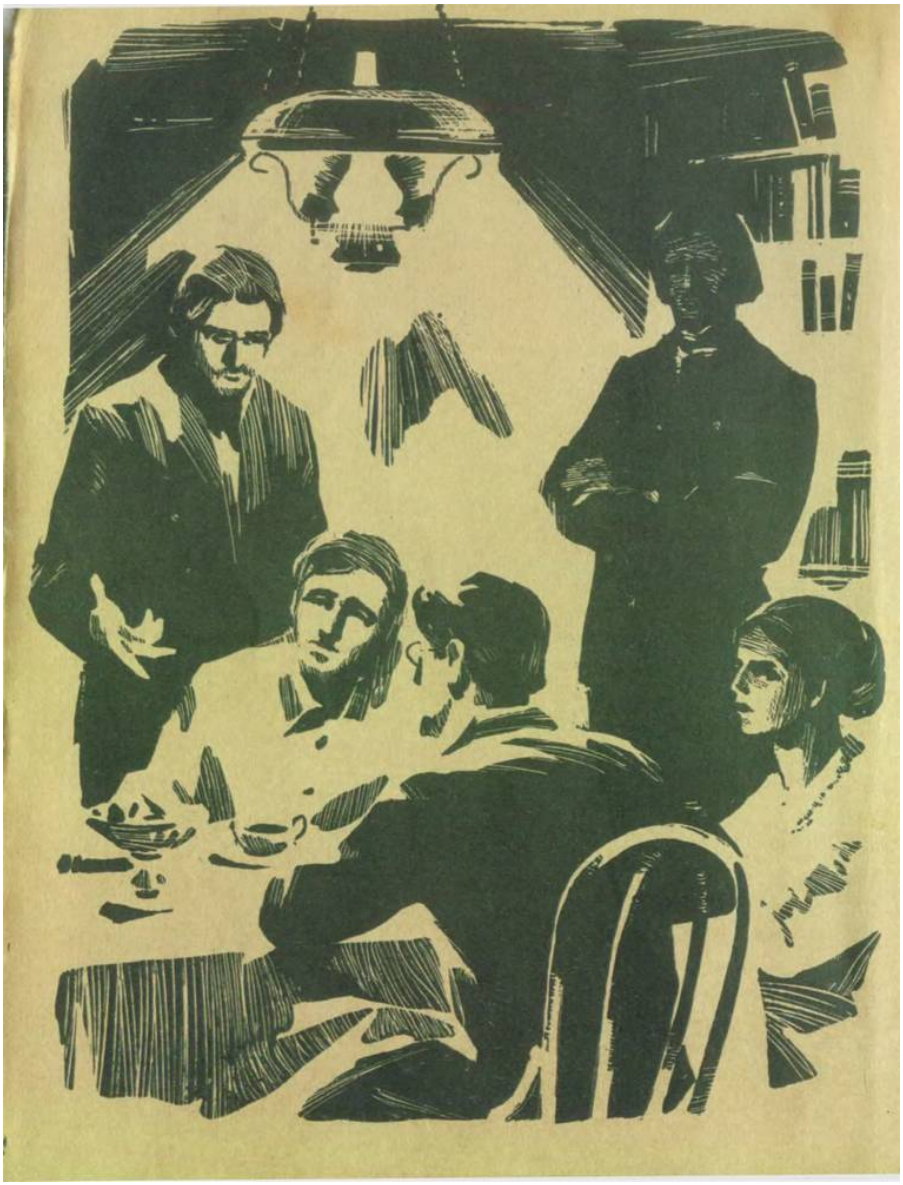
Annotation

Остро драматическое повествование поведёт читателя по необычайной жизни героя, раскроет его трагическую личную судьбу. Читатели не только близко познакомятся с жизнью одного из самых интересных людей конца прошлого века, но и узнают ею друзей, узнают о том, как вместе с ними он беззаветно боролся, какой непримиримой была их ненависть к насилию и злу, какой чистой и преданной была их дружба, какой глубокой и нежной — их любовь

-
- ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
- Часть первая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
- Часть вторая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- 9
- 10

- Часть третья
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Книга Алексея Шеметова «Вальдшнепы над тюрьмой» открывает новую большую серию повестей о борцах революции всех времён и всех континентов. Она посвящена видному русскому революционеру Николаю Федосееву, человеку редкого таланта и большой сложной души, «…для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своём повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» (В. И. Ленин).

Часть первая

1

Как это было? Сейчас всё это видится со стороны. Теперь ему кажется, что там, в той жизни, был не он, а кто-то другой. И можно спокойно (не для следователя) всё восстановить. В самом деле, как это было?

В июне они переехали из Казани в Ключищи и поселились в одном дворе, он — во флигеле, Аня — у своей подруги, молодой акушерки, которая снимала тут дом — бревенчатый, снаружи совсем крестьянский, но внутри по-городскому уютный. Хозяин дома куда-то перебрался, и в покинутом гнезде, в этом зелёном дворике, обнесённом плотной изгородью и укромными пристройками, можно было жить совершенно независимо и не опасаться чужого глаза. В одном из сараев был закопан ящик, и это из-за него пришлось обосноваться именно в Ключищах. Но если бы они стали искать другое пристанище, даже не думая о ящике, лучшего места под Казанью всё равно не нашли бы.

Лето было солнечное, и он ходил в белой вышитой косоворотке, ни разу не надевал форменную куртку, которой уже стыдился, потому что совсем затаскал её за эти полтора гола, как выгнали его из гимназии. У него было две косоворотки, и каждое утро Аня меняла их. приносила во флигель свежую, аккуратно сложенную, ещё тёплую после утюга. Поднимались они рано. Выпивали по кружке молока и выходили на улицу. Село, окутанное влажными садами, тихо дремало. Хозяйки доили во дворах коров, и хорошо слышалось, как сочно, с мягким звоном, чиркали струн в подойниках. Пахло парным молоком и туманом.

Они шли стороной дороги. Середина улицы но утрам была покрыта сырой пылью, хранившей вчерашние следы колёс и копыт, а вдоль заборов зеленела общипанная скотом трава, и идти но этой росистой траве, ощущая сквозь обувь прохладу, было особенно приятно.

У лавки, запертой на все болты, они поворачивали за угол и узким проулком выходили на берег Волги. Спускались к обсохшей косе, садились на одинокий средь гальки серый валун и молча смотрели, как лениво двигалась река и как медленно ползли по ней белые космы тумана. В противоположную сторону Волга вдавалась заливом, край широкого затона терялся в тумане, и им казалось, будто сидят они у моря, которое когда-нибудь вот так ляжет к их ногам. Хорошо было молчать вдвоём, не хотелось менять на слова полноту ощущений.

Выходило из тумана багровое солнце, поднималось и сразу начинало сильно греть. Они вставали и шли но берегу. Однажды,

знакомясь со здешними местами, они дошли так до устья Свияги, поднялись вёрст на восемь по этой реке, побывали в бывшей крепости Ивана Грозного, в Свияжске, и вернулись в Ключищи только назавтра вечером. Но теперь, жалея время, они не могли позволить себе такой роскошной прогулки, далеко не уходили. За селом он оставлял Аню купаться, а сам шагал дальше и думал, как будет, когда она станет его женой, исчезнет ли стыдливость, или так же не смогут они купаться вместе? Дух захватывало, когда он думал о будущей близости. Он шёл всё дальше, не оглядываясь. Уходил за ивняковый мысок, там раздевался и бросался в воду.

Потом они возвращались. Она шла, взяв его под руку, и от неё, молоденькой, цветущей, одетой в лёгкое платье, льнущее к плотному влажному телу, пахло рекой и новым ситцем. По деревенской будничной улице идти так было неловко, Аня освобождала его руку, и они шагали по-деловому быстро. Заросший зелёный двор встречал их густым запахом лебеды и полной тишиной. Наталья Павловна, как величали в селе акушерку Наташу, была уже в больничном участке, но дом оставался открытым, а в кухне стоял горячий самовар с расписным чайником на конфорке. Аня быстро собирала на стол. Она умела почти из ничего приготовить прекрасный завтрак, и какой-нибудь простенький салат казался необыкновенно вкусным, и за столом с ней было уютно и празднично.

После чая он шёл во флигель, садился за стол, отодвигал на угол горшок с полевыми цветами *и* работал. Под вечер Аня приносила с пашен охапку свежих цветов.

— Это не те? — спрашивал он.

— Нет, Коля, ещё не те. Разве не видишь, что я спокойна? Те я спокойно преподнести тебе не смогу.

Как-то здесь она сказала, что принесёт ему особенные цветы, такие, которые дарят только раз в жизни, когда на всё решаются. Но приносила она пока не те.

Обедали вместе с Наташей, уже под вечер. Потом вдвоём возвращались во флигель, сидели тут до полных сумерек, и это были их лучшие часы.

— Знаешь, Аня, — сказал он однажды, — Ключищи должны стать нашей опорной крепостью.

— Как Свияжск для Ивана Грозного? — улыбнулась она.

— Не совсем удачное сравнение. Не думаю, что это село когда-нибудь назовут Николай-городом или Анна-городом, как называли когда-то Свияжск Иван-городом. Наши дела куда скромнее, чем у Грозного. Нам стен острожных не возводить и Казани не брать.

— Почему же не брать? Нам надо взять и Казань, и Петербург, и Москву. И всю Россию.

— Не будем спешить.

— А когда приедет Григорьев? — вдруг спросила она, вспомнив трогательно привязанного к ним паренька.

— Недельки через две. Приедет — достанем ящик. И начнём готовиться к наступлению.

— А как будет с твоим исследованием?

— До исследования ещё далеко. Я просто коплю материал. Что из этого выйдет — посмотрим.

— Нет, ты начал интересную работу. Я никогда не дам тебе отступиться.

— Думаешь, мы всегда будем вместе?

Она не ответила.

— Нас ждут тюрьмы, — сказал он. — Ты это понимаешь?

— Да, я всё понимаю. Мы всегда будем вместе. Всегда. Даже тогда, когда нас надолго разъединят.

Он придвинулся, она прижалась к нему, и они замолчали, обнявшись. Во флигеле стало темнее, но лампы они не зажигали: в сумерках лучше мечталось.

Мычали вернувшиеся с выгона коровы. Ане не *б* хотелось подниматься с лавки, она посидела ещё с полчаса, потом взяла крынку и ушла в соседний двор к хозяйке, а он отправился к мужикам.

Ему, сыну городского дворянина, не знающему ни помещичьего, ни холопского быта, хотелось проникнуть в мужицкую жизнь, и которую гак снято верили крестьянские апостолы и их учитель Михайловский. От Михайловского, кумира ранней юности, он уже отошёл, но если он решил спорить с народниками и взялся изучать историю русской общины, надо было знать, что осталось от этой общины в современной деревне. У Ключиц была своя история. Во промена, когда русские взяли Казань, её окрестности заняли служилые люди Ивана Грозного. Потомки их, продолжая царскую службу, укоренялись всё прочнее и при Петре получили земли в наследственную, вечную собственность. К их владениям одна за другой прирастали деревеньки упрямо плодящихся крепостных. Так выросли и Ключищи. Деревня долгие годы была чисто крестьянская, по её перетрясла реформа. Мужики оторвались от земли и кинулись на побочные заработки. Одни ушли в Казань на мыловарни и кожевенные заводы, другие остались на месте и принялись ломать камень, выжигать известь и ковать. А некоторые, более сообразительные, сажали в огородах плодовые деревья и через несколько лет уже торговали на казанском базаре яблоками и

вишней.

Ключищинские мужики теперь не жили общиной, миром. Сильные сколачивали крепкие хозяйства, заводили кузницы, брали подряды, а слабенькие, люто ненавидя их, шли к ним в работники. Во всём селе невозможно было найти дружных соседей, потому что рядом с ухватистым мужиком, возводящим новые постройки, жил горький неудачник, отчаянно беспечный, готовый пропить последнюю копейку, бессильный заменить погнившую гесину на замшелой крыше своей избы. Просидев вечер в какой-нибудь несчастной семье, Николай возвращался расстроенным и подавленным. Он зажигал лампу и долго шагал по своей келье, сначала медленно, потом всё быстрее, и тяжесть спадала, приходили мысли, которые хотелось сразу же записать, и он садился за стол, а в соседнем дворе уже кричал петух, запертый в закутке.

Потом… Как это было потом?

Приехал Миша Григорьев, совсем возмужавший, загоревший, в бархатной тюбетейке. Его ждали, но приехал он всё-таки внезапно. Ворвался во флигель, бросил в угол какой-то плоский ящик, положил на стол книгу, подошёл к другу (Аня ещё не пришла с цветами с полей) и обнял его.

— Ну, Пимен, здравствуешь? Пишешь?

— Здравствуем, Миша, здравствуем! Рассказывай, как там Казань, как друзья.

— Студенты расползлись кто куда. Санин забился в подлиновские леса, в отчий дом. Будет переводить Каутского.

— Знаю, получил письмо. А другие?

— Маслов остался в Казани, пишет какую-то статью. Ягодкин пока тоже в Казани. Собирается сюда. Да, я привёз тебе рассказы Максима Белинского. — Григорьев взял со стола книгу и подал её другу. — Это очерк о киевских босяках. О «пещерных» людях. Что делается в России? Газеты бьют тревогу, пишут о бродяжничестве, о бегстве мужика.

— А я только что прочёл рассказ Каронина. Тоже, по существу, очерк. Наши волжские босяки живут, оказывается, и в береговых норах. Огромные береговые колонии. Это, как говорит Каронин, люди вне общества. Да, миллионы людей вытеснены за пределы общества, за пределы нормальной трудовой жизни. А сельской общины. о которой трубят народники, фактически нет. Я, Миша, здесь в этом убедился.

Григорьев прошёлся по комнате и повернулся к окну.

— Это кто? — сказал он. — Анна? Загорела. Не узнать.

Николай глянул в окошко. Аня бегом бежала по зелёному двору. Что с ней, куда так торопится? Что за цветы? Не те ли?

Ромашки. Ромашек она ещё не приносила.

Аня влетела во флигель и остановилась у порога, сникла. Миша тоже опешил, понял, что между его друзьями что-то здесь произошло, что он чему-то сейчас помешал. Он опустил голову. Аня растерянно посмотрела на Николая, подошла к Мише и, бросив цветы на лавку, по-дружески обняла его, и тот заулыбался, довольный, что по-прежнему можно относиться друг к другу просто.

— Аня, не знаешь, Наталья Павловна дома? — сказал Николай.

— Не знаю. Кажется, дома, окно на улицу открыто. Сходить?

— Да, попроси её сюда.

Аня убежала, и вскоре они пришли вдвоём. Наталья Павловна уже догадалась, в чём дело, и в белом своём халате была серьёзна и строга, как хирург, приготовившийся к операции. Сдержанно поздоровалась с Григорьевым и повернулась к Николаю:

— Ну что, за дело?

— Да, теперь пора.

— Я не успела и переодеться, — сказала Наталья Павловна. — Да ладно, сойдёт.

Она повела их в сарай, показала место в углу, потом сходила куда-то за лопатой и подала её Николаю. Николай начал копать. Все молчали, каждый с опасением думал, цел ли ящик, не добрался ли кто по него.

Ящик оказался на месте. Николай, опустившись на колено, достал его из ямы, смёл с него землю.

— Вот он, драгоценный, — сказал он. — Наталья Павловна, гвоздодерку бы или какой-нибудь топорик. Не найдётся?

— Найдём, Николай Евграфович.

Николай принёс ящик во флигель, поставил на лавку возле рассыпавшегося ромашкового букета. Аня собрала цветы и положила их на подоконник, а Миша сел на то место, где они лежали.

Наталья Павловна принесла топор. Николай взял его, всадил угол лезвия под крышку, потянул топорище вверх, взвизгнули ржавые гвозди, крышка приподнялась, Миша сунул под неё пальцы и сильно рванул — ящик открылся. Николай набрал в горсть десятка два металлических брусочков и стал рассматривать их торцы. Литеры были грязные, старые, с сильно сточившимися очками, но могли ещё служить.

— Вот и начало типографии, — сказал Миша.

Николай бросил литеры в ящик и сел на угол стола. Он оглядел флигелёк. Весело улыбнулся.

— Отсель грозить мы будем шведу, — сказал он. — Миша,

показывай, что ты привёз.

Григорьев поставил на пол плоский ящик и откинул крышку. Ящик оказался внутри разделённым на мелкие ячейки.

— Для наборной кассы, — пояснил Миша.

— А я подумал, ты верстатку привёз, — сказал Николай. — Печатники обещали мне достать. Ягодкин должен сходить к ним.

— Вот Ягодкин и привезёт. На днях он будет здесь.

— Ну что ж, — сказал Николай, — давайте разберём шрифт.

Наталья Павловна принесла какую-то старую шаль и расстелила её посреди флигеля. Шрифт рассыпали. Все сели вокруг этой россыпи на корточки и стали собирать литеры и бросать их в ячейки плоского ящика — каждую на своё место.

Все три окна были открыты, но во флигеле было душно, хотя уж близился вечер.

— Может быть, потом разберём, когда зайдёт солнце? — сказала Наталья Павловна. — Пойдёмте обедать, я окрошку приготовлю, студень достану из погреба.

— Нет, разберём сейчас, — сказал Миша, — вечером и очка не разглядишь.

— Но вы же проголодались в дороге, — настаивала Наталья Павловна.

— Мы в трактир заезжали.

Наташа поднялась.

— Вам неудобно? — сказал Николай. — Миша, какие ж мы мужчины? — Он взял у стены низенькую скамеечку и поставил её девушкам. И, разогнувшись, прислушался. — Колокольчики?

Все затихли — гудел влетевший во флигель шмель, но как будто что-то ещё и звенело, тоненько, прозрачно.

— Да, колокольчики, — сказала Аня.

— Тройка, — сказал Миша, — похоже, тройка летит.

Николай схватил ящик и высыпал шрифт на шаль, свернул её в узел. — Миша, ломай ящики! — сказал он и побежал в сарайчик, там бросил узел в яму и принялся закидывать её землёй. Торопливо работал лопатой, на мгновение выпрямлялся, прислушивался, — звенело всё явственнее, он снова сгибался, спешно зарывал яму, и вот уж всё сровнял, насыпал на сырую, чёрную землю серой, высохшей и кинулся во флигель: колокольчики заливались уж где-то у села.

Во флигеле ящиков не было, валялись только осколки досок, доски Миша куда-то выбросил, Аня суетливо перебирала на столе книги, одни отбрасывала, другие подавала Наташе, та совала их под халат. под мышку. Миша искал что-то в столе. Николай сгрёб в кучу листы бумаги, стал в них рыться, но было уже поздно: колокольчики гремели близ двора. Наташа убежала в дом, Миша

тоже куда-то метнулся, звон оборвался. Аня, бледная, глянула на Николая, он торопливо обнял её.

— Оставайся здесь, я их встречу, заведу к Наташе, сюда не зайдут. — Он повернулся к двери, взглянул, выходя, на подоконник. больно сжалось сердце — ромашки остались увядать.

В калитку входили один за другим жандармский ротмистр, товарищ прокурора и казанский исправник.

Из-за угла флигеля выглянул Миша, и Николай мигнул ему, показал головой в сторону Казани — беги, мол, к друзьям, предупреди.

Григорьеву удалось ускользнуть, Наташа осталась в доме, а Николая и Аню арестовали. И приехали-то, как можно было понять по первым вопросам, не за ним, Николаем Федосеевым, а за ней, Анной Соловьёвой. Это было странно.

Книги, бумаги и узел со шрифтом бросили в тележку исправника. Николая посадил к себе ротмистр, Анну — товарищ прокурора. Их увозили из Ключиц вечером. Расплющенное красное солнце лежало на горизонте, и казалось, что оно упало и расплавилось от удара.

Вот как это было. Но но о это отодвинулось так далеко, что временами кажется, что вовсе ничего и не было.

2

А может быть, вообще ничего нет? Ничего, кроме каменного сундука, в который ты заперт. Шопенгауэр прав. От глава зависит бытие всего мира. Ты видишь с койки только серые стены и мрачный сводчатый потолок. И больше ничего. Значит, ничего и нет. Ничего и не было. Ни Казани, ни летнего месяца в Ключищах, ни Анны. Или Анна всё-таки была? Но если она была, куда же так бесследно исчезла? Можешь ли ты представить её? Закрой плотнее глаза. Так. Что-нибудь видишь? Ничего. Темнота. Расплывчатая, без всяких границ, без конца и начала. А что такое темнота? Вероятно, это и есть вселенная. Таким был мир, пока не открылся чей-то первый глаз. Таким он и останется, когда погибнет последнее зрячее существо.

Николай вскочил, надел коты, свернул соломенный тюфяк и подушку, положил в угол. Потом поднял к стене железную кровать и стал ходить взад и вперёд. Нет, надо что-то делать, что угодно, лишь бы не терять ощущения реальности. За дело.

Асфальт в камере загрязнился и потускнел. Николай ежедневно натирал его до чёрного блеска, но последнее время отступился. Тяжело заболел. Работы ему не давали, разрешили «открытую койку», и он целыми сутками лежал на кровати, которую должен был поднимать на день к стене, если бы доктор не освободил его от этого.

Он взял суконную тряпку и принялся тереть пол, но камера опрокинулась и косо полетела вниз. Он упёрся обеими руками в асфальт, поднялся, минуту постоял в искрящейся мгле, переждал тошнотную качку и медленно пошёл к стене с мутным окошком вверху. Тут остановился. Глянуть бы вдаль на город. Нет, ничего не выйдет. Росту не хватает, и слаб ещё, не подняться. Весной можно будет встать на табуретку, схватиться за решётку и увидеть не только Петербург, но и Неву. А пока надо пользоваться пространством этого сундука. И в сундуке можно мыслить. Мысль вне власти министров. Пусть у тебя отнимают всё, но мысль всегда остаётся с тобой. Не предавай её, неразлучную, верную, не оставляй без нищи и работы. Да, по где же здесь возьмёшь ей пищи? Эти стены питали её только первое время. Она всё из них высосала, и теперь наступает голод. Голод, говоришь? Не отчаивайся. Никакого голода. У тебя есть большой запас. Пережитое. Ага, вспоминать? Подводить черту? Это в двадцать-то лет?..

…Солнце, верно, поднялось уже высоко, если свет, пробив заиндевевшие стёкла, лёг уютным квадратиком на асфальт к

двери. Свет. Слабый, бледный, но всё-таки свет. И в квадрате на полу хорошо видны узлы оконной решётки. На дворе, должно быть, морозно. Сегодня не кружится голова, *а* можно подольше походить по камере, подумать. Вместе с болезнью из тебя выходит всё чёрное. В душе удивительно чисто, и мир — твоё прошлое, заменяющее настоящее, — видится совершенно отчётливо. И жизнь возрождается. И Аня, розовая, чуть загоревшая, с охапкой цветов, бежит через зелёный деревенский дворик к тебе во флигель. И армянин Лалаянц, молоденький, застенчивый, опускает голову. Постой, почему Лалаянц, а не Миша Григорьев? Смещение. Что-то подобное было раньше в Казани, в чьей-то студенческой комнатушке, в которой действительно был Лалаянц. Исаак Лалаянц.

3

Он появился в доме хозяина как-то в конце осеннего вьюжного дня, когда Николай (не ты, запертый, а тот, ещё свободный), вернувшись из гимназии, засел было в своей комнате на весь вечер за Шопенгауэра. Хозяйка поспешила сообщить приятную новость и настежь распахнула дверь.

— Коленька, в пашем полку прибыло! — сказала она. — Идите, познакомьтесь. Реалист. Очень симпатичный юноша. Думаю, будете друзьями, хотя он ещё мальчик. Такой, знаете, скороспелый мальчик-южанин. Прошу в гостиную.

Она ушла. Николай поднялся из-за стола, подошёл к двери, чтобы закрыть её плотнее. Он взялся за медную ручку, но невольно прислушался к хозяйкиному голосу, доносившемуся из гостиной.

— Теперь у меня настоящий пансион, — говорила хозяйка. — Два реалиста, гимназист и гимназистка. Ну, дочка, конечно, не в счёт. Вам и втроём будет неплохо. Правда, Исаак? С сыном, раз учитесь вместе, вы уже дружите, сойдётесь и с Коленькой. Коленька вам очень понравится. Чудесный молодой человек. Чистейший аристократ. Сын надворного советника.

Николай прихлопнул дверь, сел за стол и принялся за книгу. Если он решил закончить сегодня том Шопенгауэра, отступать не будет. С реалистом познакомится за ужином.

Дверь снова распахнулась.

— Коленька, мы вас ждём, — сказала хозяйка. — Не обижайте мальчика. Познакомьтесь.

— Обязательно сию минуту?

— Мне хочется свести вас именно сейчас, пока муж сидит в кабинете.

Николай закрыл книгу и пошёл за хозяйкой.

В гостиной уже горели многосвечовые канделябры

С дивана вскочил черноволосый мальчик, большой, рослый, но всё-таки мальчик, такой бесхитростный что Николаю захотелось тут же взять его под защиту и покровительство.

— Это Исаак Лалаянц, — сказала хозяйка, — Воспитанник реального училища, Мотин товарищ, отныне мой второй нахлебник. Прошу любить и жаловать. А это Николай Федосеев. Будущий Чаадаев. Такой же справедливый и смелый, такой же умный и благородный.

Николай усмехнулся.

— Нельзя ли поумеренней?

— А вы не скромничайте, Коленька, держитесь достойно. Вот

вас уже четверо. Можете объединиться в кружок, теперь это в моде. Ну, что вы так стоите? Растерялись? Лиза, усаживай кавалеров за стол, сейчас подадут чай. Мотя, ты что хмуришься? Принимай своих друзей, помоги им познакомиться.

Сын-реалист сидел у столика в углу и не поднимался из кресла. Дочка-гимназистка стояла у окна, теребила сборки шёлковой гардины и тоже не двигалась с места.

— Что ж, придётся вмешаться старухе. — Хозяйка кокетливо называла себя старухой, отлично зная, что её красоте и свежести могла бы позавидовать и девушка. — Прошу, — сказала она. подвигая стулья к столу, уставленному севрским фарфором и кондитерскими яствами.

За чаем все молчали, но хозяйка пыталась расшевелить молодёжь, сразу сдружить её и вызвать на свободный разговор.

— Почему вас наградили таким библейским именем, Исаак? Армяне не хотят изменять священному писанию, да?

Исаак пожал плечами.

— Ничего, — оказала хозяйка, — проживёте и с библейским именем. Это, надеюсь, не помешает вам стать вполне современным человеком. Очень хорошо, что попали к нам. Будьте смелее, не стесняйтесь. И за столом у меня не жеманиться. Лиза, подвинь ему бисквиты. Мотя, угощай товарища. Наш дом, Исаак, открыт всем ветрам, всем современным идеям. Правда, Коленька? Что вы сегодня такой молчаливый? Часто стали задумываться, юноша. К танцам остыли, на вечера не ходите. Что с вами происходит?

— Просто я больше стал читать.

— А с Миллем познакомились?

— Нет, Милля ещё по читал.

— Напрасно, напрасно. Серьёзный философ. Нынче все им увлечены. Им да Марксом.

— Положим, Маркс доступен немногим. Во всяком случае, гимназисты его не знают.

— И тоже напрасно. От него не уйдёте. От времени никому не уйти. Господи, и клубист сюда же!

Не усидел в своей берлоге. — В гостиную входил седой хозяин в смокинге. — Тебя тут не хватало! Не даст молодёжи поговорить. — Хозяин ни с кем не поздоровался, не заметил даже нового человека и молча сел за стол. — Мог бы подождать ужина. Или в клуб опять собрался?

Муж не отвечал, и было похоже, что он совсем глухой, и жена говорила о нём так, точно он действительно ничего не слышал.

— Исаак, это наш клубист. Каждый вечер пропадает в клубе. Что он там делает? Как вы думаете, юноши? Играет? Может быть,

влюбился? Тогда и мне дорога открыта. Коленька, я повезу вас сегодня в дворянское собрание. Что вы краснеете? Пора становиться мужчиной. Ну хорошо, хорошо, не буду смущать. Где уж мне, старухе. Вас ждёт невеста какая-нибудь из повивального института. Институтки теперь ищут только революционеров, чтобы ходить в тюрьму на свидания. А у вас кровь революционера, я это чувствую и очень сожалею, что рано родилась, состарилась, не могу доставить вам радости. Примете, если приду на свидание? Что это вы, Коленька? Обиделись? Что встали? Садитесь, выпейте ещё чашечку, прошу.

— Спасибо.

— Уходите?

— Да, надо почитать Милля, раз вы его настойчиво предлагаете.

— Но вы расстроите Исаака. Ему хотелось с вами познакомиться поближе. Правда, Исаак?

— Да, хотелось…

— Тогда прошу ко мне, — сказал Николай. — Разрешите? — спросил оп хозяйку. Та обидчиво дёрнула плечом.

— Пожалуйста.

Николай провёл реалиста в свою комнату, зажёг на письменном столе большую бельгийскую лампу, посадил гостя на кушетку, а сам стал шагать из угла в угол. Они долго молчали. Лалаянц удивлённо озирался. На угловом столике он видел флаконы французских духов, какие-то изящные коробки, разнообразные щёточки, небрежно брошенные галстуки, стопки шёлковых платков и кучу белейших лайковых перчаток. Но больше всего Исаака удивляли книги — толстенные фолианты, заполнившие полированные этажерки и занявшие огромный письменный стол.

Николай ходил по комнате и с улыбкой поглядывал на этого мальчика.

— Это всё ваше? — спросил Исаак.

— Да, моё.

— И мебель?

— И мебель моя.

— А кто ваш отец?

— Судебный следователь.

— Здесь, в Казани?

— Нет, в Вятской губернии, в Нолинске. Жил бы здесь, я не снимал бы этой комнаты.

— Он дворянин?

— К сожалению, дворянин.

— К сожалению? Почему, к сожалению?

— Не будем об этом. Как вам понравились хозяева?

— Они тоже дворяне?

— Кажется, да. По крайней мере культивируют дворянский образ жизни, не совсем удачно.

— Странная семья.

Николай подвинул к кушетке кресло и сел.

— У вас есть чутьё, Исаак, — сказал он. — Семья действительно странная.

— И хозяйка в вас влюблена.

— Влюблена? Как влюблена?

— Так, по-настоящему, как женщина.

— Вот вы какой! Всё замечаете. Нет, Исаак, она просто шутит. К ней ездит полковник Гангардт. Всегда подкатывает на пролётке. Стройный, голубой мундир, аксельбанты. Великолепный полковник Гангардт. Знаете такого?

— Нет.

— Ну узнаете. Как у вас там, в реалке? Не скучно?

— Бывает и скучно.

— С Мотей вы дружите?

— Нет. просто знакомы, в одном классе, — Исаак смотрел на угловой столик и отвечал рассеянно

— Заинтересовала парфюмерия? — сказал Николай. — Всё это чушь. — Он встал и опять зашагал по комнате. — Мать. Добрая любящая мать. Это она всё тут обставила и расставила. От платяного шкафа до флакона зубного эликсира. На беззаботность родных не жалуюсь. Отец старательно умостил дорогу в будущее, так что спотыкаться на ней не положено. Отцы всегда ведут нас по своим путям, а время открывает новые. Мне определено быть юристом. Я должен буду обвинять или защищать. Но кого обвинять и кого защищать? Дайте, пожалуйста, разобраться. Кого судить? И за что?.. Однажды я видел, как сшибли кулаком одного мужичонку. Здесь, на пристани «Кавказ и Меркурий». Он поднялся, поднёс руку к разбитому носу и заплакал. «За что?» До сих пор слышу эти жалкие и жуткие слова — «За что?». Вы на пристань не ходите? Напрасно. Я там впервые увидел жизнь. Страшную, жестокую. За что поди мучают друг друга? Скажите, за что?

Исаак не отвечал. Николай смолк. Куда он заехал? Разве поймёт его этот мальчик?

Исаак поднялся, подошёл к письменному столу, взял книгу.

— Шопенгауэр? — сказал он, перелистывая страницы. — Я тоже брался за него, да не одолел.

— Всё-таки брались? И это хорошо. Возьмётесь ещё раз.

— Думаете, стоит? Что он даёт?

— Даёт своё представление о мире. Если мы хотим постичь философию, нам надо знать и Шопенгауэра.

— Да, да, правы. — Исаак сел на кушетку и принялся читать, точно он мог тут же разом извлечь всё, что таила эти книга. Николай, остановившись в углу, долю смотрел, как он морщит лоб и шевелит губами.

Исаак поднял голову, поглядел на хозяина.

— А вы добрый, — сказал он. — У вас хорошая улыбка. Только очень грустная. Я буду к вам заходить. Можно?

4

Исаак, Исаак. Он совсем не умел хитрить, а вот, кажется, научился, замкнулся, что-то скрывает, как и все друзья, оставшиеся на воле. Друзья-то, видимо, и заставили его молчать, и он ни разу не пришёл в Казани на свидание, побоялся, что не выдержит и всё расскажет. И сюда не пишет, боится вопроса, от которого ему не отвертеться. Что же всё-таки произошло там с Анной? Никто не осмелится ответить, все сговорились и упрямо молчат, не хотят отнимать надежды.

Светит ли Петербургу солнце? Сегодня, наверно, не светит, раз нет вот тут, на асфальте, решётчатого квадратика, уютно лежавшего у двери вчера. Маленький лоскуточек бледного света, а как он радовал, живой, слегка трепещущий. И вот его отняли, отняли уже не люди, а зимние облака, или морозный туман, или ещё там что, может, дым, поднятый фабричными трубами, тогда, значит, опять же люди, — они не могут без того, чтобы не отнимать друг у друга, и те, кто всё захватывает, даже не замечают, что лишают чего-то других. Надо, чтоб люди не отнимали друг у друга, только и всего, — в этом вся задача человечества, и оно решит её, рано или поздно, но решит, какая бы сила ни противодействовала, как бы ни сопротивлялись отнимающие. Господа, не отнимайте солнца! Что вы делаете? Кто вам позволил запирать человека в такую камеру?.. У, какой адский холодище!

Николай запахнул свою старенькую гимназическую шинель, пощупал ладонью калорифер, прижался спиной к его стенке, не горячей, но всё-таки греющей. Руками он стиснул крепко плечи и так стоял, не находя другого способа согреться. Можно бы прибегнуть к гимнастике, но сил ещё мало, хватает только на то, чтобы ходить по камере, и не очень быстро. А бить в дверь и требовать тепла бесполезно. Не раз он стучал, протестовал, грозил, но ничего не добился, как и все другие, пытавшиеся здесь бунтовать. Тюремного порядка не изменить ни грохотом, ни криком, ни жалобами прокурору. Если что-нибудь тут и меняется к лучшему, то лишь тогда, когда заключённые притихают. Что же, смириться и тихо ждать милости? Или гибели? Да, именно гибели. В смирении скорее погибнешь. Нет, надо бороться. Ни в коем случае не сдаваться.

Николай подошёл к двери и, повернувшись к ней спиной, приготовился бить в неё, пока не откроется, но только занёс ногу, надзиратель (когда он подкрался?) с лязгом и громом запустил ключ в замочную скважину.

Дверь открылась.

— Пожалуйте в контору, — сказал надзиратель. По иронии, с которой он просмаковал это издевательское «пожалуйте», можно было догадаться, что начальство ничем не порадует.

Николай застегнул шинель, привычно заложил руки за спину и вышел. Он шёл по длинному железному балкону вдоль камер, и у него кружилась голова, когда смотрел сквозь решётчатые перила вниз и представлял, как он туда летит. Нет, через перила не перепрыгнешь. Можно перелезть, но не успеешь вскарабкаться, как надзиратель схватит тебя за полу. Ты что это? Начинаешь думать о самоубийстве? К чёрту! Ещё вся жизнь и все дела впереди.

Он спустился по длинной прямой лестнице вниз, и тут, на перекрёстке высоких, многоэтажных коридоров, надзиратель передал его другому охраннику, и тот повёл дальше.

В конторе ждал Сабо, начальник тюрьмы. Он сидел за столом, положив на него сомкнутые руки, а в углу, за барьером, стояла табуретка для вызванного арестанта.

— Садитесь, — сказал начальник.

В помещении, после тёмной камеры, было слепяще светло, и Николай, сидя за барьером, напрягал ослабевшее зрение, щурился, силился рассмотреть, что там белело на столе перед начальником. Белел, кажется, конверт. Да, конверт, небольшой, с красной маркой.

— Ну, господин Федосеев, как себя чувствуете? — сказал Сабо.

— Скверно, господин начальник. Замерзаю.

— Холодно в камере?

— Просто невыносимо.

— Но другие что-то не жалуются.

— Не забывайте, что я болен.

— Слыхали? — начальник повернулся к бухгалтеру, который сидел за другим столом, в углу. — Нет. вы слыхали? Не забывать, что он болен! Оказывается, мы забыли. Ему плохо, ему ещё плохо! Работать не заставляем, разрешаем «открытую койку», — пожалуйста, лежи сколько хочешь. Доктор за него хлопочет, прописал лекарства, особую пищу, достал ему очки, и всё плохо!

— Доктор действительно хлопочет, и за очки ему большое спасибо, но я не пользуюсь ими. Не пишу, не читаю. Не даёте ни бумаги, ни книг.

— Да, библиотека временно закрыта.

— У вас в цейхгаузе лежат мои книги.

— Их надо ещё проверить. Да будет вам известно, здесь не всё разрешено читать. Здесь не Санкт-петербургский университет,

а санкт-петербургская одиночная тюрьма. «Кресты». «Кре-сты»! Понимаете, что это такое?

— Понимаю. Гнуснейшая тюрьма, в которой отнимают даже положенное.

— Не гнуснейшая, а строжайшая. Поблажек не ждите.

— Мы требуем не поблажек — положенного.

— Любопытно, чего же вы ещё хотите?

— Отопляйте камеры, дайте бумаги и книг. И запросите из Казани мои записи, они нужны мне для работы.

— Слыхали? — Сабо опять повернулся к бухгалтеру, но старик ничем не поддерживал начальника и, добродушный, какой-то слишком домашний, инородный в этом убийственно казённом заведении, с печальным сочувствием глядел на измождённого заключённого. — Слыхали? Ему нужны записи! Для работы. Работу на днях вам дадим, не ищите, дадим, а записи ваши сданы в тюремный архив. Там, в Казани.

— Неправда. Мне обещали их выслать.

— Кто обещал?

— Начальник губернского жандармского управления. Полковник Гангардт. Это порядочный человек, от слова не откажется. Дайте бумаги, я напишу ему.

— Ладно, я сам запрошу его, раз он такой у вас порядочный. Здесь тоже не шельмы сидят.

— Рад буду признать, докажите.

— Вам вот письмо. — Сабо взял со стола конверт. — Читайте.

— Не могу, — сказал Николай, — очки в камере.

Бухгалтер снял свои очки.

— Может, подойдут? — Он вышел из-за стола, взял у начальника конверт, передал его с очками Николаю и вернулся в свой угол. И он и Сабо смотрели на Федосеева, один с тревогой, другой с выжидательной усмешкой. Они, конечно, прочли письмо, потому так и смотрели.

Николай разорвал уже вскрытый конверт и развернул слежавшийся жёсткий листок. Очки оказались не совсем по глазам, но буквы были крупные и отчётливые. Писал какой-то незнакомец из Царицына, что-то сообщал об Анне, но так туманно, с такими раздражающими недоговорками и намёками, что ничего не поймёшь. И чем дальше, тем несуразнее сообщения. Вот и конец письма, а ничего не рассказано. Дикая загадка. И шутовская подпись: «Печальный вестник Моисей Гутман». Что он хотел сказать, этот *печальный вестник?* Что случилось с Анной? Как она попала в Царицын? Почему не написала сама?

— Ну что, не обрадовали? — сказал начальник. — Письмецо придётся пока у вас забрать. Надо кое-что выяснить. Кто такая эта

Анна Соловьёва?

Николай молчал.

— Понимаю, интимная связь, говорить неудобно. Тогда скажите, кто такой Моисей Гутман?

— Не знаю. И орошу прекратить вопросы, мне не до них. Отведите в камеру.

— Значит, Гутмана вы не знаете? Эх, Федосеев. Федосеев! Дворянин, из благородной семьи, а связались с евреями, революции захотели. Чего вам не хватало?

— Отведите в камеру!

— Не кричите, Федосеев. Спокойнее, спокойнее надо. Берегите себя. У вас ещё десять месяцев одиночки. Десять месяцев, а дальше что? Дальше-то что? Полгодика свободы и опять «Кресты»? Так?

— Отведите. Не могу больше.

— О господи, какое нетерпение! Просто наказанье мне с вами. Ступайте. Провожатый за дверью,

Николай вернулся в камеру, опустил кровать и, не постелив тюфяка, не сняв шинели, упал навзничь и закинул руки за голову.

Как же всё-таки очутилась Анна в Царицыне? Может, этот Гутман её увёз? Может, он взял её на поруки? Кто он такой? Почему не написал ни одной вразумительной строчки? У кого узнать правду об Анне? Кому написать в Казань? Постой, где сейчас Миша Григорьев? Он отсидел два месяца и освободился. Из Казани, наверно, его выслали. Вероятно, он в Нижнем. В Нижнем есть хорошие знакомые, и они могут разыскать его. Вот ему и написать, он всё расскажет, ничего не утаит. Миша Григорьев. Каким он стал теперь? Изменился, конечно. Как далеко отодвинулся тот день, когда он пришёл познакомиться!

5

Его привёл в дом «клубиста» Исаак. Они побыли в гостиной, поговорили с хозяйкой, посидели у Моти в комнате и только потом, как будто между прочим, зашли к Николаю. Это был, объяснили они, манёвр перед хозяевами. Их осторожность предвещала какой-то тайный разговор, и Николай ждал, о чём заговорят юнцы. Собственно, не такие уж они были юнцы, чтобы не принимать их всерьёз. Он просто привык смотреть на своих сверстников глазами старшего.

Исаак в этом доме на глазах изменился, к весне стал совсем взрослым. И друг его, тоже реалист, рос, видимо, так же стремительно и так же, конечно, рвался что-то постичь.

Они сидели перед ним на кушетке, и Николай всё ждал, торопил их своим пристальным вниманием. Они уже сказали, что пришли посоветоваться, поговорить откровенно, но никак не могли начать. Николай встал со стула и прошёлся по комнате. Он был стянут формой, застёгнут на все гимназические пуговицы. Собрался к историку Кулагину, который приглашал на чаёк, «Приходите в воскресенье, потолкуем, мы с вами земляки». Земляком оказался. Преподавал в Вятской гимназии, бывал и в Нолинске. Что его заставило перебраться в Казань? Захотелось пожить в университетском городе? Либерал. Пожалуй, даже демократ. Иногда кидает смелые словечки, только не в классе. Интересно, о чём он хотел потолковать? Может, заигрывает? Визит отменяется. Хорошо, что пришли эти ребята.

Николай снял куртку, потом открыл окно и сел на подоконник, упёршись спиной в косяк. Отсюда, со второго этажа, видна была поодаль на улице церковь Евдокии, от которой валила празднично пёстрая толпа, провожаемая перезвоном колоколов. Люди шли по середине мостовой, шли медленно, освобождённые от всех сует.

— Посмотрите, — сказал Николай, и реалисты поднялись, подошли к другому окну. — Какие все просветлённые, успокоенные. Очистились. А к вечеру опять в каждом скопится полно сору. И люди озлобятся, мужчины напьются, полезут в драку. Завопят женщины. Вчера ночью татарина убили. Слышал, Иссак?

— Нет. не слышал. Где убили?

— Здесь, на Нижне-Федоровской. У Кошачьего переулка.

— А на Старо-Горшечной студент повесился, — сказал Григорьев. — Чёрт знает, что делается! Одних вешают, другие сами вешаются. Погибнет Россия. Доконает её Александр

Александрович.

— А если спасёт? — сказал Николай.

— Чем, жестокостью? Не Россию, а себя спасает. И мстит за отца. Все тюрьмы переполнил.

— Наводит порядок. Как же иначе? Иначе нельзя.

Григорьев отпрянул от окна, взглянул на Федосеева.

— Вы что. монархист?

— Я подданный Российской империи.

— И только?

— Подожди. Миша, не спеши, — сказал Лалаянц. — Садись. Николай, давайте поговорим откровеннее.

— Давайте. — Федосеев повернулся спиной к улице. облокотился на колени, и белёсые волосы его рассыпались, упали на виски.

— Мы уже не отроки, — сказал Исаак. — Не можем оставаться в стороне от того, что творится на русской земле. Родину топчут. Сейчас лучшие люди идут в народ, чтобы поднять его из грязи.

— России нужны герои, — сказал Григорьев. — Нужны новые Желябовы.

— Хотите двинуться по пути Желябова? Прекрасный порыв. Стыдно сейчас прозябать. Читать Добролюбова и Чернышевского и оставаться спокойным — невозможно. Многие жаждут борьбы. Но за что бороться и как? Надо ведь сначала разобраться.

— В одиночку нам не разобраться, — сказал Исаак. — В Казани, говорят, есть разные кружки, а где их искать?

— Говорят, есть кружок и вашей гимназии, — сказал Григорьев.

— Не знаю. Едва ли наши наставники допустят такое послабление. Следят неусыпно.

— Вы просто запираетесь.

Николай откинулся назад, запрокинул голову и защурился, скрывая усмешку. Чтобы сохранить равновесие, он держался обеими руками за колено. И покачивался, не открывая глаз. Не хотелось отталкивать этих простодушных искателей, но не мог же он сразу перед ними открыться и сказать, что да, есть, он сам создал этот маленький кружок, что знает ещё и другой, не гимназический, очень скучный, из которого он недавно вышел, потому что там взяли верх вожаки, жаждущие преклонения, — этих юнцов там задавили бы готовыми догмами.

— Вы боитесь нас? — сказал Григорьев. — Неужели ничего не знаете об этом кружке?

Николай открыл глаза и улыбнулся.

— Друзья, — сказал он, — это уже допрос. Надо осторожнее.

Так вы только отпугиваете. И сами себя выдаёте. Исаак меня всё-таки знает, а для вас, Миша, я совсем чужой.

— Мы вам верим.

— Почему?

— Человек с такими глазами не может быть предателем.

— Ну спасибо, что верите. А кружка у нас пег. Вы плохо знаете порядок Первой гимназии. За вами так следят, что нигде не спрячешься. Вот недавно обследовали мою комнату. Классный наставник обыскивал. Исаак знает.

— Да, это возмутительно, — сказал Исаак.

— Хорошо, что не нашли никакой крамолы. Могли бы раздуть дело. Так что давайте, друзья, вести себя умнее. Не ходите с открытым забралом.

На мостовой послышался звонкий цокот, и Николай обернулся.

— Полковник Гангардт, — сказал он.

Реалисты бросились к окну.

Кучер рванул вожжи, вороной конь свернул с мостовой и с разбегу остановился, уронив с удил шматок пены. С пролётки спрыгнул офицер в голубом мундире. Он махнул рукой кучеру и пошёл к воротам.

— Как красиво идёт, дьявол! — сказал Николай. — Не шаг, а совершенство.

— Не походкой ли покорил он нашу хозяйку? — сказал Исаак. — Она просто млеет, когда он подходит целовать ей руку. Тебе не кажется, что Мотя похож на этого полковника?

— А ты уже сопоставил? По-моему, сходство случайное.

— Нет, не случайное. Тут нет ничего случайного. Всё переплелось в этом доме. Хозяин служит полковнику. полковник — хозяйке. И она не остаётся безучастной. Платит любовнику. Тем же, чем муж.

— Ну, зачем так-то уж думать о нашей хозяйке. Считаешь, доносит Гангардту?

— Конечно.

— Чепуха. Не станет она унижаться. Не такова. И полковник не такой. Слишком горд, чтобы самому собирать доносы. Хозяин, не сомневаюсь, действительно служит жандармам, но не с полковником, конечно, имеет дело, а с каким-нибудь ротмистром.

Из гостиной, где, видно, уже сидели гости, донёсся беспорядочный говор, послышался звучный голос полковника.

Николай соскочил с подоконника.

— Весна, — сказал он, — такая весна, такое солнце, а мы сидим.

— Пошли на Казанку, — сказал Миша.

— Идёмте. Куда угодно — на Казанку, на Волгу. Успевайте бродить — насидеться успеете.

6

Они-то, наверно, ходят ещё свободно, а он второй год взаперти.

Невыносимо тяжёлая ночь, мёртвая, без малейшего признака жизни, без единого звука. Ни шагов надзирателя в коридоре, ни кашля и стона в камерах. Перед утром заключённые иссякают, теряют в муках последние силы и (сном это нельзя назвать) умирают. До подъёма. Он тоже обессилел и начал было забываться, и вдруг этот жуткий толчок изнутри. Может, останавливалось сердце? До чего же хрупка человеческая жизнь! Одно мгновение — и тебя нет.

И всему конец. И ты никогда ничего не узнаешь, даже того, что тебя уже нет. А ведь ты жил, надеялся, хотел познать мир, хотел что-то в нём изменить. Ничего не изменишь. Отвратительный, мертвенный свет. Он убивает все живые чувства, но ты не можешь его выключить. Ничего ты не можешь. А кто что может? Сабо не может изменить тюремный порядок. Император не может уничтожить всех революционеров. Революционеры не могут свергнуть императора. Никто ничего не может. Наверно, действует какая-то скрытая сила.

Он сидел поперёк кровати, поставив ступни на край и охватив руками колени. Как вскочил от страшного толчка, подобрался, так и сидел неподвижно.

Но скоро онемели ноги, и он опустил их на пол, склонился. Потом чуть повернулся и посмотрел на стену, на чёрную косматую голову. Прижал ладонью волосы, и на чёрную голову легла чёрная рука. Тень шевелилась, копировала его движения. Не так ли и мир повторяет чьи-то движения? Что, если действительность только тень скрытых явлении? Может, в самом деле всем движет царящая шопенгауэровская воля? Но почему это приходит в голову только сейчас? Предсмертное озарение? Потрясение? Наверно, это открывается только сумасшедшим. Исследован ли мозг Шопенгауэра? Жуткая тишина.

Он опять посмотрел на тень, а она отвернулась, вытянув лохматый подбородок. Он ощупал своё лицо и нашёл редкую бородку и отросшие усы. Неужели это он, недавний гимназист? Совсем старик. Не ошибается ли он в отсчёте времени? Может, срок давно кончился? Что, если забыли его выпустить? Не сработало какое-нибудь колёсико в императорской канцелярской машине, и он остался навечно в «Крестах».

Раздался звонок, и в конце коридорного балкона загремели удары в двери. Подъём. Сразу вернулось ощущение реальности.

Грохот приближался, надзиратель двигался от двери к двери, гремел где-то посреди длинного балкона, ещё ближе и вот уже забарабанил в соседнюю дверь. Камеру Николая он должен был, как всегда, обойти, по нет, не обошёл, остановился, потоптался и принялся стучать. Стучал он гораздо громче и дольше, чем другим, — то ли злорадствовал, то ли давал знать, что это не ошибка и исключения сегодня не будет. Значит, кончилась «открытая койка», кончилось твоё особое положение, Федосеев. Жди других перемен.

Грохот стих, надзиратель прошагал обратно, и несколько минут не было никаких звуков. Потом послышался тихий стук в боковую стену, за спиной.

Это сосед вызывал на разговор. Николай сунул руку в прореху тюфяка, достал из соломенной трухи карандаш и повернулся ухом к стене. Прислушался.

— Как спалось? — выстукал сосед.

— Почти не спал, — отвечал Николай, стуча торцом карандаша по стене. — Что нового?

— Через три камеры от меня сидит ваш друг.

— Кто?

— Ягодкин.

— Костя? — крикнул Николай. — Костя Ягодкин?

— Что молчите? — простучал сосед.

Николай спохватился, что перешёл в радости на язык, который здесь не действовал.

— Когда вы узнали о Ягодкине? — выстукал он.

— Ночью, часа в три.

— Почему не постучали сразу?

— Думал, вы спите, не хотелось будить.

— Как его здоровье?

— Он напишет. Завтра на прогулке ищите папиросный мундштук. В нём будет записка.

— Сообщается ли он с казанцами?

— С какими?

— По нашему делу проходило тридцать шесть. Десять в «Крестах».

— О других ничего не знаю. На Ягодкина наткнулся случайно. Пробил немую камеру. Третью от меня. Там сидит фальшивомонетчик. Он не знал азбуки. Вчера его кто-то обучил. Теперь можем говорить с девятью камерами. Три прибавилось.

— Спасибо, друг.

— Декабристов благодарите.

— Спасибо и декабристам. Облегчили нашу судьбу. Азбука гениально проста.

— Шаги. Прекращаем.

Николай отвернулся от стены, опустил ноги на пол, сделал вид, будто давно сидит в раздумье. Шаги приближались, приближались. Потом затихли у камеры. Открылось дверное окошечко, и в нём показалось лицо надзирателя (от бровей до подбородка).

— Кто стучал?

— Не знаю, — спокойно ответил Николай.

— Карцера захотели?

— Я не стучал.

— Смотрите у меня! — Окошечко закрылось.

Николай обул коты, зашагал по камере, возбуждённый, радостный. Костя Ягодкин! Нашёлся! Жив и, наверно, здоров, если ходит на прогулку. Завтра будет записка. Можно и сегодня связаться с ним и поговорить, но перестукиваться через четыре камеры очень трудно. И опасно. Четверо передатчиков — четверо свидетелей разговора. Из них можно надеяться только на соседа. Он уже испытан, хотя ещё ни разу не удалось его увидеть. Политический. За ним сидит вор, за вором — ещё вор, дальше, как теперь выяснилось, — фальшивомонетчик, а за тем — Ягодкин. Костя Ягодкин! Теперь можно найти и Санина, и Маслова, обнаружатся и остальные. Мир возвращается. Завтра записка. Поторопись хоть однажды, столкни поскорее эти сутки, упрямое время. «А в тюрьме оно идёт, говорят, быстрее». Кто это сказал? Кажется, Тургенев. «Говорят». А ты бы сам испытал. Коротко здесь минувшее время, потому что нечем его измерить, прошло без событий, а сутки тянутся бесконечно долго, совсем останавливаются.

Нет, время всё-таки двигалось, приближался тюремный завтрак, в коридоре копошились надзиратели, разносили кипяток и хлеб. Николай взял с полки медную кружку, подошёл к двери, с минуту подождал.

Открылось окошечко, и он просунул кружку в проёмчик, её наполнили. Подали краюшку хлеба и кусок сахару. Окошко захлопнулось.

Николай сел к столику. Кипяток был тёплый, не годный для заварки чая. Зато краюшка сегодня попалась хорошая — объёмистая, свежая, лёгкая, ноздреватая на срезе. От неё пахнуло пекарней. Вспомнилась воля, вспомнились казанские друзья. Потом явилась Аня, и Николай поднялся и стал ходить, но уже не по чёрному асфальту, а по жёлтому полу флигелька. Всё виделось сегодня легко и очень отчётливо, и светло, без боли, без муки, с надеждой, что псе это вернётся.

Загремел запущенный в дверную скважину ключ. И в камеру

ввалилось начальство — Сабо и товарищ прокурора.

— Это наш больной, — сказал Сабо. — Как себя чувствуем?

— Несколько лучше, — сказал Николай.

— Ну и слава богу. Завтра дадут вам работу. Будете клеить папиросные коробки. Сможете?

— Да, пожалуй, смогу.

— Имеете что-нибудь спросить?

— Вопросов нет, есть просьба.

— Опять просьба! Господи, никак не угомонится. Ну, слушаем.

— Мне нужны книги.

— Книги будете получать.

— Мне нужны мои записи. Вы обещали запросить из Казани. Прошло больше трёх недель.

— Получены, получены ваши записи. Лежат в цейхгаузе.

— Я требую их в камеру.

— Слыхали? — Сабо повернулся к товарищу прокурора. — Нет, вы слыхали? Он требует! Где вы находитесь? Не забыли?

— Нет, я хорошо помню, где нахожусь и чего лишён, но читать и писать не запрещают даже ваши инструкции.

— Вы что же, изучили их, инструкции-то?

— Да, изучил.

— Где, позвольте спросить, где?

— На свободе.

— Значит, готовились к «Крестам»?

— В наше время каждый честный должен быть готов к тюрьме.

— Ну вот что, батюшка, бумаги мы вам дадим, а записи не получите. Приготовьтесь к работе. Хватит, отдохнули.

— Я не отдыхал, а болел.

— Знаем мы вашу болезнь. Доктора разжалобили, вот он и прикрывает. Ничего, приберём и его к рукам.

— Вы наглец.

— Что? — Сабо повернулся к двери, за которой стоял надзиратель. — В карцер его, в карцер! Чтоб помнил, где находится. — Сабо выскочил из камеры, за ним поспешно вышел товарищ прокурора, надзиратель бухнул дверью. Начальник долго кричал ещё в коридоре, удаляясь, не заходя в другие камеры.

Николай (так бывало с ним редко) остался спокойным и радовался этому спокойствию. Он ощущал теперь прочное сцепление с жизнью, со своим прошлым.

7

Неслыханно рано наступила тогда весна. В конце марта уже открывали настежь окна. Да, это ведь в последнее мартовское воскресенье сидел он на подоконнике, когда объяснялся с реалистами. И это был последний день в доме «клубиста» — назавтра они, он и Лалаянц, простившись с заплаканной хозяйкой (она не притворялась), покинули со гостеприимные покои. Исаака увёз захудалый извозчик куда-то и другой конец города, а он нашёл себе комнату в особнячке, тут же, на Нижне-Федоровской.

Нижне-Федоровская начиналась у церкви Евдокии, где кончалась Засыпкина, и он, часто переселяясь, не покидал этих улиц, перемещался с одной на другую, хотя здесь-то чаще всего и появлялись наставники, потому что ходить им от гимназии было совсем близко — спуститься только по Попоречно-Казанской под гору. Здесь они, неотступно следя за своими питомцами, обыскивая их квартиры, не раз обшаривали и его комнаты, — правда, ничего предосудительного пока не находили, но можно было ожидать, что когда-нибудь подкопаются. Ему бы бежать отсюда подальше, куда-нибудь к Арскому полю или на студенческую Старо-Горшечную, а он надеялся на другой выход. Знал он, что к гимназистам, живущим у близких и благонадёжных родственников, наставники не заходят, и всё подыскивал таких хозяев, которые могли бы сойти за его родственников. Наконец в конце лета, вернувшись из Нолинска, от отца, он нашёл в маленьком доме на Засыпкиной добрую, покладистую женщину и переселился к ней из того особнячка, куда весной бежал от подозрительного «клубиста». Новая хозяйка приняла его действительно по-родственному, но он, заявив наставнику, что поселился *у тётки,* с ней-то об этом и не договорился, решил объясниться потом, когда хорошо обживётся.

Она отвела ему крохотную каморку с низким потолком, и он остался вполне доволен. Мебель, которой была обставлена *дворянская* комната, он давно распродал (матери, когда гостил в Нолинске, ничего, конечно, не сказал), а деньги пустил на книги. Николай собрал вокруг себя молодёжь, свободную от груза изношенных догм и ищущую новых путей жизни, а ой нужны были книги, самые смелые, гонимые правительством, и он искал их по всем потаённым углам Казани.

Он наспех прибрал своё очередное новое жилище и побежал на Старо-Горшечную. Около месяца не был на этой улице, в этом Латинском квартале казанского студенчества, где он завязывал

интересные знакомства и доставал редкие книги. Студенты, наверно, уже съехались, а лекции ещё не начинались — самое время знакомиться. Надо было вернуться из Нолинска пораньше, да мать задержала, упросила пожить дома лишнюю недельку.

Он торопился, обгонял прохожих, задел какую-то даму локтем, но даже не оглянулся, не извинился, чего никогда себе не позволял. Только на кишащей Рыбнорядской он сбавил шаг и стал оглядывать людей, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых студентов. Нет, он хитрил, обманывал себя, что высматривает студентов, а в самом деле смотрел больше на девушек, потому что на Рыбнорядской жила Аня, и она могла оказаться на улице, как не раз оказывалась в начале лета, когда он ходил тут особенно часто — после того вальса, который свёл их на выпускном вечере в её гимназии. Да, она уже окончила гимназию и поступала нынче в повивальный институт при университете. Он же попадёт в этот университет только в будущем году.

Он шёл мимо торговых рядов и всё озирался, только изредка поглядывал в окна, чтобы увидеть за стеклом (её глазами) себя, подтянутого, элегантного, с красиво закинутыми назад волосами. Он любил свои белёсые мягкие волосы и летом иногда не надевал фуражки.

Ани на улице не оказалось. Он дошёл до кирпичного двухэтажного дома, остановился, посмотрел в её окно (оно было затянуто голубой шторой) и пошагал дальше. Спустился на квартал по Рыбнорядской, повернул налево, обождал, пока пронеслись одна за другой коляски, пересёк улицу и стал подниматься по Старо-Горшечной. Потом свернул направо, в Профессорский переулок, к лавке Деренкова.

Вот она, бакалейная лавка. Старенький осевший прирубок к дому. Деревянное, без перил, в две ступеньки крылечко. Низенькая дверь между двумя окошками. Почерневшие цельные ставни. Убогое заведеньице, но как всегда тянет туда, внутрь, в потайную глубину помещения!

Николай вошёл в лавку. Здесь кроме хозяина была одна старушка. Она стояла у прилавка, маленькая, сгорбившаяся. Деренков глянул через неё, потеребил свою светлую бородку, кивнул головой в сторону. Николай понял его. Продвинулся вдоль стены в проход за прилавком, прошёл в большую комнату, оттуда — в кухню, из кухни — в тёмные сени. Нащупал и открыл дверь. Ему навстречу шагнул обтрёпанный, по-азиатски чёрный студент Плетнёв.

— Здорово, вятич.

Николай подал ему руку и показал глазами на человека, который стоял у завешанной одеждой книжной полки.

— Свой, свой, — сказал Плетнёв. — Здесь чужих не бывает. Ягодкин. тебя, брат, заподозрили.

Ягодкин обернулся. У него оказалось красивое женственное лицо. И гоголевские волосы. И молоденькие усики.

— Познакомьтесь, — сказал Плетнёв. — Это Федосеев. Гимназист. Защитник царей. Не надо, говорит, убивать их.

— Любопытно, — сказал Ягодкин, держа в руках открытую книгу.

— А это студент ветеринарного института. Буйная головушка. Того и гляди рванёт в Петербург и бросит во дворец бомбу.

Ягодкин улыбнулся.

— Гурий вас пугает.

— Его не испугаешь. Советую познакомиться с ним поближе. Он скоро всех нас оттеснит. Скажет, подвиньтесь — я сяду.

— Никого оттеснять не собираюсь, — сказал Николай.

— Оттеснишь. Слышал, как ты спорил с березинцами.

— С березинцами трудно спорить. За ними Михайловский. Опираются на столичные авторитеты. И Нижний их поддерживает. Короленко, Каронин, Анненский. Большая сила.

— Ничего, не робей. За тобой Маркс. Тоже ведь фигура.

— Маркс у нас тут не действует, его не знают. Даже студенты с ним мало знакомы.

— Братцы, — сказал Плетнёв, — я был на днях в окружном суде. Судили бродяг и беглых крестьян. Среди них оказалась женщина с грудным ребёнком и пятилетней девочкой. Как она выла, как выла! Гнусная жизнь. Не прогуляться ли нам до университета? Там ребята собираются, оттуда двинутся на Проломную, в трактир. Хотят кутнуть перед лекциями.

— Можно и прогуляться, — согласился Ягодкин. Он захлопнул книгу, и Николай увидел её клеёнчатую обложку.

— Гектографическая?

— Нет, рукописная. «Царь-голод». Читали?

— Читал. А новенького ничего нет? — Николай подошёл к полке и, откидывая одёжины, стал осматривать книги.

— Новое всё на руках, — сказал Плетнёв. — Не ищи. Скажи Андрею Степановичу, что нужно тебе, он придержит.

— Да, попросите хозяина, — сказал Ягодкин. — Идёмте, что ли?

Они прошли через сени и кухню в комнату, приоткрыли дверь, в лавке никого не было, и они вышли.

Андрей Степанович насыпал им на прилавок мелких сушек.

— Погрызите. Что, ничего не подобрали?

— Завтра зайдём, — сказал Плетнёв. — Юноше вот надо…

В лавку вошёл старенький мужичок в новых, белых лаптях.

— Тоже мне покупатели, — проворчал Деренков и убрал с прилавка сушки. — Порылись, а ничего не взяли. Что угодно, дедушка? Гостинцев внучатам?

За стариком вошла в лавку женщина, за женщиной — девочка.

— Айда, — сказал Плетнёв. — Айда на Воскресенскую.

Около университета, у белых его колонн, уже толпились студенты. Некоторые из них были в фуражках, форменных куртках и ботинках, другие (старшие, поступившие ещё до нового университетского устава) — в широкополых шляпах и: высоких сапогах.

Плетнёв, сразу втиснувшись в кучку, здоровался с друзьями, кому-то тряс руку, кого-то трепал по плечу, с кем-то обнимался. Ягодкин тоже нашёл знакомых. А Николай остался один, и ему стало неловко, лишнему возле этой галдящей, смеющейся дружной компании. Но Плетнёв скоро вернулся к нему.

— Гурий, — сказал Федосеев, — а Чирикова здесь нет?

— Евгения Чирикова? Поэта? — Плетнёв осмотрелся. — Вот он, на крыльце.

На крыльце у колонны стояли трое, но Николай догадался, что Чириков — вон тот, без шляпы, длинноволосый, тонколицый.

— Слышал о нём? — спросил Гурий.

— Слышал. И стихи читал. В «Волжском вестнике».

— А рассказ? Тоже в газете был напечатан.

— Читал и рассказ, не понравился. Слезливый. Но автор, кажется, талантлив, когда-нибудь станет настоящим писателем.

— Познакомить?

— Нет, сам подойду.

— Давай, давай. Ты с ними смелее, ребята хорошие.

Николай подошёл к крыльцу и отозвал Чирикова в сторону.

— С вами говорил мой товарищ, Волков. Насчёт каталога.

— Да, да, приходил ваш товарищ. Вы Федосеев?

— Да, Федосеев.

— У вас что, кружок?

— Нет, мы хотим подобрать библиотеку.

— Ничем не могу помочь. Я же советовал вашему товарищу обратиться к Мотовилову. Это студент ветеринарного института.

— Товарищ говорил с ним.

— И что же?

— Мотовилов хочет встретиться лично со мной.

— А вы его опасаетесь? Не опасайтесь, это надёжный человек, и он вам будет полезен.

— Хорошо, поговорим с ним.

— На меня не обижаетесь?

— Нет, что вы!

— Не обижайтесь. — Чириков пожал ему руку л поспешил к своим друзьям.

Николай опять оказался один.

От компании отделился и направился к нему студент в широкополой шляпе. Он не остановился и, проходя мимо, быстро, негромко проговорил:

— Завтра в полночь, место то же, где весной, только в саду.

Николай не совсем понял студента. Что значит «место то же»? Весной приходилось бывать во многих местах. Этот студент, кажется, из кружка Березина.

Да, наверно, березинец. В апреле один из березинских кружков собирался у Арского поля, за духовной академией. Значит, и завтра там же. «В саду». Во флигеле, наверно. Что же, надо будет сходить.

Он влез в тёмное окно, на кого-то наткнулся и попросил посветить. Вспыхнула спичка, и он увидел людей, знакомых и незнакомых, сидящих у стен на скамьях и прямо на полу, среди них оказались и Ягодкин, и вчерашний студент-вестовой. Спичка погасла, кто-то услужливо зажёг вторую. Николай стал искать глазами места. Скамьи, нет, доски, положенные на ящики, были уже заняты, и он сел на подоконник.

Почему никакой мебели? — сказал кто-то в темноте.

— Зачем она здесь? Дом-то пустой.

— Неужели не могли найти жилого?

— Пустой надёжнее.

— Кого ждём?

— Лаврова нет.

— Давайте начинать.

— Подождём.

Послышался стук. Человек, сидевший у окна, оттолкнул ставень.

— Кто?

— От Якова.

— Влезайте.

В окно влезли двое. Их осветили спичкой. Один по-свойски втиснулся в ряд сидевших, другой, молодой здоровый парень, растерянно стоял посреди комнаты. Это был Пешков. Николай видел его однажды у Деренкова, который много рассказывал о странном своём булочнике.

— Все? — спросил кто-то.

— Да, все.

Занавесили окна, чтобы ставни не просвечивали. Зажгли лампу, поставили её в угол на высокий ящик. Пешков шагнул к стене и опустился на корточки около Николая. К ящику, на котором горела лампа, подошёл бородатый человек. Он вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое книжечку.

— «Наши разногласия», — сказал он. — Брошюра Бельтова, то есть Георгия Плеханова.

— Знаем! — крикнул кто-то из тёмного угла.

Бородач начал читать. Читал он отчётливо, громко, и сначала слушали его внимательно, но вскоре поднялся шум, беспорядочный говор.

Николай сразу понял, что Плеханову с этой марксистской статьёй тут не пройти. Стена. Народец старой закалки. Надо Пешкова отсюда вырвать, втянуть в свой кружок. И Ягодкина. Этого тоже можно ещё вразумить. Молод, только формируется.

Гвалт нарастал. Плеханов, бывший народоволец, развенчивающий несбыточные надежды на мужицкую общину, вызвал здесь возмущение.

— Это предательство! — кричал кто-то. — Ренегатство!

— Плевок в кровь, пролитую героями.

— После казни Генералова, Ульянова…

— Измена страдающему народу!

— Господа! — крикнул Николай. — Для чего из собрались? Шуметь? Будем читать или нет?

Гул приутих. Бородач снова стал читать, но читал теперь неразборчиво, быстро, что-то пропускал и скоро закончил. И опять все загалдели:

— Отступник!

— Продался капиталистам!

— Заелся там в Женеве!

— Все они там заелись.

— Аксельрод, говорят, торгует кефиром.

— «Освобождение труда»! Только название. Западня, ловушка!

— Они хотят столкнуть русского мужика под колесо капитала. Хотят погубить святая святых.

— Плевать им там на русского мужика.

— Господа! — громко сказал Николай. — Нельзя ли ругательства заменить серьёзными возражениями?..

Шум не унимался, и видно было, что настоящего спора не получится. Николай склонился с подоконника, тронул за плечо молодого парня.

— Вы — Пешков?.. Давайте удерём отсюда.

Они открыли окно и вылезли в сад. Пробрались сквозь

мокрые ветви я забору, перемахнули через него и очутились на улочке, слабо освещённой луной.

— Как свежо! — сказал Николай. — Утром пахнет. И осенью. Взбесил их Плеханов. Не по нутру. — Они обогнули духовную академию и вышли на пустынное Арское поле. — Значит, вы булочник? Работы у вас много?

— Хватает.

— А свободного времени?

— Бывают и свободные часы.

— Чем же вы их заполняете?

— Читаю.

— Что?

— Что попадает под руку.

— Плохо. Надо выбирать. Я могу вам помочь… С рабочими не общаетесь? Не с кустарями, а с фабричными или заводскими?

— Так, случайные знакомства.

— Слышал я об этой булочной вашей. Странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

Пешков приостановился, глянул Николаю в глаза.

— Зачем, говорите? — Он потупил голову и нахмурился. — А зачем всё остальное? Зачем такая жизнь? Всё запутано, кругом слепая вражда. Вот кричат они сейчас там о русском народе. О святом русском мужике. Где он, такой? Его выдумали. Или я ни черта не понимаю. Пекаря — тоже народ. Но они с удовольствием поколотили бы этих вот своих защитников. Страшная неразбериха. Люди не могут понять друг друга. Одиночество. Самоубийства. Цианистый калий. Может, в нём только и есть смысл?

— Алексей, вы же крепкий парень. Откуда такая растерянность?

Пешков понуро шагал рядом, молчал, большой, нескладный, неприкаянный.

Они спускались по заглохшей улице под гору. Внизу в беспамятстве лежала предутренняя Казань. Бледно светились редко разбросанные уличные фонари. Безнадёжно и бессмысленно брехала где-то на окраине собака.

— Знаю, тяжело, — сказал Николай. — Не одному вам тяжело. Но выход не в цианистом калии. Человек должен выпутаться и выпутается. Вы тоже найдёте свою дорогу, уверен. Давайте подыщем вам настоящее дело.

— Да, наша булочная — чепуха. Вы правы. Таскаюсь с дурацкой двухпудовой корзиной, торгую, ношу записочки, передаю какие-то тайны. Игра. Ни к чему всё это, сам начинаю понимать.

— Вот и хорошо, что поняли. Найдём подходящее дело. Дайте руку.

На Рыбнорядской они расстались, договорившись о встрече. Пешков пошёл к Бассейной. Шагал он крупно, сильно наклоняясь вперёд, сапоги отчётливо стучали по пустынной мостовой. Николай смотрел вслед и долго слышал удаляющиеся шаги. Он верил, что скоро они увидятся. Он был слишком молод, чтобы не доверять судьбе.

8

«Вы человек тонкой психической организации, вам трудно будет у нас в «Крестах»», — говорил доктор. Он не ошибся. Трудно, очень трудно. Думалось, спасёт работа. Тогда, когда голодала мысль, работа, может, и была бы спасением, но сейчас завязались переговоры (даже переписка) с друзьями, появились книги, есть чем заняться, есть о чём думать, а приходится вот клеить картонные коробки. Работа чисто механическая, и сначала казалось, что можно клеить и одновременно думать, но так не получается. Приходит какая-нибудь мысль, начинает развёртываться, и вдруг — «Роза», «бр. Шашпал».

Он делает коробки для папирос «Роза», которые выпускает фабрика братьев Шашпал. Красочные этикетки вызывают раздражение, назойливо лезут в голову неведомые братья Шашпал. Перебивает мысль и счёт, от которого никак не отделаешься. Время теперь измеряется не минутами, не часами, а крышками, донышками и готовыми коробками. Пока не выполнишь урока, нельзя заняться ничем другим. И могут ещё запереть в карцер, если откажешься от работы.

Странно, почему Сабо не засадил тогда в карцер? Кричал, грозил, а не запер. Или надзиратель запамятовал приказ? А посадили бы в карцер, не удалось бы выйти на прогулку и поднять во дворе папиросный мундштук с запиской Ягодкина. Да, это был канун новой жизни в «Крестах». Запиской Ягодкина началась тюремная переписка с казанскими друзьями. Друзья, друзья! Если бы вместе с ними работать! Главное тюремное управление старается во все замки ввести труд, но предшествующие власти на это не рассчитывали и мастерских при тюрьмах не строили. «Кресты» воздвигнуты совсем недавно, однако и здесь нет помещений для работы, и арестанты, особенно политические, корпят над своими уроками в одиночных камерах.

Итак, ещё один десяток коробок есть. Сколько осталось? Чёрт, ещё полсотни! Двести коробок в сутки. Достоевский ходил вдоль острожного забора и считал пали. Прошли сутки — долой одну палю. Там были пали, а здесь коробки. Остаётся сроку двести восемьдесят пять дней. Помножим двести восемьдесят пять на двести и получим… пятьдесят семь тысяч. Значит, ещё пятьдесят семь тысяч коробок — и свобода! Стучит сосед. Может быть, весть от Ягодкина?

Он бросил на кровать склеенную коробку, взял со стола карандаш и повернулся на табуретке к стене. Стукнул три раза — «слушаю».

— Радуйтесь, — простучал сосед, — завтра дежурит надзиратель, которого ждёте.

— Его не уволили?

— Болел.

— Как узнали?

— Этот, сегодняшний, проговорился.

— Шаги. Прекращаем. — Николай кинул на стол карандаш и принялся за работу.

Шаги затихли. Можно возобновить разговор, но лучше уж обождать. Бережёного бог бережёт. Значит, завтра заступит на дежурство тот добрый надзиратель, которого удалось уговорить вывести на прогулку в одной партии трёх казанцев. Предстоит встреча с Ягодкиным и Масловым. Здорово! Когда-нибудь удастся увидеться здесь и с Саниным, и с остальными друзьями. Политических выпускают на прогулку по одному (редко но двое) на группу уголовных, но в дальнейшем можно обработать надзирателей, и они будут устраивать вот такие тайные свидания.

Снова послышались шаги. Ближе, ближе. Уже у самой камеры. Грохот и лязг ключа.

Николай не любил сегодняшнего службистого старого дежурного и продолжал клеить, даже не поднял головы, когда тот вошёл в камеру. Надзиратель долго молчал, видимо, усмехался. Потом переступил с ноги на ногу, крякнул. Николай работал, нагнувшись.

— Придётся плясать, — сказал надзиратель, и тут Николай не выдержал, вскинул голову.

— Письмо?

Надзиратель подал тощенький конверт.

Николай торопливо вынул письмо и, не дождавшись, пока выйдет надзиратель, стал читать. Писала Катя Санина, сестра друга. Она предлагала свою дружбу и свою поддержку и просила Николая откровенно рассказать всё о себе и о её брате.

— Ишь как обрадел! Должно, деньгам? — сказал надзиратель, но Николай и тут не заметил, что тот всё ещё стоит в камере. — Должно, деньги обеш-шают? А?

— Что? — рассеянно спросил Николай.

— Должно, говорю, деньги обешшают?

— Деньги, деньги, старина! Кутнём, что ли?

— Ну-ну, вы это бросьте. Не на того попали, аспадин.

— Тогда прощайте.

Надзиратель вышел.

Николай ещё раз прочитал письмо, и ему вдруг стало грустно. Катя почти ничего не написала ни о себе, ни о друзьях, оставшихся в Казани, ни об Ане. Аня, что же всё-таки с ней

случилось? Если она живёт под надзором полиции в Царицыне, почему не пишет ему? Неужели забыла его? Но ведь там, в Казани, когда её выпустили из тюрьмы на поруки, она почти ежедневно ходила к начальству и просила разрешения на брак, на брак с ним, Николаем Федосеевым, заключённым, которому грозили годы тюрьмы. Когда увозили их из Ключищ, она тихонько сказала ему: «Запомни — я всегда с тобой и твоя». Так что же с ней происходит теперь? Невозможно поверить, что она от всего отступилась, от него и от того дела, на которое они вместе пошли. Может быть, она умерла? Это страшно. Это страшнее всего.

Сколько времени проведено с ней вместе? За месяц в Ключищах — часов двести. И столько же, наверно, за два года в Казани. Выходит, четыреста часов? Так мало? Нет, это очень много. Четыреста часов счастья! Чистого, ничем не разбавленного. Этого хватит на всю жизнь, если даже не придётся больше встретиться. Достаточно брать какое-нибудь одно мгновение на каждый будущий день, чтобы заполнить долгие годы пустоты. Выбросила ли Наташа из флигеля цветы? Или они второй год так и лежат на подоконнике, засохшие и почерневшие? Не успела Аня подарить их. Да, много счастливых часов упущено.

9

Они редко бывали наедине и встреч никогда не назначали. Нет, один раз он попросил её прийти вечером к гостинице на Проломную. И как радостно ждал желанной минуты! Была уже осень, хозяйка хорошо протопила его комнату, он сидел за столом, читал Спенсера и поглядывал на стенные часы и в окно, за которым медленно и косо летели снежные хлопья.

В комнате становилось сумеречно, он зажёг лампу и продолжал читать. До встречи оставалось без малого полтора часа. На дорогу до гостиницы ему надо было минут двадцать. Значит, сидеть он должен был ещё час, не меньше. Спенсер, всегда податливый, сегодня упрямо сопротивлялся, и преодолевать его приходилось с большим усилием.

Послышался стук в дверь. Николай досадливо поморщился. Вспомнил жену «клубиста», которая когда-то не давала ему покоя. Но теперешняя хозяйка была не такая, в разговоры не втягивала, знакомств не навязывала.

— Коля, вы заняты?

— Войдите, Александра Семёновна.

Хозяйка открыла дверь, но не вошла.

— К вам какой-то молодой человек. Кажись, студент. Впустить?

— Пожалуйста, пусть войдёт. — Николай осмотрел стол, убрал «Исторические письма» Миртова и гектографированную брошюру Каутского. На всякий случай спрятал и том Милля. И встал.

Вошёл студент Мотовилов, которого не хотелось бы сегодня видеть.

— Не помешал? — сказал он. — Наверно, занимались?

— Ничего, ничего.

— Позволите раздеться?

— Да, да, раздевайтесь.

Мотовилов встряхнул мокрую, со снегом на полях, шляпу, огляделся и бросил её на гнутый диванчик. Скинул с плеч клетчатый плед, тоже сильно промокший. Потом снял пальто и протянул Николаю руку.

— Не ожидали меня?

— Да, признаться, не ожидал.

— А я всё-таки пришёл.

— Садитесь. — Николай подставил ему стул, сам сел за стол и глянул на стенные часы.

— У вас нет времени?

— Ничего, минуту можно посидеть.

— Хорошо у вас тут. Тёплая комнатка, тишина, никого лишнего. Просто завидую. Ну как, говорили со своими товарищами обо мне?

— Говорил. Не соглашаются. Не хотят вождей.

— Ага, вон чего они боятся. А вы как думаете? Лично вы?

— Я?.. Думаю, свободный обмен мыслей и свободные споры могут быть только между равными. Кружок, в котором насилуется мысль, ничего хорошего не даст. Год назад мне пришлось выйти из такого кружка. Потом мы создали свой, и дело пошло веселее. К вам, Николай Александрович, мы обратились только затем, чтобы вы помогли составить каталог. Извините, если дали повод понять нас иначе. — Николай взглянул на часы, закрыл том Спенсера и стал застёгивать на все пуговицы свою новенькую гимназическую куртку. Он хотел показать, что готовится уходить. Но Мотовилов не замечал этого и смотрел на него, о чём-то задумавшись.

— Сколько вам лет? — спросил он.

Николай застенчиво улыбнулся.

— Семнадцатый.

— Удивительно, как взрослеет юношество. Видно, время такое. Заставляет думать, искать выхода. Разрешите? — Студент протянул руку к книге.

Николай подал ему Спенсера и пожал плечами. Вот так гость! От него но отделаешься. Читать собирается, что ли?

Мотовилов действительно принялся читать. Положил книгу на колени, нагнулся и скоро, кажется, совсем забыл, где он находится. Перелистывал страницу за страницей, звучно щёлкая. Николай поднялся и стал ходить из угла в угол, ужо по-настоящему нервничая. Но Мотовилов захлопнул книгу. Кинул её на стол, вскочил и потёр ладонь о ладонь.

— Чёрт, как здорово пишет! — сказал он и посмотрел на Николая с детски искренней радостью, и тому сразу стало хорошо с этим человеком. — Вам правится Спенсер?

— Да, он много даёт. Это Гомер эволюции.

— Ёмко сказано. «Гомер эволюции». Именно этим он и берёт — гомеровским повествованием. Поэзией, обстоятельностью. Когда он говорит о природе, я вижу, как она развивается, как проходит свой путь от первичной протоплазмы до самых сложнейших форм. Природу он знает здорово, шельма. Согласны?

— Да, от века не отстаёт. В естествознании силён.

— А в истории? Пожалуй, если подумать, можно принять и его историю. А?

— Принять? — Они оба сновали по комнате, но Николай

вдруг остановился. — Принять его историю? Тогда зачем наши кружки? И ради чего шумит ваше студенчество? Чего вы вмешиваетесь? Прогресс проложит себе дорогу без вас. Надо отказаться от борьбы.

— Правильно! — Мотовилов схватил его за плечи и потряс. — Правильно мыслите, тёзка! Принять социальные выводы Спенсера — значит отказаться от переустройства, пускай развивается общество само по себе, пускай идёт в нём это, как его, *непрерывное перераспределение частиц.* Нет, шалишь. Мы не будем ждать.

Они опять ходили по диагонали из угла в угол, сходясь на середине комнаты и расходясь в разные стороны.

— Ну, а как вы относитесь к бомбе? — сказал гимназист.

— К бомбе? По-моему, она больше не всколыхнёт России. В восемьдесят первом она прогремела в самом зените, потом потеряла силу, а в этом году совсем не взорвалась, только погубила людей. Своих же.

— И каких людей! Генералов, Шевырев, Ульянов…

— Кстати, в Казани, говорят, появился брат Ульянова. Не слышали?

— Нет, не слышал.

— Поступил в университет. Интересно взглянуть, что это за человек. Как вы думаете, куда он пойдёт?

— «Народная воля» разбита, будет искать других путей, если борец по крови… Поступил, говорите, в университет?

— Да, мне Женя сказал.

— Чириков? Как он, что-нибудь пишет? Ему надо пробиваться в литературу.

— Пробивается. Недавно в «Волжском вестнике» опять появились его стихи.

— Он что, посещает березинский кружок?

— Кажется, ходит.

— Березинцы ничего ему не дадут. Напрасно тратит время. — Николай обернулся и испуганно глянул на часы.

— Тёзка, у вас какая-то встреча? — сказал Мотовилов. — Чего же вы церемонились? Гнали бы. Идёмте. — Он взял с диванчика своё старое, порыжевшее пальто.

Они торопливо оделись, выбежали из дома и быстро пошли по улице, уже совсем заснеженной и даже прикатанной по середине полозьями. Сырые лохматые хлопья тихо опускались на землю. На Засыпкиной жили прижимистые мещане, фонари у домов зажигались поздно, не горели они и сейчас, но на улице было светло от чистого первого снега, покрывшего всё кругом. Дорога залоснилась, замаслилась, ноги по ней скользили, и идти

приходилось под руку, чтобы не упасть.

Сзади раздался громкий окрик, Николай оглянулся, увидел настигающую лошадь, запряжённую в санки, дёрнул Мотовилова в сторону, они упали в снег и захохотали.

Николай поднялся первым, поднял за руку Мотовилова, и они стали отряхиваться.

— Эх, зима-зимушка, — сказал студент, — что она нам сулит?

— Придёт и уйдёт, как и минувшая.

— Нет, я чую, этой зимой студенты взбунтуются. Понимаете, тёзка, новый устав становится невыносимым. Университет превращается в казарму, в тюрьму. Общественная студенческая жизнь совсем задавлена. Нечем дышать. Не только в университете, но и у нас, в институте. Бунт неизбежен. А поднимемся — расшвыряют нас по всей России.

Они оба задумались и шли молча. У церкви Евдокии свернули в переулок, поднялись на горку, пересекли Большую Казанскую, дошли до Воздвиженской и тут остановились.

— Вам куда? — спросил Мотовилов.

— На Большую Проломную.

— Тогда прощайте. Шаль, что не договорились.

— А по-моему, уже всё в порядке. Приходите, я устрою вам свидание с моими товарищами. Думаю, будем вместе.

— Доверяете?

— Да, доверяю.

— Ну, спасибо. Когда прийти?

— Я сообщу вам. Забегу в институт.

Они пожали друг другу руки и разошлись. Николай пересёк улицу, оглянулся, пустился бегом, хорошо что поперечные улицы были почти пусты и плохо освещены.

На Большой Проломной было светло и людно, прохожие и экипажи успели размесить и смешать с грязью сырой снег. Пришлось идти шагом.

У гостиницы стояли коляски и фаэтоны с поднятыми заснеженными верхами. Около крыльца толпилась кучка пьяных. Ани поблизости нигде не оказалось. Не дождалась. Разве могла она до сих пор топтаться тут в грязи, возле пьяной компании? Николай проклинал свою глупость. Остолоп! Почему он просил её прийти именно сюда, к гостинице? Эти гуляки, конечно, к ней приставали. Чего им стесняться? Стоит красивая девушка, кого-то высматривает — явно хочет попасть к кому-нибудь в номер. Чудовищно. Надо же было придумать! Первый раз назначил свидание, и так нелепо всё вышло. Но что теперь делать? Случившегося не поправить.

Николай ещё раз осмотрелся кругом и пошёл обратно, в пустоту, в одиночество. Сделал несколько шагов и понял, что не может уйти, не увидев её. И почувствовал, что она здесь. Он вернулся, прошёл *до* конца гостиничного здания, и тут его бросило в жар: поодаль, под фонарём, привалившись головой к столбу, стояла Аня. Ему захотелось подкрасться к ной, осторожно обнять и сказать ей что-то такое, чтоб сразу прошла её обида. Он стал подкрадываться. Она увидела его, но не кинулась навстречу, только отклонилась от столба. Когда он подошёл, она но вынула руки из муфты, не улыбнулась, даже не подняла взгляда.

— Аня, — сказал он, — дай мне пощёчину.

Она молчала, злая, жалкая и прекрасная в своей снежной шапочке.

— Хлестни — мне легче будет. Дурацкая башка. Сейчас только всё понял, здесь, у подъезда. Догадываюсь, почему ты ушла сюда. Бедная, вся промокла.

Она замигала и отвернулась, выдернула руку из муфты.

— Прости, Аня. Нет, не прощай, накажи. Накажи балбеса.

Аня повернулась, тихонько и нежно шлёпнула его по щеке.

— Хватит тебе, — сказала она, улыбнувшись. — Ты ведь не нарочно, понимаю. Пошли. Нет, не туда. Домой не отпущу, раз провинился.

Они дошли до Рыбной площади и, не сговариваясь, повернули вправо, в сторону озера Кабан.

— Знаешь, я сегодня очень близко сошёлся с Мотовиловым, — сказал Николай.

— С кем? — Слева гремели летящие по мостовой экипажи, Аня не расслышала Николая и прижалась к нему вплотную. — С кем, говоришь, сошёлся?

— С Николаем Мотовиловым.

— А, знаю. Из ветеринарного?

— Да, студент третьего курса. Я начал подбирать для нашего кружка студентов. В университете уже троих присмотрел. В ветеринарном есть один на примете. Ягодкин. Новичок. Парень, кажется, интересный, мыслящий. Не знаешь его? Он похож несколько на молодого Гоголя.

— Нет, не знаю. Я там мало кого знаю. А в университете теперь много будет знакомых, особенно медиков.

— Вот и присматривайся к студентам. Потом кого-нибудь нам предложишь.

— А я и сейчас могу предложить.

— Кого?

— Дмитрия Матвеева. Студент третьего курса. Из Царицына. Я недавно с ним познакомилась, но мы уже друзья. Он, кажется,

даже влюблён в меня немного.

— Нет, избави боже. Такого не надо. Ни за какие деньги.

— Ревнуешь?

— Шучу, шучу. Сведёшь как-нибудь с ним. Посмотрю.

— Хорошо, познакомлю. Ну, а что же с Мотовиловым?

— Понимаешь, я его как-то опасался. Человек развитый, сильный и, как мне казалось, властолюбивый. Думаю, придёт в кружок и подчинит всех своей воле, а от этого ничего хорошего не жди.

— Говори громче.

— Но мы же на улице. Люди.

— Тогда помолчим. Грохот, ничего не слышно.

— Сейчас выйдем на окраину. Смотри, снег-то перестал. Маловато выпало, размесили его здесь. А по нашей улице уже на санях ездят — кругом всё бело. Аня, куда мы идём? Ты же промокла.

— Ничего, тепло. С тобой тепло.

Вскоре они оставили позади шумную освещённую улицу, миновали окраину и очутились на берегу озера Кабан. Оно уже замёрзло и белой равнинной лежало под снегом, только на самой середине чернела полая вода.

— Ну, заканчивай про своего Мотовилова, — сказала Аня, став на край обрывчика. Николай подошёл к ней поближе, сбил перчаткой снег с её котиковой шапки.

— Так вот, я его опасался. Ненавижу деспотизм. Деспотизм страшен не только в государстве, но и в кругу товарищей. Мне представлялось, что этот напористый студент вломится в наш кружок, станет учить и подавит живую мысль.

— Как ты с ним познакомился?

— Нам нужно было составить каталог, мой друг обратился за помощью к Чирикову, тот направил его к Мотовилову. Мотовилов захотел встретиться со мной. Встретились, и он предложил работать вместе.

Я не согласился, но сказал, что посоветуюсь с товарищами. Посоветовались и решили отказать. И сегодня я долго упирался. Потом мы как-то неожиданно разговорились. Он оказался хорошим человеком. Искренним, бесхитростным. И толковым.

— Не ошибаешься?

— Нет, не ошибаюсь. Мне кажется, с ним у нас начнётся новая жизнь в кружке.

— Да, разрастётся твой кружок. Что ты будешь делать, когда вас наберётся слишком много?

— Есть у меня замысел… Но об этом говорить рано.

— Ладно уж, не говори. Я же чужая.

— Не обижайся, скоро и ты будешь наша. Я верю тебе, но другие-то ещё не знают тебя. Постепенно как-нибудь войдёшь в наш круг. Подожди.

— Подожду, пока в институте. Смотри — светлее становится. — Аня запрокинула голову. — О, луна выползает!

Николай глянул в небо. Между туч зияла глубокая прогалина, и к этой прогалине быстро подвигалось белое круглое пятно. Потом оно выкатилось из облаков сияющим диском.

— Ну вот, всё вышло по-настоящему, — сказала Аня. — Свидание, луна. Под луной мы с тобой ещё не встречались. — Она повернулась к нему и поцеловала. Потом отвела его голову и пристально посмотрела в глаза. — Коля, почему у тебя всегда такая грустная улыбка? Даже тогда, когда ты радуешься?.. Я боюсь на тебя.

— Не бойся, я крепкий.

— Да, ты крепкий. Небольшой, но крепкий. Ты ещё вырастешь?

— Нет, пожалуй, не вырасту. Отец у меня не выше, и мать не из рослых.

— Когда-нибудь я их узнаю. Правда?

— Конечно.

Она взяла его под руку и повела по берегу, по мягкому, сырому снегу, из-под которого высовывались редкие обломанные стебли какой-то дудчатой травы.

— Пойдём, посмотрим то место, где сидели. Ты помнишь тот день?

— Помню. Конец августа, запах полыни, солнце, голубая вода. Мы мечтали о море, и ты говорила, что обязательно увидим его, настоящее море. Я всё помню, каждую нашу минуту.

— А где мы сидели? Покажи.

— Вон там, на бугорке, у той ивы.

Они подошли к старой одинокой раките. Тогда, в конце августа, она склонялась к воде жухлой, но ещё зелёной листвой, а сейчас над снегом торчали её кривые чахлые сучья.

— Как грустно смотреть на прошлое, — сказала Аня. — Когда-нибудь мы, старенькие, пройдём с тобой по местам нашей молодости и всё вспомним. Ой, даже сейчас хочется плакать. Может, лучше не оглядываться? Идём.

Они повернулись и пошли обратно по своим следам. Николай хорошо видел при луне отчётливые отпечатки её бот на сырой пороше и думал, что и это нот запомнится навсегда, как запомнился запах августовской полыни.

— А снег этот растает, — сказала Аня.

— Тебе не холодно?

— Нет, я согрелась. Мне там было холодно, у гостиницы.
— А всё-таки дождалась, но ушла.
— Я всегда тебя буду ждать до конца.

10

Нет, она, конечно, осталась верной своим словам.

И ничего страшного с ней не случилось. Кто-то, может, тот же Гутман (откуда он всё-таки взялся?), выхлопотал ей свободу, её выпустили из казанской тюрьмы, но отправили под гласный надзор в Царицын, и она там ждёт, а не пишет только потому, что не хочет, чтоб в её интимные письма заглядывали полицейские и тюремные чиновники. Она ждёт, иначе и быть не может, и нечего было падать духом. Всё идёт к лучшему. Вчера на прогулке, спасибо доброму надзирателю, удалось увидеться (Ягодкина не выпустили) с Масловым. Друг здоров и даже весел, и встреча с ним подняла настроение — снова захотелось жить и работать. Да, теперь можно приняться за работу, начатую в Ключищах. Казанские экономические заметки, написанные в губернской тюрьме, лежат в сохранности в здешнем цейхгаузе, и есть надежда, что их выдадут. В камере появились книги и бумага. Теперь бы побольше свободного времени, а его отнимает вот эта чертовщина.

Николай сидел на табуретке, клеил папиросные коробки и клал их в стопу на стол. Надо было торопиться, чтоб закончить урок до прогулки. В коридоре сегодня дежурил старый службист, прогулка не обещала встречи с друзьями, зато сулила настоящее весеннее солнце: на чёрном полу лежал квадрат света, такой отчётливый и ясный, какого ещё не приходилось здесь видеть.

Он склеил последнюю коробку и стал переносить стопы в угол камеры, где за неделю вырос целый штабель его изделий. Сегодня суббота, вечером придёт мастер-надзиратель, он примет работу, и в камере станет свободнее. Что-то долго не выводят на прогулку. Ага, по лестнице, слышно, поднимается коридорный надзиратель. Сейчас он пройдёт по балкону к последней камере и оттуда начнёт открывать двери — все подряд, пропустит только две из трёх, за которыми сидят политические. Кому же сегодня выпадет гулять с этой партией? Ягодкину, соседу или ему, Николаю?

Он приникает к закрытому дверному окошку и слушает. Надзиратель неторопливо проходит мимо, удаляется в конец балкона и начинает открывать камеры — первую, вторую, третью… Камера Ягодкина — пятая от края. Надзиратель, судя по шагам, минует её, оставляя запертой. Значит, выходить в этой очереди теперь уже одному из двоих политических. Лязг открываемых дверей приближается. Соседнюю камеру надзиратель пропускает. Николай берёт с вешалки шапку и

шинель, снова поворачивается к двери, и она распахивается перед ним. Мимо идут уголовные арестанты. Николай пережидает, потом выходит на балкон, останавливается и смотрит через железные перила вниз, но голова теперь не кружится, как закружилась полтора месяца назад, когда он однажды подумал о прыжке.

— Эй, чего там остановился? — кричит снизу старший надзиратель, который стоит на перекрёстке коридоров и видит все четыре яруса во всех четырёх отделениях. — Шагай, шагай!

Николай улыбнулся и быстро пошёл по балкону. Уголовные уже спускались с длинной прямой лестницы на пол. Они были все серы, но сзади шагал человек в чёрном пальто. Политический! Откуда он взялся? Перевели из другого отделения? Не казанец ли? Николай сбежал с лестницы и догнал у выхода вереницу. Она длинной гусеницей выползла во двор, потянулась к устланной плитняком прогулочной площадке. Человек в ветхом чёрном пальто и ссевшей беличьей шапке понуро брёл впереди Николая, глядя под ноги. Ему не надо было ничего: ни свежего воздуха, ни этого мартовского солнца, ни запаха тающего снега. Он ничего не чувствовал и ни на что не смотрел, занятый думой. Шея у него была тонкая, с глубокой впадинкой между косицами. По этой шее Николай и узнал его, а потом припомнил и шапку, когда-то пышную, мягкую. Несомненно, это был Санин.

Николай, когда вереница стала кружить по площадке, подошёл к другу почти вплотную.

— Алёша, — сказал он. Санин не услышал его.

— Аспадин, не налазьте! — сказал усатый надзиратель (надзирателей было трое, и они стояли по сторонам площадки).

Николай приотстал немного, но, когда удалился от старого служаки, снова приблизился к Санину.

— Алексей, — сказал он громче. Тот не услышал его и на этот раз. Не оглох ли?

Обошли кругом площадки и опять поравнялись с длинноусым надзирателем.

— Прошка, держи дистанцию! — сказал служака. Прошка, маленький мужичок, шагавший впереди

Санина, повернул голову.

— Чего?

— Держи, говорю, дистанцию! Не понимаешь, скотина?

Николая будто огнём изнутри обожгло.

— Слушайте, — сказал он, оглянувшись, — кто вам дал право оскорблять человека?

— Какого человека? Это вор. Прошка, чего плетёшься, как паршивая овца.

— Прекратите! — крикнул Николай, остановившись. — Мы вызовем прокурора.

— Это ещё что? — заорал надзиратель. — Я покричу вам! Марш! Не останавливаться!

Николай шагнул вперёд и тут увидел в лицо стоявшего Санина. И замотал головой.

— Мы незнакомы, — шепнул он. — Иди, иди.

Санин повернулся и догнал Прошку. Николай не отстал, конечно.

— Не оглядывайся, Алёша, — сказал он. — И говори тихо. Давно в нашем отделении?

— Вчера перевели. — Санин опять смотрел себе под ноги, но теперь уже нарочно.

— Как здоровье? — спросил Николай.

— Сносно. Письмо от Кати получил?

— Получил. Позавчера. Завтра воскресенье — отвечу.

— Давай, давай. Напиши, что я чувствую себя хорошо. Мне не верит. Будь с ней откровенным. Это настоящий человек. Встретишься — узнаешь.

— Думаешь, встретимся?

— Обязательно.

Они подходили к молодому надзирателю. Тот отвернулся: говорите, мол, говорите.

— Общину свою не забросил? — спросил Санин. — Работаешь?

— Начинаю. Книги кое-какие есть, бумаги дали.

— Рад за тебя.

— Вчера виделся с Масловым. Помог один добрый человек. Надзиратель.

— Потише.

— Тебе слышно?

— Очень хорошо.

— А я напугался. Думал, ты оглох. Иду за тобой, окликаю — никак не отзываешься.

— Я забылся.

— Как всегда. Вспоминаю твою рассеянность.

Они подходили ко второму молодому надзирателю.

Этот совсем не смотрел на площадку, стоял к ней спиной, доставал из кармана шинели какие-то крошки и бросал их воробьям, кучкой собравшимся на проталинке.

— Весна, Алёша, — сказал Николай. — Взгляни на крышу. Снег плавится. Блестит, как слюда. Играют выси ледяные с лазурью неба огневой.

— Пушкин?

— Дружище, ты всё такой же. Раз стихи — значит, Пушкин.

— А в тебе всё прогрессирует эстетство? Смотри, добром это не кончится.

— Сухарь.

— Ладно, не лайся. Скажи: как Маслов?

— Подожди, пройдём моржа.

Длинноусый служака встретил Николая угрожающим взглядом. Но Федосеев не дрогнул, не отвёл взгляда.

— Будете объясняться прокурору, — сказал он, поравнявшись. — Мы так не оставим.

— Шагай, шагай.

Николай оглянулся,

— Как вы сказали?

— Шагайте.

— То-то же.

— Не связывайся, — сказал Санин.

— Нет, мы будем их учить. Хватит, потерпели. В одиночку с ними трудно было воевать. Теперь мы должны объединиться. Надо бороться. Не так уж долго нам сидеть, а свобода — это борьба. Давайте готовиться.

— Тише.

— Не бойся, эти не слушают.

— Как Маслов?

— Молодцом. Сдаваться не думает. Много читает. Пишет стихи.

— Тоже мне поэт! Не найдёт, чем заняться? Язык бы какой-нибудь учил.

— Алексей, Анну сестра твоя знала?

— Едва ли. А что?

— Понимаешь, не могу понять, что с ней случилось.

— С кем?

— Да с Анной.

— Сидит, очевидно, в Казани.

— Нет, она в Царицыне.

— В тюрьме?

— Не знаю. Скорее всего под гласным надзором. Ничего не пишет. Может, вышла замуж?

— Не выдумывай. Помнишь, как она металась, когда была на поруках? Донимала казанское начальство, хотела с тобой обвенчаться. Никуда она не денется. Будете вместе. А вообще-то, нам лучше не жениться. С женщинами одна морока. Даже с умными. Разве не Анна нас подвела?

— Что? Что ты сказал? Алексей, чтоб я больше этого не слышал. В чём её вина? Написала товарищу письмо? А мы не писали? А ты из своих подлиповских лесов не писал?

— Я писал вам, надёжным.

— А она кому? Гангардту? Она писала тоже надёжному. Дмитрий Матвеев был в нашем кружке. Проверенный человек. Разве она знала, что его загребут по этому цюрихскому делу?

— Ну хорошо, не будем. Вон твой морж навострил уши.

Они замолчали, и сразу стал слышен глухой топот множества ног, обутых в коты. Вереница, изогнувшись на углу, двигалась в ту сторону, где стоял длинноусый. Служака внезапно повернулся и отошёл от края площадки.

— Видел? — сказал Николай. — Он отступает.

— Поздравляю, — сказал Алексей. — Чертовски хочется посмотреть на тебя.

— И мне тоже.

— Разреши оглянуться.

— Ни в коем случае. На балконе осмотримся.

— Ты стал жестоким.

— Не чувствую и в тебе мягкости.

— Я таким и был.

— Молчим. Он слушает. Поговорим на балконе.

Вскоре прогулка кончилась. Вереница вползла в корпус. На лестнице, когда хвост её подтянулся до середины, Николай почти вплотную приблизился к Санину.

— Мы можем переписываться, — сказал он, — и перестукиваться. Азбуку декабристов знаешь?

— Знаю.

— Стучи соседу — передадут. Вместе нас на прогулку едва ли будут пускать. Сегодня морж ошибся.

На балконе Санин обернулся.

— О брат, — сказал он, — ты стал гораздо старше.

— Мне уже двадцать, — сказал Николай. — А ты почти не изменился.

Они обнялись.

— Эй, вы там! — закричал внизу надзиратель. — Марш по камерам!

11

Итак, ещё с одним удалось свидеться. Посчастливилось. Да, встречи со старыми друзьями — это счастье. Эх, казанцы, сойтись бы сейчас всем вместе! Нет, всем никогда не собраться. Многих уж нет в Казани. Одни сидят, другие успели бежать за границу, третьих правительство загнало в глухие губернии. Так что и не разыскать друг друга. Но кое-кого можно всё-таки найти. Мотовилов, наверно, до сих пор отбывает ссылку в Пензе. Вот бы с кем встретиться! Коротка была дружба с ним, но вся она, как и время, проведённое с Анной, осталась в памяти живее живого.

Долго тогда пришлось толковать с товарищами, чтобы убедить их, что это как раз тот человек, который нужен кружку. Разговор длился больше часа и не совсем ещё закончился, кто-то ещё возражал, когда дежуривший у входа паренёк впустил в комнату того, о ком говорили. Все сразу уставились на него, а кто-то даже привернул фитиль лампы, чтобы лучше рассмотреть пришельца. Мотовилов смутился, хотя ему, студенту третьего курса, нечего было тут стесняться: почти все эти смотревшие на него юноши были в куртках с серебряными гимназическими пуговицами.

Он снял поярковую шляпу, долго ощупывал красные уши и стоял у двери. Потом ему выдвинули стул, и он сел на него, скинув с плеч клетчатый плед.

— Можно в пальто? — сказал он. — У вас тут холодновато, а меня здорово прохватило, пока добежал. Мороз завернул к ночи-то.

С ним никто не заговорил, и от этого стало всем неловко. Мотовилов подумал, что ему опять отказали, и недоуменно глянул на того, кто его пригласил сюда. Николай обвёл товарищей взглядом, понял, что никто больше не возражает, довольно улыбнулся и повернул голову к Мотовилову.

— Так мы согласны, — сказал он.

— Согласны? — Теперь и Мотовилов присмотрелся, с кем имеет дело, но его пристальный взгляд, переходящий с одного на другого, никого не смутил. — Что ж, — сказал он, — народ вы серьёзный, хотя и молодой. А где ваш товарищ, который приходил ко мне?

— Волков?

— Да, Волков.

— Его нет.

— Жалко. Через него ведь началось наше знакомство. Хотелось видеть его сегодня здесь. Толковый юноша. Дельный.

— Что, думаете назначить его своим помощником? — сказал Вершинин. Этот долговязый желчный гимназист всегда отличался несдержанностью. Сейчас он стоял, скрестив руки на груди, у голландской печи и заносчиво усмехался. — Думаете установить иерархию? Она осточертела нам в гимназии, а здесь мы все равны.

— Вершинин, — сказал Федосеев, — никакой иерархии нам не навязывают. Нам хотят только помочь. Так ведь, Николай Александрович?

— Нет, я просто хочу вместе с вами искать дорогу. Хотя Волков и говорил мне, что ваш кружок создан только для саморазвития, но вы, конечно, перешагнёте эту цель и найдёте свой путь, раз усомнились в народнической программе.

— О программах говорить ещё рано, — сказал Федосеев. — Сомнение вызывает у нас только каталог, который ходит по Казани. Он устарел.

— Попробуем составить новый, — сказал Мотовилов. — Я кое-что наметил.

— А ну, ну? — сказал Вершинин.

Мотовилов сунул руку под пальто и достал карманную, обрезанную тетрадку.

— Вот, послушайте, — сказал он. — Первым у меня тут идёт «Царь-Голод».

— Это не новинка, — перебили его. — Баха давно все прочитали.

— Прочитали? Я начал с этой книги потому, что она родилась здесь, в Казани. Её надо знать.

— Знаем, почтя наизусть выучили.

— Ага, даже так? Что ж, тогда можно на ней и не останавливаться. Вычёркиваем. В таком случае, первым пойдёт Миртов.

— «Исторические письма»?

— Нет, «Социальная революция и нравственность». Книга для Казани малознакомая. Достать можно в одной частной библиотеке.

— Эту не знаем. Надо включить.

— Да, оставить, оставить.

— Хорошо, оставим. Следующий — Флеровский,

«Положение рабочего класса в России». Будем знакомиться?

— Будем. Читайте дальше.

— Речь Бардиной и речь Алексеева на «Процессе пятидесяти». Это ходит в списках. Затем Бельтов, «Наши разногласия»…

Мотовилова больше не перебивали, и он называл всё новые и новые книги (некоторых не читал и Федосеев), говорил об их

содержании, рассказывал, где и как их доставать: одни надо брать в казанских нелегальных библиотеках, другие будет доставлять Петербург, с которым есть уже тайные связи, третьи могут присылать знакомые из Женевы, где группа знаменитых эмигрантов издаёт труды, открывающие для России Маркса.

Николай не ошибся: как он и хотел, сегодняшний вечер ложился просекой к новой цели кружка.

Отчуждённость исчезала, гимназисты слушали студента всё внимательнее и доверчивее, подвигались с табуретками и стульями к нему поближе, а Вершинин, на которого больше не смотрели, оставил свою высокомерную позу, опустился у печки на корточки и притих. Все понимали, что только теперь начинается по-настоящему осмысленная работа кружка.

Разговор был в самом разгаре, когда гимназист, дежуривший у ворот, вошёл в комнату, откинул заиндевевший воротник полушубка и сказал:

— Там кто-то ходит.

— Где?

— На нашей улице. Я следил больше часа. Какой-то в белом нагольном тулупе. Зайдёт в переулок, постоит и опять выйдет. Надо, пожалуй, расходиться. — Дежуривший гимназист был и хозяином дома, потому что его бедные родители, чтобы сберечь лишний кусок хлеба, уехали на неделю к родне в Свияжск. — Отец меня загрызёт, если попадёмся. Расходиться надо.

— Да, расходимся, — сказал Николай.

Загремели стулья и табуретки. Гимназисты поднялись.

— Выходите через двор, задами, — сказал хозяин, а сам опять пошёл на улицу.

Николай, когда стали расходиться, придержал Мотовилова за руку.

— Останьтесь, поговорим, — сказал он и, наклонившись к лампе, дунул в стекло.

Они сели к столу и минуту молчали в темноте. За окнами слышались шаги по мёрзлому плотному снегу. Это молодой хозяин обходил с улицы свой двор. Вскоре он вернулся, запер ворота и дом на засовы, разделся, открыл комнату и в тусклом свете, упавшем сверху из прихожей, разглядел оставшихся.

— А, это вы? — сказал он. — Ничего, вдвоём-то можно. Не так опасно. Всё-таки не сборище. Тот ещё топчется за углом. Пускай помёрзнет, а мы посидим в тепле. — Он вынес из комнаты в прихожую стул, встал на него и снял висевшую под низким потолком лампу. — Будете уходить — скажете.

— Покидаешь нас? — сказал Николай.

— Пойду на кухню, почитаю. Там окно выходит во двор, света

с улицы не видно. — Паренёк прикрыл дверь и удалился.

— Не хочет мешать, — сказал Мотовилов.

— Значит, будем читать Миртова?

— Начнём с Миртова. Но знаете что, тёзка? Читать — это ещё не всё. Надо изучать окружающее. Мы так зарываемся в книги, что и жизни не видим. Согласны?

— Да, пожалуй, вы правы. Пока в книгах только и живём. И настроение у ребят книжно-романтическое.

— Ну, это не совсем так. Настроение создают здесь студенты. Их мятежные разговоры. Но на одних разговорах далеко не уедешь. — Мотовилов завозился в темноте, заскрипел стулом — шарил, видимо, в карманах. — Вы курите? Нет? Хорошо, тяните до тюрьмы — там-то уж никуда не денетесь от этого спасительного яда. — Он чиркнул, закурил папиросу и, подняв горящую спичку, пристально посмотрел на Николая. — Бледны мы все, мало бываем на воздухе. Жить надо. Действовать.

— Вот об этом я и хотел поговорить с вами. Пора нам приступать к делу. Но ведь сначала надо найти его. И вот тут-то много неясного. Где наше место? Куда приложить силы?.. Знаете, отец хочет, чтобы я стал юристом.

— Сам, наверно, юрист?

— Судебный следователь.

— Чего же вам выбирать? Идите по его пути. Может быть, и меня пристроите, найдёте мне местечко где-нибудь в Петропавловской крепости. В каземате. Два-три удачных дознания — вот вам и карьера.

И будете жить-поживать, ловить в сети студентиков. — Мотовилов уже ходил по комнате, и огонёк папиросы блуждал в темноте, то разгораясь, то потухая. — Шучу, шучу. Есть в России немало порядочных юристов. Есть знаменитый Плевако. Есть Кони, оправдавший Веру Засулич. Заканчивайте-ка свою гимназию и поступайте в университет. К слову, брат Александра Ульянова поступил на юридический.

— Вы познакомились?

— Нет, видел его один мой приятель. В нелегальной студенческой столовой. Опрятный, говорит, безукоризненно чистый, форма с иголочки. Очень сосредоточенный. Обедал, читал газету, ни с кем не говорил. Потом пошёл в соседнюю жилую комнату и сел за шахматы.

— Неплохо бы с ним познакомиться. Говорите, он на юридическом? А я хочу на медицинский.

— Приветствую. Врачи России нужны.

— Да, но до врачебной практики ещё далеко. И она не может стать делом всей жизни. Ни в какой профессии нет настоящей

пользы, если страна парализована бесправием.

Они оба, как тогда у Николая, сновали по комнате, по теперь не видели друг друга, и каждый мог следить за движением другого только по голосу.

— Дружище, — сказал Мотовилов где-то в углу, — Россия не парализована. Она корчится в судорогах, мечется в бреду, но не парализована. Встанет она, обязательно встанет.

— Встанет или восстанет.

— Встанет, восставши.

— Но для того, чтобы она восстала и встала, каждый из нас должен что-то делать.

— А дело своё вы уже нашли, только надо связать его с жизнью. Книги могут завести бог знает куда, если не держаться за землю. Давайте изучать самое действительность, нашу, русскую действительность. Казанскую. Именно казанскую. Чёрт возьми, мы ничего вокруг себя не видим. Свой город мы знаем не лучше, чем какой-нибудь Сидней. Что мы можем сказать о казанских рабочих? Как живут кожевники Алафузова или мыловары Крестовникова? Чего они хотят? Способны ли они протестовать? Ничего мы не знаем, ничего не видим. Бурлим в своих кругах, сшибаемся лбами, спорим, кричим, а что толку от нашего крика? Идёмте. Чего мы здесь топчемся в темноте?

Паренёк-хозяин выпустил их за ворота и снова заперся на засовы. Они огляделись и пошли вдоль палисадников, придавленных сугробами, к центру города. По светлой, лунной улице тянулся со стороны Сибирского тракта запоздалый обоз, нагруженный мёрзлыми сырыми кожами. Закуржавевшие (потому все белые) лошади устало тащили сани с громоздкой кладью, и спрессованный снег пронзительно и тягуче визжал под железными подрезами. Извозчики, кто в собачьей дохе, кто в тулупе, а кто, помоложе, в полушубке, шагали сбоку возов, перекликались, громко переговаривались:

— Тимоха!

— Оу!

— Котелок-от у тебя?

— Нет, у Архипа.

— Архип! Котёл не потерял?

— Куда он денется? Вот, в передке. Привязан.

— Счас бы мёрзлых пельмешков в кипяток.

— Ишь, губа не дура! А по косушке не хошь?

— Не худо бы погреться.

Мотовилов и Федосеев шли рядом с обозом, прислушивались. Визжали сани, скрипела промёрзшая упряжь, но это не заглушало говора извозчиков.

— На постоялом, поди, и прилечь негде.

— Знамо, всё забито теперича.

— У порога придётся прикорнуть, мужички.

— Да, незавидная у них жизнь, — сказал Мотовилов. — Но будет ещё хуже. Это ведь крестьяне. Наделами не могут прокормиться, прирабатывают на извозе, а вот пройдёт в Казань железная дорога — волком завоют.

— Хлынут к нам, в город, — сказал Николай.

— В городе и без них полно нищих.

— Да, все ночлежки забиты. Особенно Марусовка. Зайдёшь — некуда ступить. Теснота, духота, смрад. Полуголые люди.

— Многие из деревни. Община рушится, мужики уходят с земли. Вот вам процесс, который стоило бы изучить. Беритесь. Материал под боком. В ночлежках, на постоялых дворах, в рабочих казармах. — Мотовилов натянул на ухо шляпу, укутался пледом и прибавил шагу.

Они стали обгонять подводы, но уличная дорога пошла под гору, мужики повспрыгивали на отводы розвальней и, стоя сбоку возов, принялись стегать лошадей, те затрусили, потом, понуждаемые бичами, неохотно побежали вскачь, обоз обогнал и через минуту скрылся внизу. Улица стала пустынной, точно всё тут вымерзло, не осталось ничего живого. Но вскоре издали показались два человека.

— Тоже какие-то полуночники, — заметил Мотовилов.

— Студенты, наверно, — сказал Федосеев. — Кому же ещё не спать в эту пору? Березинцы.

— Почему обязательно березинцы? Кружков в Казани много.

Тех, идущих снизу навстречу, тоже подгонял мороз, и они быстро приближались. Воротники у них были подняты, а шапки надвинуты до глаз, и Николай узнал прохожих только тогда, когда они подошли совсем вплотную. Это были знакомые реалисты — Лалаянц и Григорьев.

— Исаак, Миша! Вот неожиданность! Куда вы пропали?

— Это вы, дорогой, пропали, — сказал Лалаянц. — Мы вас даже разыскивали, приходили в гимназию — не нашли.

— Никуда я не исчезал, из гимназии пока не выбыл. Откуда в такой поздний час?

Григорьев усмехнулся:

— Откуда? А вам обязательно надо знать? Мм водь тоже можем иметь тайну.

— А, все помните тот день? Ребята, ничего я тогда не скрывал.

— Ладно, оставим, — сказал Исаак. — Но сошлись пути.

— Сойдутся, Исаак, сойдутся. Давайте больше не теряться.

Мотовилов стоял в сторонке, кутался в плед и натягивал шляпу то на одно ухо, то на другое. Федосеев повернулся к нему.

— Николай Александрович, познакомьтесь, это мои хорошие друзья.

Студент пожал реалистам руки, но в разговор по-чему-то не вступил.

Лалаянц повернулся к Николаю.

— Хозяин-то наш сбежал, — сказал он. — Слышали?

— Да, знаю, что он уехал куда-то со всей семьёй.

— И больше ничего не знаете?

— Ничего.

— О, тогда я ошеломлю вас. Мотя покончил с собой.

— Не может быть!

— Да, да, покончил. Этого и надо было ждать. Всегда ходил мрачный, ни с кем в реалке не говорил. Знал о делах своего папаши и мучился. Может, и Лизу постигнет такая же участь. И останется седой «клубист» один. Уйдёт от него и жена-краса-вица.

— Нет, жена-то не оставит его. Они необходимы друг другу. На новом месте она найдёт себе другого полковника, и тот пристроит мужа.

— Это верно.

Мотовилову было уже невмоготу стоять на холода, и он, хватаясь за уши, пошёл от компании.

— Ну ладно, — сказал Лалаянц, — не будем морозить вашего товарища. Сойдёмся как-нибудь и поговорим обстоятельнее.

— Обязательно. До встречи, друзья.

Николай догнал Мотовилова.

— Не обморозились? Наденьте мою шапку.

— Спасибо, не стоит, недалеко до жилья.

— Понравились вам реалисты?

— Что ж, ничего ребята. Этот, смуглый, на цыгана смахивает.

— Исаак-то? Армянин. Знаете что? Набирается много стоящих, надёжных людей. Есть хорошие знакомые и в университете, и в вашем институте. Есть толковые девушки в повивальном. Есть очень интересный булочник, Пешков. И вот эти реалисты. Надо их собрать. Будет у нас второй кружок. Потом, может быть, удастся сколотить и третий, а три кружка — это уже дело серьёзное.

Они дошли до Рыбнорядской площади и остановились, потому что студенту надо было свернуть тут в Собачий переулок.

— Вот что, дорогой друг, — сказал Мотовилов. — Всё идёт хорошо. Очень хорошо. Ваш кружок представляется мне зародышем революционной организации. Надо подумать о программе. Но поговорим об этом в другой раз. Я в самом деле

здорово промёрз. Давайте-ка добираться поскорее до тепла. Счастливо.

Николай пересёк пустую площадь и пошёл по Большой Проломной. Месяц назад снежным сырым вечером он проходил по этой улице с Аней. Пройтись бы с ней сейчас по этому гулкому каменному коридору, в котором звонко отдаётся каждый шаг и утрамбованный сухой снег не скрипит, а поёт под твёрдыми подошвами. Висят молочно-белые фонари, совсем ненужные в такую ясную ночь. Вверху, как сказочное будущее, как неразгаданное счастье человечества, мерцает звёздная бесконечность. Россия, кому же суждено разгадать и взять в руки твою судьбу? Скорее всего поколению, только вступающему в борьбу. «Народной воле», поднявшей взрывами волну героизма, минувшей весной был нанесён последний и смертельный удар, и нынешние юноши, воспламенённые отвагой своих предшественников, но разуверившиеся в силе террора, пойдут другой дорогой.

Запах мороза отдаёт арбузом, воздух звенит, отражая серебряные звуки шагов. Шла бы рядом Аня в своей тёплой беличьей шубке и меховых ботах, можно было бы ходить по улицам до утра, но она, конечно, спит, и арбузный запах этой ночи для неё навсегда потерян. Как жаль, что и сам сейчас ляжешь, и, поворочавшись, уснёшь, и этой ночи для тебя тоже не будет.

Света в доме нет. Значит, хозяйка спит.

Николай постучал в ставень и пошёл к воротам. Долго ждать ему не пришлось. Александра Семёновна встретила его в шинели мужа, торопливо наброшенной на плечи. Она пропустила его в калитку и, заперев её на засов, молча пошла сзади, и необычное её молчание встревожило Николая. Он обернулся.

— Что-нибудь случилось?

— Идите, идите, отогрейтесь. Я сейчас зайду и всё расскажу.

Он открыл свою комнату, бросился к столу, нащупал ручку ящика, выдвинул его, нашёл спички и зажёг лампу. И сразу заметил, что книги лежат не в том порядке, в каком он их оставил. Ага, наставнички пожаловали и сюда. Хорошо, что всю «крамолу» он отнёс позавчера к другу. Придётся опять менять квартиру. О, что он наделал! Почему не сказал Александре Семёновне, чтоб она назвалась его тёткой! Забыл, совсем забыл. Ну и конспиратор! Теперь добра не жди. Наставники раздуют дело.

Александра Семёновна вошла в комнату и присела на край диванчика. На плечах её вместо военной шинели была сейчас тёплая красная шаль. Николай посмотрел на эту добрую

перепуганную женщину, и ему до боли стало жалко её. О том, что теперь свалится на него самого, он уже не думал. Александра Семёновна дрожала. Руки у неё были под шалью, которой она всё туже обтягивала плечи.

— Успокойтесь, — сказал Николай. — Обыскивали?

Она молча кивнула головой.

— Надеюсь, не жандармы?

— Ваш наставник.

— Ну, это не беда. Ничего запретного у меня тут не было.

— Но я же подвела вас. Он спросил, не родственница ли, а я не сообразила — нет, говорю, не родственница. Потом гляжу — он усмехается. «Так-так-так. Значит, не родственница? А воспитанник наш благонадёжный сказал, что живёт у тётки. Как же так? Мы ему верим. Он дворянин всё-таки». Тут я и поняла, что подвела вас. Господи, что натворила!

— Ничего вы не натворили, Александра Семёновна. И никого не подвели. Сам я запутался. Всё хотел предупредить вас, потом забыл.

— Что же теперь будет?

— Ничего страшного.

— Он сказал, что это наглый обман. Преступление. Гимназия, мол, не простит.

— Накажут, конечно. Может быть, выгонят.

— Вот видите! Что я наделала! Дура, дура!

— Успокойтесь, Александра Семёновна. Выгонят — окончу гимназию экстерном.

Хозяйка утирала концом шали глаза.

— Отдыхайте, — сказал Николай. — Он подошёл к ней, взял её за плечи и легонько приподнял. — Идите, спите спокойно.

— Какой уж теперь сон? Мой ротный давно храпит, а я никак не сомкну глаз. Как подвела вас, как подвела!

— Перестаньте. Вы тут ни при чём. И всё утрясётся. — Николай, поддерживая её под локоть, провёл через прихожую до комнаты, в которой слышался раскатистый храп её мужа, ротного командира, человека тоже доброго, по совершенно равнодушного ко всем событиям — от мелких, домашних, до самых крупных, мировых.

— Господи! — вздохнула хозяйка. — Спит как убитый. Ему хоть бы что. Как будто никакой беды. Коля, нельзя ли как-нибудь поправить?

— Ничего не надо поправлять. Обойдётся.

— Ой, обойдётся ли?

— Всё пройдёт, ничего страшного.

— Ну ладно, ложитесь. С богом.

Николай вернулся в свою комнату, снял пальто и бросился в кровать, уткнувшись лицом в подушку.

Вот тебе и просека в будущее!

…Так и лежал он до рассвета. Там, в темноте подушки, виделась ему всё та же усеянная звёздами даль, но она теперь пугала его, и он пытался понять, что значит его крохотная жизнь в этой мерцающей бездне пространства и времени, может ли он изменить что-нибудь в том, что надвигается на него из будущего, или как индивидуум, представляющий собою только проявление шопенгауэровской воли, будет простым её исполнителем? Не исполнял ли он веления этой *безосновной* воли, когда ежедневно собирался договориться с хозяйкой и всё откладывал, пока не забыл? И не проявляется ли та же самая внематериальная воля в том, что наставник вползает в комнату именно тогда, когда её хозяин уходит в другой конец города, чтобы обсудить новый путь в будущее. Будущее. Что оно такое? «…Каждое мгновение существует, поскольку оно истребило предшествующее, своего родителя, чтобы так же быстро быть истреблённым в свою очередь…»

12

Чуть не потерял он тогда свои первые материалистические завоевания. Но не только в ту ночь грозила ему такая опасность. Здесь, в тёмной камере, тоже были минуты, когда исчезало ощущение реальности, и мир начинал пошатываться и куда-то проваливаться. Хорошо, что хватало сил поставить всё на место. Теперь не страшна и эта каменная пещера: в неё проникла жизнь.

В казанской тюрьме он не терял связи со своими кружками. И продолжал начатую в Ключицах работу. Там друзья заваливали его литературой. Здесь он ни от кого ничего не получает. Ему удалось только вырвать из цейхгауза свои книги.

Ключевский и Летурно — вся его библиотека. Но и с этим можно работать. Побольше бы свободного времени. Даже не времени, а света — вот чего ему не хватает. Раньше, когда доктор предвещал ему психическую болезнь и надзиратели опасались самоубийства, лампочка в камере горела всю ночь, а теперь её выключают сразу после вечернего звонка и включают перед подъёмом.

До подъёма ещё больше двух часов. На стене чуть белеет во мгле лист бумаги. Это правила, определяющие всю жизнь арестанта. Один из пунктов велит спать до звонка. Но Николаю не спится. Он сидит поперёк кровати, сжавшись, подтянув колени к груди. Если ещё нельзя читать, можно думать, а как вспыхнет лампа под сводчатым потолком — взять со стола тетрадь и записать свои выводы.

Надо обдумать прочитанные накануне главы из «Эволюции собственности». Летурно, опираясь на этнографический материал, доказывает, что формы собственности непрерывно меняются и что постепенное это изменение неизбежно, хотя и не скоро, без ломки общественного строя, приведёт человечество к совершенной социальной организации. Николай никогда не отвергает даже неприемлемой теории, пока не проникнет в глубь её сущности. Он хочет до конца понять и Летурно и, припоминая все его доказательства, добросовестно восстанавливает их последовательность. Но, что-то мешает ему, уводит в сторону, вдаль, в родные вятские края. Только подойдёт он вплотную к Летурно, и вот уж снова оказывается в знакомых местах близ Нолинска. И опять видит курящиеся туманом озёра. Маленький, но ловкий, уже обученный охоте, тигрёнком пробирается он по мокрым камышам. В руках новенькая английская двустволка. Он держит её вниз стволами, чтобы не попала в них роса, от которой всё кругом мокро. Крадётся к заливчику, затянутому белой

пеленой. В этом заливчике всегда водятся жирные кряквы. Вот-вот они захлопают крыльями, вынырнут из тумана, взлетят с громким заполошным криком, и тогда он вскинет ружьё, трахнет подряд из обоих стволов, и две утки упадут в болотные заросли. Отец, подаривший сыну такое дорогое ружьё, ещё не доверяет ему своего любимого спаниеля. Без собаки не вдруг найдёшь подстреленную крякву, зато, когда увидишь её, забившуюся в осоку, сразу забываешь, что долго искал, и снова готов бродить и бродить по зарослям и кочкам. До чего же хороша эта озёрная охота! И каков запах сырой прохлады! Он прошёл сквозь года и просочился в каменную камеру. Ведь в самом деле пахнет утренней болотной водой.

Николай потянул носом и действительно почувствовал знакомый запах. Почудилось даже, будто всплескивает где-то озёрная волна.

Он вскочил с кровати, пододвинул к стене табуретку, встал на неё. Окошко было открыто, он ухватился за решётку, поднялся на носки и глянул вниз. А, вот оно что (как это он раньше-то не заметил!) — вскрылась Нева! Это от неё веяло холодной влагой. Там, внизу, за каменной стеной двора, закрывающей берег и кромку реки, двигались, белея в рассветной мгле, небольшие редкие льдины. У противоположного берега вода совсем очистилась и была зеркально-чёрная, и в ней стояли жёлтые столбики — отражение тускнеющих уличных фонарей. Одна большая льдина, двигаясь самой серединой, обгоняла плывущие сбоку мелкие куски, и, когда она задевала их рыхлыми краями, слышалось тихое шипение.

Николай смотрел в окошко, пока не унесло весь, до последнего осколка лёд. Погасли на заречной набережной огни, и Нева стала серой. Она казалась теперь неподвижной, точно остановилась, закончив свою работу.

Было зябко. Николай передёрнул плечами, спрыгнул с табуретки. Обул коты, накинул на плечи шинель и зашагал по камере. Камера была сегодня просторнее: вчера мастер-надзиратель принял папиросные коробки, штабеля которых занимали один угол.

Кончились постылые уроки, впереди много свободных дней… пятница, суббота и вся пасха. Были времена, когда благоденствующие императоры в пасху выпускали заключённых из тюрем. Теперь социальные конфликты зашли так далеко, что о подобной милости не может быть и речи. Выпало вот несколько дней отдыха — и то давай сюда. Не арестантов милуют, а надзирателей избавляют на праздник от лишних хлопот. Но надо этим воспользоваться и по-настоящему заняться своей работой —

историей русской общины. Время идёт. Вот уж вскрылась Нева, надвигается май, а там и конец весны, белые ночи, короткое петербургское лето, первые снежные хлопья за окошком и осенние заморозки. И новый лёд на реке, но на этот лёд, когда он будет проходить, не придётся смотреть сквозь решётку: в январе — свобода! Да, не за горами тот день, когда откроются железные ворота «Крестов». Куда же ты кинешься? В Царицын, к Ане? Или в Казань, к друзьям? Но они, может быть, не помнят тебя? Никто не пишет. Только Катя, с которой там, в Казани, не удалось и встретиться, отыскала тебя и стала настоящим другом. Её письма — единственная связь с далёким вольным миром, а она — единственный в том мире человек, кому можно передать хоть какую-то долю пережитого и передуманного.

В прошлом письме ты рассказал ей о пути из Казани в Петербург. Но что могут донести до неё два листа почтовой бумаги? Надо написать целую книгу, чтоб она поняла, какое это было путешествие.

Полтора месяца пришлось идти вместе с друзьями в толпе бродяг и уголовников. Попутно и навстречу тянулись по дорогам средь бесконечных снегов такие же разнородные партии. Шли в своих живописных лохмотьях бродяги, а между ними — серые каторжники, мужики в армяках и нагольных шубёнках и закутавшиеся в башлыки и пледы студенты. Шли пойманные беглецы и сломленные бунтари. Шли агитаторы и проповедники. Шла вся Россия, не ужившаяся со своей империей.

Вечерами партии сходились в этапных бараках, и тут, в тепле, на нарах, затянутых паром от сохнущего у печки тряпья, завязывались знакомства и разговоры.

— Эй, Вятка, дай-ка курнуть.

— На, затянись, затянись, браток. Самосад. Со своей грядки. На, помяни моих домашних. Хворые остались. Поди уж померли.

— За что тебя гонят?

— Ляд их знает, за что. Обчество засудило. Выселили.

— Проворовался?

— Нет, етим не занимаюсь. Последнее дело.

— «Последнее дело»! По-твоему, вор не человек? А я вот всю жизнь ворую. И горжусь. Вор — свободная птица. А ты наплодил ребятни и трясёшься, боишься рисковать.

— Рука, браток, не поднимается.

В разговор включались сторонние:

— За недоимки, землячок, выслали? Сколько лет не вносил?

— Два года.

— Ну не горюй, хуже не будет.

— Ребятишек жалко. Нельзя было взять с собой. Помирать

остались. Баба тоже на ладан дышит.

— Обчество! Пропади оно пропадом. Тебя выслали, а я вот сам сбежал. У нас в деревне изб пятнадцать заколочено. Разбегаются.

— Черти, прёте все в город. Из-за вас и нам житья нету. Любая работа нарасхват. Неужто земля перестала кормить?

— Эй ты, ерой! Поезжай, садись на мой надел. Поглядим, как он тебя прокормит. Небось подати-то потянут, дак по-другому запоёшь.

— Что, мужички, крах подходит? Так вам и надо. Бродяжек не надо было обижать. А то как покажешься в деревне, так сразу к сотскому бежите.

Разговор, завязавшись где-нибудь в углу, между двумя арестантами, втягивал потом и других, расширялся, захватывал всё кочевое население барака и переходил в жестокий спор, а иногда и в драку.

На первой ночёвке, недалеко от Казани, удалось встретиться с апостолом вайсовской секты татарином Забуддиновым. Его, закованного в цепи, ссылали по приговору сельского общества в Сибирь. На этап привёз его сам исправник.

Забуддинов, маленький, в лохматой собачьей шапке, в крытом чёрным сукном полушубке, прошёлся, звеня ножными кандалами, по этапной избе и по-хозяйски выбрал себе место. Развернул и постелил на нары войлочный лоскут, сел на него. Обвёл арестантов взглядом.

— Это за что же тебя, бедолага, в цепи-то? — спросил, подвинувшись к нему, старый бродяга.

Апостол глянул на него и отвернулся. Он был царственно горд, и арестанты не отрывали от него глаз, ожидая чего-то необычного. Забуддинов уселся поудобнее, подобрал ноги, сложив между ними в кучку цепные кольца. И ещё раз осмотрел арестантов.

— Крестьяне тут есть? — спросил он.

— Есть, — откликнулись мужики.

— Подвигайтесь сюда.

Его окружили.

— Подати вносите? — сказал он.

— Да уж какие теперича подати! Гонят вот на чужбину.

— Выслали?

— Кого выселили, а кто сам сбежал.

— Бежать не надо. Держись до последнего. Скоро этому царству конец.

— Откудова такое известно?

— Так говорит пророк.

— Это кой же? Их много было.

— На земле остался один пророк. Вайсов.

— А сам-от кто будешь?

— Крестьянин. Тоже, как вы, пахал землю.

— Бросил?

— Оставил соху в борозде. Пророк призвал меня на помощь — толковать людям его слово. Скоро всё переменится. Кто видел казанские развалины Булгар?

Мужики не знали, что это за развалины, и молчали. Пришлось вступить в разговор казанским политикам.

— Я видел, — сказал Маслов.

Забуддинов посмотрел на пего, понял, что перед ним не крестьянин, но не отвернулся.

— Видел? — сказал он. — Так вот, всё начнётся с этих развалин. Оттуда пойдёт по земле порядок. А установит его пророк Вайсов. Законный наследник Булгарского царства.

— Но он, кажется, в сумасшедшем доме? — сказал кто-то из политиков.

— Это его последняя мука. Выйдет пророк на свободу и поднимет царство Булгар. И построит у развалин большой город. И будут люди поклоняться тому городу веки вечные.

— Ну, а мужикам-то что будет?

— Вы все вернётесь домой. Землю пророк разделит по закону шариата. Кому сколько положено. Подати — десять копеек с души. Как при Иване Грозном, когда он взял Казань. Только Иван брал и свою казну, а тут всё пойдёт на бедных. Вот, послушайте, — Забуддинов расстегнул полушубок, нащупал между мехом и суконным верхом маленькую прореху, разодрал её и достал свёрточек, перетянутый крест-накрест верёвочкой. Развязал. В свёртке оказались письма в конвертах, вырезки на газет и вырванные из книг листы. Забуддинов долго перебирал свои бумаги. Наконец нашёл сложенный вчетверо исписанный лист, развернул его. — Вот слушайте, — И он начал читать, медленно и торжественно, какое-то послание, предсказывающее фантастическое будущее.

Мужики и бродяги замерли, слушая апостола. Они, наверно, верили ему: люди, всё потерявшие, легко могут и верить во всё.

Фантазия действует на арестантов сильное, чем рассказы, вынесенные из жизни. На одной из ночёвок, где-то за Нижним Новгородом, объявился удивительный рассказчик, бывший каторжник, снова попавший по уголовному делу. Он несколько раз бежал с Сахалина, исходил уссурийскую тайгу, Приамурье и Сибирь, плавал матросом в Тихом океане, бывал в Сингапуре и Нагасаки. Чем-то напоминал он короленковского соколинца,

однако говорил не только о своих скитаниях, но и о жизни тех стран, с которыми познакомился. А бродяги и мужики не слушали его. Вокруг него теснились одни политические. Он сидел посреди нар в расстёгнутой красной рубахе, потягивал из медной кружки чай, то и дело утирал платком потевшее лицо и говорил неторопливо, обстоятельно.

И возникали во всех своих красках цветные восточные города. Бурлили пёстрые толпы в тесных кварталах Сингапура, суетились, как на международной ярмарке, собравшиеся со всего света люди, которых едва вмещал этот перевалочный город, переправлявший грузы многих держав. По красным глиняным улицам, каменно утрамбованным и свежеполитым, мчались крохотные омнибусы с опущенными жалюзи, и невидимых пассажиров, обдуваемых ветерком, не касался ни малейший солнечный луч. Местные состоятельные азиаты, спасаясь от жары, молились в прохладных индусских храмах среди идолов и статуй многоликого Будды. Европейцы и американцы пребывали в фешенебельном отеле, ели ради экзотики острое и по-восточному изысканное керри, пили бренди с лимонадом и заключали сделки или сидели в загородном ботаническом саду под тенью кокосовых пальм, продолжая всё те же деловые разговоры. А на портовом берегу кипела коричневая человеческая масса: угорело носились с ящиками и мешками на горбах китайцы, малайцы, индийцы и негры — мокрые, лоснящиеся, голые по пояс, в парусиновых наголовниках, прикрывающих плечи и верхнюю часть спины. Пока эта мокрая голь освобождала и снова наполняла утробы судов, они, огромные суда, из-за которых всё тут громыхало, шумело, кружилось, сами стояли у причалов в надменном бездействии, а потом, сменив груз и оставив на берегу кишащую толпу своих рабов, гордо разворачивались и уходили в океан и только там, вдали, в безлюдной водной пустыне, становились маленькими и бессильными — до следующего порта, где их набитые товаром трюмы опять заставят кипеть человеческую массу.

Политические подливали в медную кружку горячего чая, соколинец принимал это как должное, не благодарил, но старался не остаться в долгу:

— Ну что, ещё хотите послушать?

— Да, расскажите что-нибудь о другом городе.

— Что ж, можно и о другом. Вот, скажем, Нагасаки. Подходили к нему мы на восходе. Глянул я с палубы — мать честная! Просто сказка. Зелёная гора, а на вершине — солнце, а к солнцу карабкаются игрушечные домики. Как по ступеням. На самых высоких местах стоят башенки. Лёгкие, вроде бы даже

крылатые. Это храмы, пагоды. Улицы сбегают к морю, и по ним катятся малюсенькие коляски. Потом-то я узнал, что это рикши. Судно моего хозяина-маньчжура долго оставалось в порту. Я облазил весь город. Начал с набережной. Берег весь в граните. За гранитом — деревья, зелень, шикарные дома. Посольства, разные агентства, банки. А дальше…

Он, немой среди чуждого говора, бродил по городским торговым рядам, блуждал по извилистым коридорам крытых стеклом базаров, глазел, ошеломлённый роскошью, на заваленные товаром скамьи, тянущиеся по обеим сторонам галерей. Потом выходил из торгового круга на улицу, шёл обедать в гостиницу, садился в комнате на циновку, и к нему являлись гейши, безмолвные девицы с плавными движениями рыб. Гейши тоже садились на циновки и угощали его курятиной с какими-то травами, жареным угрём и ещё чем-то травянисто-мясным. После чая они бряцали струнами и пели. Он рассчитывался и шёл в театр, сидел там до вечера и, не дождавшись конца длиннейшей пьесы, возвращался в гостиницу, где опять окружали его бесшумные, как рыбы в аквариуме, девицы. Город опустошил его, вытряс все деньги, и он, вежливо выкинутый, бежал к крестьянам, которые приютили его и кормили до отхода судна.

— Расскажите, как там принял народ конституцию, — попросил Федосеев.

— Крестьяне о ней не говорили. Город, правда, шумел. А что я мог понять? Язык-то мой оказался негодным. Даже в ихней еде не мог найти никакого вкусу. О конституции я не расспрашивал. Не интересовался. Я за жизнью слежу, а не за политикой. Жизнь, братцы, любопытна. Удивительнее люди встречаются. И такие бывают случаи — не придумать. Вот, если угодно, расскажу вам, как я столкнулся с одним человеком в Сибири. Добрался я уж почти до Нижнеудинска. Сижу в распадочке в кустах, смотрю на дорогу. Едет казак на сером коне. Гляжу — сворачивает. Я так и обмер. Хоть он и не полицейский, а всё-таки военный. Можно было скрыться, но я почему-то не побежал. Сижу, жду. Подъезжает он ближе, увидел меня, натянул повод. — Ключ тут есть? — спрашивает. — Есть, — отвечаю. Спрыгивает с коня, идёт ко мне. Форма казачья, офицерская. Кажись, сотник. Подходит, просит кружку. Даю. Зачерпнул воды, напился. — Хороша, говорит, водичка, аж зубы ломит. — Далеко, спрашиваю, направились? — В Петербург, говорит. Ну, думаю, за дурачка меня принимает. Прикидываюсь, будто верю. — В Петербург? А откуда? — Из Благовещенска. — Да, трудненько будет добраться. — Ничего, доберёмся, говорит. Отдаёт мне кружку,

идёт к коню и вскакивает в седло… Я просидел в кустах до темноты, потом подался в Нижнеудинск. Там добыл денег, достал паспорт, приоделся. Дальше уж не пешком продвигался, а нанимал ямщиков. Мчали меня вихрем. Потом вышли деньги, и я застрял в Перми. Живу, кое-как перебиваюсь, жду подходящего случая, чтоб добыть денег да махнуть дальше. И вдруг пошла молва: едет из Благовещенска в Петербург офицер Пешков. Он ещё только за Урал перевалил, а слава уж по всей России пробежала. Везде о нём говорят, готовятся встречать, в газетах пишут. Я не дождался его в Перми. Достал денег и доехал до Валдая. Опять надолго застрял.

И тут увидел знакомого сотника. Но к нему было не подступиться. Окружила его толпа, женщины протискиваются к нему с цветами. Городской голова дарит валдайские бубенчики. Вот как он прославился!

Да, Пешков прославился. И не одни он. Фритьоф Нансен, пересёкший на лыжах Гренландию, всколыхнул весь мир. Взбудоражил он и Россию, многим вскружив головы. Появились люди, которым захотелось тоже как-то прогреметь. И пошло. Сотник Пешков едет восемь тысяч вёрст на коне, Иван Балабуха идёт тридцать восемь тысяч вёрст пешком, барон Келлескраус катит из Ковно в Сибирь на велосипеде, штурман Гилевич плывёт на байдарке из Петербурга в Астрахань, казанский мещанин Сейфулин кладёт на обе лопатки прославленного силача Фосса. Империя рукоплещет своим мужественным сынам, раздувает этот безвредный героизм, стараясь отвлечь молодёжь от опасных мыслей, а тех, кого отвлечь от таких мыслей невозможно, она гонит на каторгу и в ссылку. Рассказчик этого не говорил, до обобщений не поднимался, давал отдельные факты, рисовал, а выводы уступал тем, кто его слушал.

В этапе хватало и рассказчиков, и проповедников, и философов. Казанские политические на ночлегах только слушали да присматривались. Зато в пути, шагая в партии своей группкой, они говорили и спорили до хрипоты, не ощущая холода и не замечая, как проходят версту за верстой.

Много дала эта полуторамесячная дорога. Хочется поделиться впечатлениями с Катей, но что можно рассказать в подцензурных письмах? Надо просить её, чтоб побольше писала сама.

В камере стало светлее. Николай сел к столу, надел очки и, сбросив с правого плеча шинель, взял лист бумаги. И сильно вздрогнул, застигнутый пронзительным звонком. С досадой откинул лист.

Вспыхнула лампочка под сводчатым потолком. Он открыл

«Эволюцию собственности» и повернулся к свету. За стеной глухо, как в могиле, закашлял сосед, в коридоре загремели дверями надзиратели, по балкону прошёл, тяжело ступая, выпущенный в уборную арестант с парашей, где-то в другом отделении раздался свисток старшего дежурного. Тюрьма проснулась, и по звукам можно читать её жизнь, как не раз приходилось это делать раньше, когда нечем было заняться. Теперь время дорого. Надо от всего отвлечься, сосредоточиться и работать, используя каждую свободную минуту. Итак, эволюция собственности. Что ты можешь ещё выдвинуть в подтверждение этой теории, профессор Летурно? Ага, доказательства уже иссякают, и ты начинаешь просто призывать человечество к прогрессу и усовершенствованию социальных отношений. Ну, призывами в этом упрямом мире ничего не изменишь. Движение народных масс — вот единственная сила, способная изменить существующие порядки.

Открылась соседняя дверь, кашляющий арестант, видимо, не приготовился к выходу, и надзиратель, подождав его несколько секунд, прикрикнул:

— Ну-ну, шевелись, рохля!

Арестант что-то сказал еле слышно.

— Поговори ещё у меня! — громче закричал надзиратель. — Пшёл быстрее!

Николай вскочил с табуретки, зашагал по камере. Нет, от этого не отвлечься. Надо проучить наглеца. Новичок, недавно заступил. Из армии. Молодые надзиратели покладистее и мягче пожилых, а этот с первых дней начинает показывать себя.

Надзиратель привёл кашляющего арестанта, запер его и открыл дверь Николая. Николай стоял посреди камеры, заложив руки за спину. Нарочно но брал параши, не выходил, ожидая нападения.

— В уборную, — но приказал, а скорое напомнил надзиратель, озадаченный вызывающим взглядом арестанта.

Николай не двигался.

— Господин, поторопитесь, — сказал надзиратель.

Николай всё смотрел ему в лицо,

— Господин, прошу не задерживать.

— Что же вы со мной так вежливо? С соседом не так говорили. Кто вам позволил оскорблять заключённого? Да ещё больного.

— Я не оскорблял.

— Вы кричали, как на скотину. Что это за обращение? Кто разрешил? Позовите сюда начальство.

— Успокойтесь, господин.

— Позовите начальника.

— Ладно, больше так не буду. Извините.

— Извинитесь перед тем, кого оскорбили.

Надзиратель стоял, потупив голову.

— Я жду. Просите у него прощения. Иначе будете объясняться перед прокурором.

Солдат замигал. Постоял ещё с полминуты, потом открыл соседнюю камеру, вошёл в неё, что-то тихо сказал больному. Николай взял парашу и понёс её в конец коридорного балкона — в уборную. Надзиратель даже не пошёл за ним, а подождал на балконе, привалившись спиной к железным перилам.

— Кирпичик захватить не забыли? — сказал он, когда Николай проходил мимо него обратно.

— А как же? Раз вы с нами по-хорошему, значит, и мы должны соблюдать порядок. — Николай показал ему кусочек кирпича.

— Добре, — сказал надзиратель. — Послезавтра светлое воскресенье. Приготовьтесь, почистите хорошенько посуду.

Дверь захлопнулась. Федосеев поставил парашу в угол, прошёлся по камере, улыбаясь. Вот так, солдатик. Учись уважать заключённых. А посуду мы, конечно, почистим. Тут сопротивляться не стоит — всё равно заставят, да и самому веселее, когда в камере чисто. Надо поскорее управиться и заняться своим делом.

Он старательно начистил осколком кирпича тарелку, миску, кружку, солонку и жбан, и вся эта медная утварь, снова составленная на полку, засияла в электрическом свете. Тогда он взял тряпку и принялся тереть пол. Асфальт протирался ежедневно, так что большого труда сейчас не требовал, и Николай скоро довёл его до антрацитного блеска. Всё. Порядок навёл. Оставалось ему только умыться и принять скудный арестантский завтрак. Он положил тряпку в угол, снял с полки жбан с остатком воды и протянул руку к тазу, висевшему на стене. Чёрт возьми, ещё не совсем управился! Надо было почистить и таз. Ну ладно, это уж вечером.

Он ещё не успел умыться, когда к его двери подошли надзиратели, разносившие хлеб и кипяток. Они открыли окошечко, увидели, что он преспокойно чистит зубы, но не поторопили его, молча ожидая за окошком, и ему вдруг стало неловко: ведь ждали не только надзиратели, но и арестанты, сидевшие в следующих камерах. Он заспешил, быстро утёрся и подошёл с кружкой к двери.

Кипяток сегодня был горячий, Николай бросил в кружку щепоть чаю и, ожидая, пока он заварится, стал дочитывать

Летурно. Заключение, призывающее человечество к усовершенствованию всех общественных институтов, казалось ему наивным, но он не отступился от книги, не пропустил ни одной строка и добросовестно дошёл до последней точки. Потом съел кусочек хлеба, запил его остывшим чаем. Что ж, Летурно закончен. Остался в запасе только Ключевский. Как всё-таки трудно без нужных книг! Изучение общины требует много исторических сведений, а их тут никак не добудешь. Ну история, положим, никуда не денется. А современность? Её ты упустишь. Она невидимо идёт мимо, и тебе, чтобы познакомиться с ней, уже прошедшей, придётся потом сидеть над поблекшими журналами и газетами, но ты найдёшь в них только её скелет, а не живой облик,

Погасла лампочка, в камере стало темно, но через минуту посветлело. Николай посмотрел вверх, на решётку, и вспомнил, что ведь вскрылась Нева. Он поднялся к окошку. Река, мутная, гладкая, выпуклая на середине, двигалась медленно и мощно, а по заречной набережной торопливо шагали в обе стороны люди, завидно свободные.

— Господин, в окно смотреть не разрешается. — послышалось сзади.

Николай обернулся и в проёме дверной форточки увидел лицо надзирателя-новичка.

— Приказано следить. Тут я не виноват. Вы уж не нарушайте, а то мне влетит.

— Хорошо, я не буду смотреть в окошко. — Николай спрыгнул с табуретки.

— Знаете что? — сказал надзиратель. — Вы смотрите, только прислушивайтесь. Как пойдёт кто но балкону — соскакивайте. А я не буду мешать.

— Спасибо.

Форточка захлопнулась. Николай не полез сразу к окну, ходил по камере и улыбался: как легко обломал он солдатика! Получил разрешение смотреть на вольную жизнь. Да, там, за Невой, люди двигаются свободно. По крайней мере так кажется, когда глядишь на них через решётку. А на самом деле они далеко не вольны в своём движении. Каждого из них гонит необходимость, и гонит в определённом направлении. Они бегут служить империи. Какой-нибудь чиновник десятого класса, коллежский секретарь, бегущий сейчас по набережной, может действовать, конечно, свободнее арестанта, но не пользуется этой возможностью. Иметь свободу и быть свободным — не одно и то же. Перед чиновником не висят вот такие жёсткие правила, определяющие каждый шаг, но он не рискнёт ни на один вольный жест в своём департаменте. А на тебя, арестанта, ежеминутно давит этот лист бумаги, и ты всё-таки протестуешь, добиваешься уступок и часто действуешь так, как тебе хочется. Ты хотел связаться здесь с казанскими друзьями — и достиг этого, хотел продолжить свою работу — и тебе наконец разрешили. Теперь надо достать нужные книги. Добивайся. Пиши упрямому Сабо, пиши в главное тюремное управление, в департамент полиции, в министерство внутренних дел. Бей — и пробьёшь. Дадут и книги. Разыщи в Нижнем марксиста Скворцова — пусть он, если остаётся твоим другом, пришлёт «Юридический вестник» с его, скворцовской, статьёй о современной деревне. Надо написать Кате Савиной, чтоб она связалась с Нижним. Садись, займись сегодня корреспонденцией, а в субботу примешься за дело.

В субботу, свободный от всех забот, он целый день читал Ключевского, делал короткие выписки, заносил в тетрадь свои заметки. Вечером, просмотрев все «крестовские» записи, он решил определить границы своего исследования и набросать план. Начал писать, но сразу понял, что выдаёт себя: Сабо, пожаловав эту прошнурованную тетрадь, будет, конечно, проверять её, а почтовую бумагу дают только для писем: сколько листов получил, столько и отправь.

Он зачеркнул, заштриховал написанное и захлопнул тетрадь. До звонка сновал по камере, потом, когда выключили свет, лежал

на жёсткой кровати, ворочался, шурша соломенной трухой, на тонком тюфяке и всё думал в темноте о своей работе, и она почти зримо разворачивалась перед ним, огромная, охватывающая двадцать веков русской истории. Община, за изучение которой он взялся, чтобы приготовиться к серьёзному спору с народниками, давно увела его за пределы первоначальной темы и влекла всё дальше и дальше. Куда она заведёт его? И справится ли он с таким колоссальным трудом? Русская община. Она, дитя первобытных племён, дошла до крепостного хозяйства, вступила с ним в сожительство, пережила его и попала в лапы молодого плотоядного капитала, призванного прикончить её. Длинен и сложен путь её, и, чтобы проследить его, надо исследовать все социальные дебри, через которые она прошла.

Он не пытался уснуть: работать можно было и в темноте. А чем лучше при свете-то? Читать почти уж нечего, писать, что хочешь и как хочешь, нельзя. Думай, отшлифовывай каждую мысль, чтобы утром пришпилить её к тетрадному листу двумя-тремя словами.

Поздней ночью внизу, под балконом, возникли какие-то звуки. Николай прислушался. Там, в глубине коридора, ходили, переговариваясь, люди. Может быть, обыск? Кто-то поднимается по лестнице. Надзиратель, конечно. Сегодня в этом отделении дежурит длинноусый. Почему его не слышно было на балконе? Спал? Или просто не хотел зловредничать ради праздника? Великая суббота — неохота ему грешить.

Не будить ли идёт? Да, гремит в чью-то дверь.

— Па-аднимайсь! Собирайся в церковь.

В церковь? К заутрене или ко всенощной? Непонятно. Звонка не дают. Отказало электричество? Нет, вспыхнула лампочка.

Надзиратель, стуча в двери, удалялся в конец балкона, но Николай не поднимался, надеялся как-нибудь отговориться от церкви и остаться в камере со своими мыслями. Служака шёл уже обратно и стучал всем вторично. Подойдя к двери Николая, он открыл окошечко.

— Что, не слышите? В церковь, сказано. Собирайтесь.

— И не думаю.

Надзиратель открыл дверь, вошёл в камеру:

— Вы что, Христа не признаёте?

— Христос загонять в церковь не учил. Что говорится в святом благовествованпп от Матфея? — Николай приподнялся, опустил на пол нош, прикрывшись одеялишком. — Молчите? Как учил Иисус молиться? Не знаете? Так вот, слушайте: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне, и отец твой, видящий

тайное, воздаст тебе явно». Поняли?

— Из евангеля, что ли?

— Да, это из евангелия.

— Евангель-то знаете, а бога не признаёте. Пошли на преступление.

— На какое?

— Вам лучше знать. Зря не засадят. Натворили, а теперь вот поди каетесь?

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

— Опять евангель? — Усач подвинул к себе табуретку и сел подле кровати, чего никогда не допускал не только он, но и никто из менее строгих надзирателей. — Правду всё ищете? И бог. видишь, тоже за правду. Только я никак тут не пойму. Хочет правды, а наказывает за всё. Вот заперли вас — и никакой малости. По правде-то я должен жалеть вас. А долго я так продержусь? Выгонят. У меня десять ртов, каждый есть просит. Вас пожалей — семью обидишь. Одних погладишь — других ушибёшь. Никак по увязывается. Всем не угодишь, хоть бы ближних обогреть. Семья большая — вот и стараешься, кричишь на вас, чтоб дольше держаться, чтоб жалованья прибавили. Тяжёлая жизнь. Думаете, мы звери? В душе-то жалеем вас. Посмотришь другой раз на какого-нибудь несчастненького — ком к горлу подкатит, слеза навернётся. Ну, тогда нарочно разозлишься и давай рявкать. Орёшь на него, а самому больно. И сладко как-то. Ей-богу, сладко. Это от греха. Грешить приходится.

— И бога не боитесь?

— Бога? А что, как нет его, бога-то? Больно уж всё запутано. Он не позволил бы. Как по-вашему?

Я давно хотел спросить. Вы тогда, на прогулке, сцепились со мной — думаете, я зло затаил? Нет, похвалил в душе. Вот это, мол, человек! Ни себя, ни других не даст в обиду. Даже за Прошку заступился.

На балконе послышались шаги; надзиратель вскочил, выглянул из камеры и повернулся к Николаю:

— Старшой идёт. Поговорим в другой раз. Вы уж сходите в церковь-то.

— Нет, не пойду.

— Своих там увидите. Весь корпус пойдёт.

Шаги приближались.

— Чего сидите, собирайтесь! — закричал усач, подмигивая. — Живо! Не разговаривать! — Он ещё раз подмигнул и вышел из камеры, лязгнув дверью.

Николай отбросил одеяло и стал одеваться. Если в церковь

идёт весь корпус, не стоит отказываться: может быть, удастся не только увидеться, но и перебросится словами с казанцами. Поговорить бы с Сашиным! Не пришлось пожить в соседстве. Сами виноваты: не обнялись бы тогда на балконе, до сих пор сидели бы поблизости. Надо было выдержать, разойтись спокойно, а то понадеялись, что никто не заметит, и бросились друг к другу, но снизу видны ведь все ярусы — усач, конечно, подсёк и доложил начальству, и Алексея в тот же день, не дав побыть на новом месте и суток, увели в другое отделение. Старик услужил. Дошлый, распознает все связи. Что это сегодня он так разговорился? Совесть прорвалась?

Надзиратель открыл одну за другой двери. Николай вышел из камеры. По всем балконам четырёх ярусов, тускло освещённых редкими лампочками, гуськом двигались арестанты, а внизу, на перекрёстке коридоров, стояли, окружив площадку, надзиратели. Арестанты, идущие впереди, уже спустились с. лестниц и выходили на площадку, на яркий свет, и Николай, шагая по балкону, смотрел через железные перила вниз, чтобы увидеть кого-нибудь из знакомых. Но арестанты двигались со всех сторон, сталкивались на площадке и проходили по ней уже толпой, в которой невозможно было разглядеть отдельного человека.

В церковь вместе с заключёнными вошли и надзиратели. Они расставили всех, как фигуры на шахматной доске: каждый должен был стоять на чёрной квадратной плите, не занимая белую. Николай, чуть выдвинувшись вперёд, окинул взглядом свой ряд, никого из знакомых не нашёл и, чтобы не обращать на себя внимания надзирателей, стал на середину чёрного квадрата и больше не озирался. Ему видна была через головы верхняя часть иконостаса, освещённая снизу множеством свечей и сияющая золотом. Раз как-то в Нолинске, когда он, восьмилетний дворянин, любимец всей семьи, чистенький, радостный, стоял с матерью в церкви у самого амвона и смотрел, как играет свет на золотом иконостасе, ему вдруг стало так грустно, что он приткнулся к матери и заплакал. Потом, уже в Казани, вдали от родных, он долго думал об этом внезапном приступе грусти и объяснял его предчувствием скрытых от него людских бед. В Нолинске ему было уж слишком хорошо, и вот, глядя на золотое зарево свечей и слушая льющееся с клироса божественное пение, он почуял, что счастье его скоро оборвётся, что жизнь не может быть такой празднично-светлой, что в ней есть что-то страшное, и оно не сегодня-завтра откроется. Да, страшное вскоре открылось. Открылось в Казани, где он, девятилетний счастливый мальчик в новенькой гимназической форме, впервые увидел нелепую русскую действительность. Сразу, как только уехала, оставив его

в роскошной комнате, заботливая мать, он побежал на Волгу, попал на пристань и засмотрелся, как взмокшие злые люди загружали огромные баржи, таская на плечах мешки и ящики и закатывая по гнущимся трапам тяжёлые бочки. Один рыжий здоровяк, кативший из склада бочку, задев ею зазевавшегося *мужичка* в сермяге, обернулся и сшиб его кулаком. Тот поднялся, пощупал окровавленный нос и заплакал, и у гимназиста сжалось сердце, и он заступился. — Дяденька, за что вы его? — крикнул он. Грузчик пнул ногой защитника. — Проваливай отсюда, барчук! — И тут выскочил из склада какой-то купец в синей поддёвке. Он хлестнул грузчика плетью, обозвал его скотиной, посадил гимназиста в бричку и привёз в город. Казань. Босяцко-студенческая Казань. Она сразу развеяла детские представления о жизни, а потом вызвала мысли, которые в конце концов привели сюда, в «Кресты», на эту чёрную квадратную плиту.

Пел мужской хор, и пасхальная служба в этой тюремной церкви навевала тоску, но когда мощные басы грянули «и сущим во гробех живот даровал» (хор знал, кому пел), Николай почувствовал, как подхлынула к сердцу горячая волна.

Надзиратели, видимо, собрались где-то в кучу и уже не следили за порядком. Арестанты заметили это, зашевелились, стали озираться, оглядываться, перешёптываться. Николай ещё раз осмотрел свой ряд, поглядел вперёд по диагоналям, никого из своих не отыскал и, повернув голову, начал всматриваться в заднюю шеренгу. Седой старик, стоявший за спиной, дёрнул его за локоть и показал головой в ту сторону, куда уходил диагональный ряд. Николай глянул туда и увидел Костю Ягодкина, который махал ему рукой, подзывая.

— Идите, — сказал старик, — идите, пока не видят *архангелы.*

Николай покинул свою плиту и стал продвигаться наискось меж рядов навстречу арестанту, уступившему ему в обмен своё место. Встретившись с ним, Николай благодарно кивнул ему головой и, пригнувшись, кинулся к другу. Только успел занять освобождённый для него квадрат и пожать руку Косте, появился вблизи надзиратель.

Друзья, стосковавшиеся, не видевшиеся с того дня, как пришли сюда этапом из Казани, стояли рядом и не могли ни перебросится словом, ни взглянуть друг на друга, потому что охранник (наверно, он заметил перемещение) не сводил с них глаз.

Когда арестанты двинулись к выходу, Николай схватил Костю за руку, и они, прижавшись друг к другу, чтобы не разъединиться в тесной толпе, стали вместе продвигаться к двери.

— Костя, дорогой, как себя чувствуешь? — торопливо заговорил Николай. — Не сдаёшь?

— Пока дюжу.

— Что же редко стучишь мне?

— Тяжело пробиваться через четыре камеры. И не хочу лишний раз мешать тебе. Работаешь?

— Работаю, но не хватает книг. Как ты? Читаешь?

— Мало. Больше мечтаю.

— Смотри. Мечты в тюрьме расслабляют. Что-то наших не видно. Но болеют ли? С Алексеем так и не встретился?

— Никак не удаётся. Жалко, что его сразу перевели.

— Да, очень жалко. С Масловым связался?

— Позавчера перекинулись записками. Этот помог. молоденький.

В дверях образовался затор, толпа ещё плотнее стеснилась и совсем замедлила ход. Николай и Костя оказались повёрнутыми и прижатыми лицом к лицу и могли даже при тусклом свете хорошо рассмотреть друг друга.

— А ты всё-таки страшно исхудал за эти три месяца, — сказал Николай. — В этапе свежее выглядел.

— «Кресты» не казанская тюрьма. Ты постарел.

— Да, меняемся. Помнишь встречу у Деренкова? Плетнёв мне представил тебя как буйную головушку. Я удивился. Молоденький, нежное лицо, девичьи глаза. Зачем снял волосы?

— Волосы можно отрастить, не потерять бы другое. Веру.

— Начинаешь думать о покаянии?

— Пока нет.

— Пока? А дальше?

— Буду держаться. Понимаешь, я верю… — Костю сильно стиснули в дверях, и он смолк, а во дворе договорить ему не удалось: арестантов, прежде чем ввести в корпус, ставили по двое в строй, и друзья в одну пару не попали.

Николай, вернувшись от обедни, долго сновал по камере в тревожном раздумье. Что с Костей? Что он хотел сказать? «Понимаешь, я верю…» Дальше должно было следовать какое-то «но». Ослабел? Пал духом? Нет, этого допустить нельзя.

Николай взял со стола карандаш и постучал соседу — попросил его вызвать для разговора Ягодкина.

Ждать пришлось долго. Ягодкин находился всего в четырёх саженях, но пробиваться к нему надо было через пять стен, а для этого должны были включиться в работу все арестанты, сидящие в промежуточных одиночках.

Николай никак не мог успокоиться и всё ходил взад-вперёд, ожидая разговора.

Вошёл длинноусый надзиратель. Он принёс в большой медной тарелке половинку кулича, сайку, кусок отварного мяса и четыре крашеных яйца.

— Вот, разговейтесь-ка, — сказал он.

— Откуда это? — спросил Николай.

— Приношение.

— Только мне? Я не хочу исключения.

— Всем, всем достанется. Политическим разносим, а уголовников вызовут в контору. — Надзиратель поставил тарелку на стол и, как давеча, сел на табуретку. — Так вот, больно уж всё, говорю, запутано. Неужли это с его согласия? Неужли ему нужно такое? Для чего? Может, ответите?

— Но вы разнесли бы сначала приношение.

— Уже разнёс. У меня ведь вас мало, политических-то. Уголовным раздаст помощник начальника. Пока его нет, поговорим. Нынче старшой во хмельке, не пойдёт по камерам. Да и он тоже не зверь. Опять же вот путаница. Перед кем ему отвечать? Перед богом или перед начальством? Господь не велит обижать, а начальство — ну какое же оно начальство, коли жалеть-то вас будет? Оно царю служит. И тут опять тупик. Кому служит царь? Богу? А почему же у них во многом расхождение? А?

Николай стоял у стола, раздумывал, как ему поступить. Поговорить-то с этим служакой и надо бы — может, удастся потом его уломать, чтоб помогал арестантам. Похоже, старик не хитрит, ему действительно хочется поговорить, и отталкивать его не следует, но ведь скоро придёт «телеграмма» от Ягодкина.

— Знаете, ваш вопрос очень трудный, — сказал Николай. — Мне надо подумать.

Надзиратель протянул руку к столу, взял с тарелки коричневое, окрашенное луковой шелухой яйцо и стал вертеть его в пальцах.

— Ладно, — сказал он, — подумайте, поговорим об этом в другой раз. А вот не скажете, почему пасху встречают крашеными яйцами?

Николай тоже взял яйцо, но не коричневое, а красное.

— Это — гроб, — сказал он, постучав ногтем по скорлупе. — В гробу — жизнь. Красный цвет — кровь Христа. Поняли?

— Вот оно что! — удивился старик. — Ничего-то мы не знаем. Темнота. Вам бы учить нашего брата. На всякий вопрос можете ответить. Каких людей держат взаперти! Неужели вы можете бросить бомбу? Ни за что не поверю.

Николай разбил о стол яйцо и начал его очищать.

— Простите, я хочу поесть.

— Ладно, разговляйтесь. — Надзиратель положил яйцо в тарелку и поднялся.

Как только он вышел, постучал сосед, и Николай приник ухом к стене.

— Разговора не будет, — выстукал сосед. — Не отвечает предпоследняя одиночка, заболел обитатель.

Николай отошёл от стены. Он долго стоял посреди камеры, потупившись, а в ушах звучало мощное «И сущим во гробех живот даровал». Потом он заметил у себя на груди яркий блик, вскинул голову и глянул вверх, в окошко. И сощурился, ослеплённый солнцем. Опомнившись от внезапного светового удара. он поставил табуретку к стене и поднялся к окошку. За тюремной оградой блестела золотой рябью Нева. По заречной набережной группами и парами проходили петербуржцы, проносились с цокотом коляски. За линией прибрежных зданий вздымались поодаль сияющие купола, и по ним угадывались огромность и величие Петербурга. Но Николая не тянуло в этот гордый строгий город. Ему щемяще вспомнилась Казань с её горками, оврагами и укромными улочками, с её шумным студенчеством. Ах Казань, Казань! Неужели никогда больше не увидеть её? «Когда-нибудь мы, старенькие, пройдём с тобой по местам пашей молодости и всё вспомним». Это сказала Аня, там, на берегу Кабана, в тот мокрый снежный вечер, за месяц до первой серьёзной тревоги.

13

Да, это была первая серьёзная тревога. Обыскивали его и раньше, на других квартирах, но никаких запретных книг, за которыми охотились, не находили. Не нашли никакой крамолы и теперь, и всё бы, как

прежде, обошлось без осложнений, если бы он заранее попросил Александру Семёновну назваться его тёткой. Что ж, ошибка, как всегда и всякая, требовала расплаты, и ему оставалось только приготовиться к обороне, чтобы отделаться наименьшей ценой.

Он шёл в гимназию, и у него неприятно сосало под ложечкой, и вместе с тем в душе закипало чувство решимости, но это дерзкое чувство вдруг упало, когда он приблизился к белому зданию с колоннами и увидел бодро взбегающих на крыльцо розовых от мороза гимназистов, которым не было никакого дела до того, что ждёт одного из них в этом огромном *казённом доме*.

В парадных сенях раздевались и прихорашивались у зеркал всё те же розовые мальчики, благополучные, праведные, ничем не рискующие и ни за что не отвечающие. Проходя мимо швейцара, Николай посмотрел ему в глаза и понял, что этот страж гимназического благоденствия уже знает о случившемся: на пристальный взгляд он ответил таинственной усмешкой — не спеши, мол, голубчик, сегодня ещё не узнаешь, как решат твою судьбу.

Раздевшись, Николай поднялся на второй этаж, вошёл в пустой класс, сел и стал ждать урока. В коридоре он мог встретиться с гимназистами своего кружка, а от этого надо было пока воздержаться, чтобы не подвести товарищей. Он решил отсидеться. Ему не терпелось увидеть историка Кулагина. Этот вятский учитель не раз приглашал земляка на чаёк, затевал с ним вольные разговоры на улице, восхищался его незаурядным умом, а потом доложил директору, что гимназист Николай Федосеев высказывает неподобные мысли и, вероятно, имеет тайную библиотеку. После этого и зачастил наставник с обыском. Кулагин, конечно, тоже знает сейчас о «тётке», и по его глазам, по тому, как он будет вести себя в классе, можно догадаться, какой оборот принимает вчерашний визит наставника.

Звонок! Гимназисты вваливаются в класс, шумно рассаживаются и постепенно затихают.

Кулагин явился не в духе. Долго не начинал урока. Сидел за кафедрой и хмурился, облокотившись на пюпитр и стиснув ладонями виски.

Что-то случилось. И не в гимназии, даже не в Казани. Наверно, в Петербурге или в Москве. Может быть, опять покушение? Весной, когда раскрыли первомартовцев, вот так же потемнели преподаватели.

Кулагин расстегнул портфель, достал какую-то бумагу.

— Я должен зачитать вам циркуляр министра просвещения, — сказал он. — Документ этот имеет целью наведение порядка в учебных заведениях. Прошу слушать внимательно.

Читал он хорошо, отчётливо выделял длинные канцелярские периоды и, подчёркивая особенно важное, взглядывал на своих питомцев, чтобы заметить, на кого какое впечатление производит этот жесточайший циркуляр, в котором сначала перечислялись строгие запреты, потом шли указания, что должны делать учащиеся. Они должны, говорилось, избегать неблагонадёжных знакомств, следить за подозрительными, доносить на заговорщиков и разоблачать тех, кто вредно влияет на среду.

Прочитав циркуляр, Кулагин положил его в портфель и поморщился, будто ему было неприятно. От себя насчёт новой министерской инструкции он не сказал ни слова. Поднялся, прошёлся, заложив пальцы за отвороты мундира, до двери, вернулся к кафедре, отодвинул от неё стул, сел и вызвал гимназиста Вершинина.

— Итак, — сказал он, — на прошлом уроке мы говорили о новой русской литературе. Назовите, Вершинин, писателей, достойных великого прошлого нашей отечественной словесности. Достойных памяти Пушкина и Тургенева.

— Чернышевский, Салтыков-Щедрин. Успенский, — выпалил Вершинин.

Кулагин вздрогнул, но сразу же взял себя в руки: ему, выдававшему себя за либерала, не следовало так резко меняться в глазах гимназистов, не следовало пугаться.

— Это что же, мнение, внушённое преподавателями? — сказал он спокойно.

— Нет, это моё личное мнение.

— А зачем же его высказывать в классе? Оно ведь неверно. Чернышевский не дал ни одного истинно художественного произведения. И теперь ничего не пишет, просто доживает в Астрахани свою несчастную жизнь. Всех, кого вы назвали, Вершинин, история забудет, как только улягутся политические страсти.

— История, может быть, забудет, а народ — никогда. Это его защитники. Они принимают на себя удары самодержавия, чтобы…

— Замолчите! — не выдержав, крикнул Кулагин и вскочил со стула. — Кто вам вдолбил в голову такую ересь? — Он метнул взгляд на Николая и снова повернулся к Вершинину. — Не своим голосом поёте, сударь. Подите на место и подумайте, стоит ли слушать смутьянов.

Долговязый Вершинин смотрел на него сверху вниз, жёлчно усмехался.

— Сядьте, говорю, на место! — закричал Кулагин.

Вершинин пожал плечами и пошёл в глубину класса, сопровождаемый удивлёнными взглядами гимназистов.

Всю перемену класс возбуждённо шептался, сбившись в кучу в конце коридора. Вершинин героем расшагивал поодаль один, явно любуясь собою. Николай стоял у окна. К нему подошёл Гавриил Волков.

— Вчера у меня был обыск, — сказал Николай!

— Да что ты! Одно к одному. Тут ещё Вершинин выскочил!

— Тише. Ничего у меня не нашли, но я погорел с «тёткой». А циркуляр этот не напрасно зачитывают. Пожалуй, где-то взбунтовались студенты.

Вечером они зашли к Мотовилову и, поделившись с ним своим предположением, спросили, не слышал ли он о каком-нибудь студенческом выступлении. Нет, он ничего не слышал, ветеринары ничего не знают, но надо повидаться с университетскими ребятами, может быть, до них дошёл какой-нибудь слух.

Пошли втроём на Старо-Горшечную. Пересекая Рыбнорядскую, они увидели двух полицейских, которые, постукивая ногой по ноге и похлопывая рукавицами, топтались на углах улиц.

— Видели? — сказал Мотовилов. — Усиленный пост. Неплохое, друзья, у вас чутьё. А холода какие стоят, а? Шагаем быстрее.

Они побывали в студенческих квартирах и окончательно убедились, что где-то что-то случилось. Университетские были возбуждены. Днём они заметили явное беспокойство начальства. Педели[1] непрерывно шныряли по коридорам, заглядывали в курильную, а инспекция, видимо, спешно готовила списки к исключению, потому что в кабинет инспектора Потапова то и дело ныряли, опасливо оглядываясь, доносчики.

— Ну вот, обстановка обрисовывается, — сказал Мотовилов гимназистам, когда они шли по Старо-Горшечной обратно. — Теперь попытаемся установить, чем вызвана эта тревога. Полагаю, шумнули петербургские ребята. А с Петербургом у нас отличная связь.

— У кого? — спросил Николай и оглянулся, не идёт ли кто сзади, — нет, улица в этом месте была пуста. — У кого? У вашего кружка?

— По-моему, и у вашего, — скачал Мотопилой. — Не будем делиться. Половина наших с вами связана. Ты хитрый парень, тёзка. Прямодушный, искренний, но при всём этом хитрый. Нет, прости, к тебе это не подходит, не хитрый, а сообразительный, прицелистый.

— Ну, Николай Александрович, вы навешали на меня столько эпитетов, что мне и не разобраться, какой я. В чём же я хитрый?

— В кружок допускаешь немногих, а так привлёк столько студентов, что хватит на целую организацию.

— Но вы сами убедились, что наш кружок не признает воли одного человека.

— Да, в этом я убедился.

— Николай Александрович, — сказал Волков, — как же установить, чем вызвана тревога?

— Установим. В Казани много петербуржцев. Бывшие студенты, курсистки. Некоторые состояли в «Товариществе санкт-петербургских мастеровых», Слышали о таком?

— Да, знаем, — сказал Николай. — Точисский организовал.

— Вот-вот. Нам повезло: сюда попали изгнанники столицы. Они не потеряли связи с Петербургом. Завтра оттуда вернётся член нашего кружка. Вот у него всё и разузнаем. Это друг казнённого первомартовца Андреюшкина. Да, тёзка, я познакомился с братом Александра Ульянова.

— В университете?

— Нет, он оказался в нашем кружке.

— Вот как! И что же, наш?

— Конечно, наш. Правда, в споры ещё не вступает, приглядывается, прислушивается, но по тому, как слушает, можно уже видеть, что с народниками не пойдёт.

— А с народовольцами? Всё-таки трудно сдержаться, чтоб не отомстить за брата бомбой.

— Он сдержится, крепкий.

— Прекращайте, — сказал Волков. — Полицейский. Вон снизу идёт.

— Нет, это штатский.

— Полицейский. Видите, как шагает. Важно, по-хозяйски.

Человек, шедший в гору по мглистой улице, вскоре попал в свет фонаря, и все отчётливо увидели его круглую, с плоским верхом шапку, полицейскую шинель, перехваченную ремнём, с которого свисала, болтаясь, шашка.

— Я осрамился, — сказал Мотовилов. — Юноши, где вы

приобрели такое чутьё?

— Что, братцы, завернём в кабачок? — сказал Николай.

Проходя мимо полицейского, они прикинулись подвыпившими. Тот приостановился, посмотрел, привлечённый пледом и шляпой, на Мотовилова, и «подвыпившие» окончательно заключили, что следят именно за студентами.

— Плед вас выдаёт, Николай Александрович, — сказал Федосеев. — Сразу видно — студент старшего курса, а такие на особом счету.

На самом выходе со Старо-Горшечной на Рыбнорядскую все стояли на углах улиц те двое, что топтались там и давеча.

Удобное место заняли, — сказал Мотовилов. — Заперли улицу. Охраняют наш Латинский квартал.

— Да, достукались студенты, — сказал Николай.

Они поравнялись с трактиром.

— Ну что, может, в самом деле зайдём? — сказал Мотовилов и остановился, придержав друзей.

— Я ничего не пью, — сказал Волков.

— Но начинать-то когда-нибудь надо. Не избежать. Рахметов, господа, устарел. Идёт новая порода рево…

Рявкнул, открывшись, трактир, из дверей вывалилась ватага пьяных, Мотовилов глянул на них и опять повернулся к друзьям. — Идёт новая порода деятелей. Homo sum, humani nihil a me alienum puto[2]. Это признавал и наш учитель из Трира.

— А тот, из Назарета?

— Тот тоже не был ханжой. Помните его ответ фарисеям? «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст…» Разумеете? Так как же после этого, Гавриил?

— Идём, Гаврюша, — сказал Николай. — Надо знать и трактиры. Когда-нибудь придётся и их использовать. Моисеенко, говорят, совещался со своими забастовщиками в трактире.

— Ладно, уговорили, — сказал Волков. — Только мы ведь в форме.

— А, тут никто не обратит внимания, — сказал Мотовилов.

Они открыли дверь и вошли в дым, гам и гул. Трактиришко примыкал к ночлежке, знаменитой Марусовке, населённой босяками, проститутками, спившимися интеллигентами и студентами императорского университета, и каждому из этой братии стоило только перейти двор, чтобы попасть в притон, в котором всегда можно напиться, если даже нет ни гроша. Питейный дом содержала весёлая смазливая бабёнка.

— Чем угостите, красавица? — сказал Мотовилов, подойдя к стойке.

— Вам чего-нибудь поделикатнее? Вижу, не из наших.

Гимназистов причащаете? Французского кагорчику? Есть у меня на такой случай и кагорчик, и апельсинчики.

— Нет уж, дайте чего-нибудь нашего, отечественного, — сказал Мотовилов. — По шкалику смирновской и селёдку с луком.

Хозяйка нырнула под занавеску в кухню и вскоре принесла оттуда продолговатую тарелку с большой астраханской селёдкой, разрезанной, но не разъединённой на кусочки и покрытой кольчиками лука.

— Пожалуйста, молодые люди. — Она наполнила три шкалика и подала их вместе с ломтями хлеба на цветастом подносе. — Милости просим, для вас честь по чести. Приятных гостей приятно и угощать. Мамай! Освободи господам столик. Наклюкался — выходи.

Седой татарин, сидевший неподалёку от стойки, вскинул голову и тут же снова опустил её.

— Мы никому не мешаем, — сказал он.

— Я кому сказала? — прикрикнула хозяйка. — Могу вывести, если сам не в силах. Пинка захотел?

— Не трогайте его, — сказал Николай. — Он не помешает нам.

Старик, когда к нему подсели, медленно обвёл взглядом незнакомцев и печально улыбнулся.

— Ай, какой хороший люди! — сказал он. — Очень хороший. Совсюм молодой. Жалко. — Он закрыл глаза ладонью, всхлипнул, встал и поспешно вышел.

— Неужели босяк? — сказал Мотовилов. — Босяков из татар я ещё не встречал.

— Мамай — это, наверно, кличка, — сказал Николай. — Выходит, и татары начинают обосячиваться. Жуткое время.

— Ничего, тёзка. Время за нас.

— Tamt pis que mieux?

— Что, что?

— Чем хуже, тем лучше?

— Может быть, и так. В некотором смысле. Знаете, я ведь не зря заманил вас сюда. Помнишь, Коля, как мы шли по первому снегу?

— Конечно, помню.

— Было весело и как-то грустно.

— Да, вы тогда сказали, что этой зимой студентам не сдобровать.

— Вот-вот. Я и сейчас это чувствую. На днях что-то произойдёт. Вы тоже чуете. Давайте выпьем за то, чтоб не терять друг друга, где бы кто ни оказался. Идёт?

— Идёт, Николай Александрович.

— Гавриил, мужайся.

У задней стены какой-то карлик, лохматый, очкастый, взобравшись на стол, силился перекрыть многоголосый гвалт.

— Не бойтесь огненного дождя! — кричал он, размахивая широкими рукавами своей неузнаваемо истрёпанной одёжины. — Гомора погибла — Казань не погибнет! У Гоморы не хватило в грехах огня, ей послали с небес. Казань отдаётся пламенно. Значит, священно. Казань скажет своё слово. Скажет! В грехах обретёт истину. Отсюда выйдет настоящий мессия. Наш, земной. Он здесь, он ходит между нами. Кто знает, может, вон тот! — Карлик протянул руку вперёд.

— На тебя показал, тёзка, — сказал Мотовилов.

— Нет, на вас.

— А что, ребята, может быть, среди нас в Казани действительно есть будущий большой человек? Нет, не мессия, конечно, а просто человек, которого история поставит во главе масс. Время начинает закипать. Думаю, затишье скоро кончится. «Народную волю» подавили, но буря впереди — это движение масс. Героям ничего не удалось, а вот когда раскачаются массы — не устоять имперской крепости.

Николай тихонько толкнул Мотовилова локтем.

— Monsieurs, soyons prudents. La maîtresse, a ce qu'il semble, nous tend l'oreille. Peutêtre parlons français?[3]

— Не понимаю, — сказал Мотовилов.

— Предлагает перейти на французский, — сказал Волков.

— Не могу. Кто-нибудь слушает? В таком аду?

Николай кивнул головой в сторону стойки.

— Понимаю, — сказал Мотовилов. — Меняем тему. Вы что, оба владеете французским?

— Он — да, — сказал Волков. — И французским, и немецким. А я так себе. Плохо учусь. У меня только по богослужению пять, а то всё тройки.

Мотовилов расхохотался:

— Значит, тебе, Гавриил, идти бы в священники, — сказал он, едва сдерживая смех.

— Предлагаете в духовную академию?

— Шучу, шучу, конечно. Пожалуй, снимемся?

Они покинули трактир, благополучно миновали полицейских. Поднялись по Рыбнорядской до Грузинской и тут стали прощаться.

— Так не забудем наш уговор, — сказал Мотовилов. — Не теряться, где бы кто ни оказался. Думаю, ещё встретимся в кружке. Ну, а если но встретимся, дело пойдёт у вас и без меня.

Смелое беритесь за Маркса. Держитесь за него крепче.

— Нет, мы не расстаёмся, — сказал Николай. — Завтра вы должны сообщить нам новости из Петербурга. Если там выступили студенты, мы тоже не останемся в стороне. И мы должны принять участие.

— Но я-то ведь ваш. Моя работа — ваша работа.

И не один я у вас. Будем действовать.

— Да, скажите Дмитрию Матвееву, что мы на него надеемся.

— А как же? Он тоже ваш. Не подведём. Давайте-ка обнимемся, ребята.

Они расстались, предчувствуя, но ещё не зная, что больше не встретятся.

События, хотя их и ждали, ворвались в Казань всё-таки так внезапно и закрутились с такой быстротой, что Николаю и его друзьям по гимназии не удалось соединиться со студентами. Вести о студенческом бунте пришли не из Петербурга, откуда их ждал Мотовилов, а из Москвы. И как раз в то время, когда казанцы, получив письмо из Московского университета, принялись спешно готовиться к выступлению, на Николая насело гимназическое начальство, и он, неотступно преследуемый, только урывками встречался с кем-нибудь из университета или института и с трудом добывал скудные сведения о том, что делали студенты. А студенты перенесли всю работу в землячества, засев в тайных квартирах. Там они готовили петиции и протесты, писали листовки, судили предателей-доносчиков, обсуждали план выступления и читали сатирическую оду царю, написанную, кажется, Евгением Чириковым. Николай не мог увидеть ни Мотовилова, ни Матвеева, ни других своих близких знакомых. Правда, однажды он встретился случайно со студентом Васильевым, братом университетского профессора, и попросил его передать Симбирскому землячеству устное приветствие и пожелания гимназистов.

В тот день, когда в «Волжском вестнике» появилось правительственное сообщение о беспорядках в Московском университете, Николай сидел в дворянской гостинице у отца, который, приехав в Казань по вызову директора гимназии, снял вчера номер, а утром, переговорив с начальством, увёл сына из гимназии к себе. Они выпили по бокалу шампанского и приступили к разговору, неприятному и трудному для обоих. Отец, расстегнув мундир и откинувшись на спинку. сидел на софе, а Николай но привычке (откуда бы ей тогда-то?) двигался взад и вперёд, мягко шагая но ковру.

— Вот так, Николай Евграфович, — говорил отец, — учился ты блистательно, и мы на тебя очень надеялись. Оставался

последний класс, и вдруг всё рухнуло.

— Сдам экстерном, — сказал Николай.

— Не сдашь. Не это у тебя в голове. — Отец был прав: не об экстерне думал его сын, особенно сейчас, когда с минуты на минуту должны были выступить с протестом студенты университета и ветеринарного института. — Из года в год я вносил в кассу деньги, чтобы ты мог получать в университете стипендию. И всё насмарку.

Николай подошёл к столу, взял из вазы яблоко, подкинул его на ладони, положил на место и снова стал ходить по мягкому ковру.

— Я не виноват, что так получилось, — сказал он.

— Как так не виноват? Директор всё мне рассказал. Проступок твой тяжёл. Кружок, тайная библиотека, обман начальства.

— Но вижу никакого проступка. Только в России с её дикими установлениями нельзя долиться с друзьями мыслями, нельзя читать, что хочешь.

— Ну, а зачем же понадобилась тебе эта «тётка»?

— Не хотел, чтоб обшаривали и обнюхивали моё жилище.

— Ладно, передо мной можешь не оправдываться. Я-то, может быть, и пойму тебя. А что с матерью будет? Она не выдержит удара. Она так тебя любила. «Коленька, Коленька». Вот тебе и «Коленька». Не поедешь домой-то?

— Нет, не поеду.

— Но меня просят взять тебя под свою ответственность.

— Откажись.

— Отказаться? Я юрист и хорошо знаю, что это значит. Это значит признать тебя не поддающимся никакому благому воздействию. Это значит поставить тебя под негласный надзор. Потом попадёшь и под гласный. Понимаешь ли ты своё положение?

— Понимаю, отец.

— И всё-таки остаёшься здесь?

— Не могу иначе. Министр Делянов запретил принимать в гимназию детей прачек, поваров и кучеров. Отныне в ней могут учиться только избранные. Социально благонадёжные. Но и их заставляют шпионить друг за другом. Выхожу из такой гимназии без сожаления. А Казани не оставлю. Я должен быть с теми, кто идёт против наглых российских порядков.

— Так, так, дорогой сын. Оказывается, далеко ты зашёл.

По улице пронёсся отряд конной полиции. Николай бросился к окну, отскочил, заметался по комнате, побледнев.

— Что с тобой? — спросил отец.

— Папа, прости, но я не могу больше оставаться у тебя. Там, наверно, студентов избивают.

Отец поднялся, и они стали друг против друга.

— Газеты сегодня видел? — сказал Николай.

— Это ты про московских студентов?

— Да. Ты их обвиняешь?

— Сию минуту я не следователь, могу даже посочувствовать. Но пойми, плетью обуха не перешибёшь. Махина ведь, гигантская махина, а вы в неё лбами. Эх, Николай, Николай! Не этого я ждал. Дмитрий малоспособен, на него не рассчитывал, на тебя возлагал все надежды, а ты вон куда пошёл. Не остановиться ли, пока не поздно?

— Не могу, папа. Пойми меня. Успокой маму. И передай сестричке… Нет, Манечке ничего не передавай — мала, не поймёт. Поцелуй её за меня.

Отец заморгал и, отвернув лицо, обнял сына. И сразу же оттолкнул.

— Ступай, не терзай мне душу.

Николай вылетел из гостиницы и побежал на Воскресенскую. Сначала нёсся бегом, потом, заметив любопытные взгляды прохожих и проезжих, пошёл шагом, даже медленным, как будто вовсе никуда не спешит. Но идти так было невыносимо. Вчера Матвеев передал ему через Аню, что студенты решили выступить именно сегодня. Местные газеты, опубликовавшие правительственное сообщение о беспорядках в Москве, могли только подстегнуть и поторопить казанцев. Николай шагал но Молочному переулку и уже видел свалку на Воскресенской, подобную той, какую описал московский студент, приславший в Казань тайную корреспонденцию.

Но свалки на Воскресенской не оказалось. У многоколонного здания университета спокойно расшагивали полицейские. Пришли они сюда, очевидно, давно: и шапки, и воротники, и усы у них были белы от куржака, заиндевели даже рукоятки и ножны шашек.

Поодаль стояла толпа любопытных. Николай подошёл к ней, прислушался к разговору.

— Поймали, наверно, заговорщиков.

— А чего же не ведут их в полицию?

— Может, опять беспорядки? Наши студенты на это горазды. Помните, как бушевали они при Фирсове? Уж на что был строгий ректор, а не справился, солдаты усмиряли.

— Это в восемьдесят втором-то? Да, тогда казанцы прогремели на всю Россию, за ними поднялись и другие.

— Тогда Казань начала, а нынче — Москва. Газеты читали?

— Что газеты? Правду скажут? Там, наверно, бог знает что творится.

— Нет, тут бунта не будет. Уже скрутили, поди.

Люди высказывали свои предположения и догадки, но никто из них не решался подойти с вопросом к полицейским, а те, гордые и довольные, что оказались во всём своём величии на виду у этой толпы, не разгоняли её. Один из полицейских, небольшой, простенький, прохаживался отдельно от других, и было похоже, что его оттёрли, чтобы он, такой неказистый, не портил вида внушительной стражи. Николай решил, что с таким можно поговорить, и подошёл к нему.

— Скажите, что там происходит?

Полицейский снял варежку и сорвал с усов льдинку, свисавшую на губы.

— Сходка у них, — сказал он, и это прозвучало так, будто студенты заняты, а полиция их охраняет, чтоб никто не мог помешать им.

— И давно идёт сходка?

— Почти что с утра.

— Всё спокойно?

Полицейский опасливо глянул на своих сослуживцев. гордо расшагивающих у парадного входа, и встревожился.

— А ты почему не на уроках? — строго сказал он. — Из какой гимназии?

— У меня тут брат. — сказал Николай. — Беспокоюсь.

— Шагай, шагай отсюда!

— Эй, публика! — крикнул один у крыльца. — Расходись! Чего здесь не видали?

Толпа начала растекаться, и Николай ушёл. Сворачивая на поперечную улицу, он оглянулся, посмотрел на здание университета — оно выглядело удивительно мирно, белое, многоколонное.

Потом, через три дня, когда кружок гимназистов собрался ночью в потайной комнате и студент Васильев, брат знаменитого казанского профессора, рассказывал о сходке в университете, Николай, сидя на корточках в углу, в чёрной темноте, всё ещё видел белое мирное здание и никак не мог представить, что как раз в то время, когда он, оглянувшись, смотрел на него, там, внутри, в актовом зале, бушевала буря, а по соседству, во дворе полицейской части, стоял батальон солдат, готовый в любую минуту броситься, к университету. Оказывается, военная сила была сдержана ректором Кремлёвым, который, взяв у студентов петицию, протестующую против жестокого университетского устава и нелепых общественных порядков, не взорвался, не

обрушился с гневом на своих питомцев, самовольно занявших актовый зал, не вызвал на них приготовленный батальон, а вступил о ними в переговоры и с помощью лучших профессоров, уважаемых передовой молодёжью, успокоил бушующую сходку, а потом, ослабевший, утомлённый трёхчасовой словесной битвой, спустился вниз и попросил полицию не трогать студентов, и те разошлись, оставив начальству сотню входных билетов — сотню отказов посещать этот кощунственный храм, где вместо преклонения перед наукой надо поклоняться административному режиму — смерти всякой пауки.

Ректор Кремлёв не допустил ареста студентов в университете, дал им разойтись по квартирам, но инспектор Потапов, получивший на сходке оплеуху и, однако, не растерявшийся, успел переписать бунтарей и вечером подал списки попечителю учебного округа, а тот — полиции, которая тут же приступила к делу и за ночь переловила всех, кого Потапов отметил в своих проскрипциях тремя крестиками.

— Расскажите о вашей схватке с братом, — сказал Николай, глядя в то место темноты, где сидел невидимый Васильев.

— Схватки, собственно, и не было. Вы же знаете, что брат не реакционер. Он на стороне студентов. Но поступить так, как профессор Преображенский, у братца, конечно, не хватило духу. Тот прямо в актовом зале заявил, что уходит из университета, а этот не хотел распалять студентов, боялся, что нас изобьют, как в Москве. Помогал ректору успокаивать.

А когда он сказал, что в Петербургском университете всё тихо и мирно, я перебил его. Поспорили.

— Сколько же исключено? — спросил кто-то.

— Исключение и аресты продолжаются. Первый список — тридцать девять человек. Это головка.

Васильев ещё долго рассказывал о сходке в университете, и гимназисты, каждый из которых что-то слышал об этом событии, теперь узнали подробности.

— Расходиться по одному, — сказал Николай. — Будьте осторожны. Всюду шныряют полицейские и солдаты.

Все постепенно разошлись, и Николай оказался наедине с Васильевым, и это грустно напомнило другую ночь, когда вот в такой же тёмной комнате он остался с Мотовиловым.

— Ну, о чём вы думаете? — сказал Васильев.

— Понимаете, жалею, что пошёл не в ту сторону.

— Раскаиваетесь? Страшновато?

— Нет, я не об этом. Пошёл ведь тогда с Воскресенской в ветеринарный институт. Надо бы прямо по Университетской, а я решил дать круг и на Вознесенской столкнулся с наставником. И

он увёл меня в гимназию. Так и не удалось встретиться с Мотовиловым. В котором часу он появился в университете?

— Кажется, в третьем. Он хотел привести ветеринаров пораньше, да задержался в институте. Пока они там вручили директору петицию, пока объяснялись с ним, пока возились у нашего входа с полицией, сходка уже приутихла. Но всё-таки они подкрепили нас. Кстати, Кремлёв сам попросил впустить их в зал.

— И я бы, возможно, как-нибудь проскользнул с ними, а меня в это время пилил директор. И чего тратил силы? Уже знал, что попечитель предложил исключить, и всё-таки ещё пилил.

— Напутствовал.

— А вы с братом-то не ссорьтесь. Пользуемся его библиотекой. Возьмёт да и откажет.

— Пет, мы не ссоримся. Дома он тоже бунтарь. Ненавидит русскую деспотию. Но ведь профессор. Боится потерять кафедру. Что, двинемся?

Они ощупью выбрались в коридорчик, нашарили в конце его дверь и постучали хозяину.

— Уходим, закрывайтесь.

Николай приоткрыл калитку и глянул на улицу, белую, лунную, пустынную.

— Никого, — сказал он.

Они пожали друг другу руки и быстро пошли в разные стороны.

Окраина была совсем безлюдна и тиха. Собаки, заслышав взвизги шагов, просыпались, тявкали два-три раза, а не выскакивали из-под ворот на мороз, лежали, наверно, в своих конурах, свернувшись клубком.

Ближе к центру стали попадаться будочники, но и они, съёжившись, втянувшись в воротники, не хотели окликать и останавливать, хотя полуночник в гимназической шинели, конечно, вызывал у них подозрение.

Николай пересёк весь город, спустился под горку к церкви Евдокии, свернул влево, на Засыпкину, и тут столкнулся с отделением солдат, которое двигалось со стороны тюремного замка. Солдаты шагали вразнобой и прошли мимо, не обратив на него внимания.

Во дворе у хозяев светились щели двух окоп, Александра Семёновна, ясно, ждала квартиранта, и было жалко оставлять её ещё несколько минут в тревоге, но Николай всё-таки пошёл дальше.

Улица кончилась у белой горки, на которой высились древние, печальные в лунном свете банши и стены Кремля. Внизу стояла тюрьма. Сотни раз приходилось ходить мимо этого

арестантского замка, и всегда тут охватывала тоска, но никогда ещё не щемило так больно, как сейчас.

Николай, чтобы не нарваться на часового, не стал подходить близко к тюрьме. Стоял поодаль и смотрел на серое здание с маленькими окнами. Там, за стенами, не видя лунной ночи, сидел Николай Мотовилов, лучший друг, недавний, по такой родной и близкий. Сидел и Дмитрии Матвеев, чудный товарищ, Анин трогательный поклонник, вполне оправдавший её рекомендацию. Сидел неистощимый выдумщик Гурий Плотнев, связной и типограф многих и разных кружков. пролаза, знающий всё население города, от босяка до начальника жандармского управления Гангардта. Сидел романтик Евгений Чириков, поэт мятежного волжского студенчества, трибун, не приставший ни к одному кружку и приветствующий всякую оппозицию. Сидел Владимир Ульянов, самый молодой из арестованных студентов. Так и не удалось с ним познакомиться. Говорят, это деловой юноша. Только поступил в университет и уже вошёл в серьёзный кружок, стал депутатом Симбирско-Самарского землячества, готовил вместе со студентами старших курсов сходку. На сходке, рассказывают, вёл себя блестяще: не суетился, не кричал исступлённо, как другие, не бросался с кулаками на педелей и инспектора, но и не прятался за спины, а смело наступал на начальство и одним из первых выложил входной университетский билет. Досадно, что не пришлось с ним встретиться. Но ничего, ещё всё впереди. Жизнь сведёт.

На лунных стенах темнеют окна прямоугольными провалами. Только три из них ещё желтеют тусклым светом. Наверно, это камеры, в которых сидят студенты. Они, конечно, и здесь протестуют. Не дали вот погасить свет и не легли в положенное время спать. Где там Николай Александрович? Дорогой друг, не горюй. Схватка не кончилась. Это только начало.

Николай повернулся и быстро пошёл на квартиру, беспокоясь, что Александра Семёновна всё ещё ждёт.

Калитку открыл, к удивлению, сам хозяин.

— Милости просим, — сказал он и взял Николая под руку. — Ждём, ждём тебя, добрый молодец. Чаёвничаем со своей благоверной. Скулит, оплакивает тебя. Пришлось уговаривать, утешать дуру. Скидывай шинелку да входи — успокой.

Николай зажёг в своей комнате лампу, разделся и пошёл на минуту к хозяевам. Чаёвничала, оказалось, только Александра Семёновна, а муж, сидя против неё, пил водку, размякший, раскрасневшийся, в просторной фланелевой рубахе (он не любил военную одежду). Перед ним стояла тарелка с половинкой большого солёного огурца.

— Присаживайтесь, Коля, — сказала хозяйка и поставила под кран самовара позолоченную фарфоровую, на таком же блюдце, чашку.

— Я ничего не хочу, Александра Семёновна, — сказал Николай.

— Ну, хоть чайком погрейтесь. Не понимаю, чем вы сыты. Не завтракали, обедать не приходили. Что бы там ни случилось, а есть-то надо.

— Садись, садись, не гнушайся, — сказал ротный.

Николай не стал отказываться.

Хозяйка подала квартиранту чай, подвинула к нему хлебницу с домашними булочками и розетку с вареньем.

— Что же теперь будет, Коля? — сказала она. — Исключили?

— Да, исключили.

— И отец отказался?

— Нет, домой сам не поехал.

— Значит, с семьёй всё кончено? Как же без помощи-то?

— Ничего страшного. Найду уроки, буду подрабатывать и готовиться в университет. Но от вас придётся уйти. Не хочу подводить.

— Плюнь ты на всё, — сказал ротный. — Я ничего не боюсь. Живи.

— У нас надёжнее, Коля, — сказала Александра Семёновна. — Кто знает, как у других-то будет. Господи, у меня вся душа изболела. Не дадут теперь вам житья.

— Перемелется — мука будет, — сказал хозяин. Он выпил наполненную рюмку, отрезал от дуплистого огурца тоненький кружок и закусил им с хрустом. — Ну арестуют, эка беда! Жизнь не стоит, чтоб думать о ней. Ты, Николай, шагай, куда шагается. Нигде не прогадаешь, нигде не выиграешь. Знаю, ничего ты на этом свете не изменишь, а раз хочется шуметь — шуми. Нагляделся я на политиков, когда в конвое ходил. Верят — этим и утешены. Ничего, конечно, не добьются, а свою жизнь проведут счастливо, под хмельком. Им не надо и вот этой штуки. — Ротный щёлкнул пальцем по бутылке.

— Под хмельком, говорите? А виселица — тоже блаженство?

— Выходит, и она пьянит, раз идут на неё. Я думаю, нет ни ада, ни рая, а есть бестолковая жизнь и такая же бестолковая смерть. Всё глупо, выбирать нечего, делай, что хочется, лишь бы скоротать время. Я бы, не будь у меня вот благоверной, продал всё, заперся и пил бы, пока не сгорел с водки. Такая смерть была бы нисколько не хуже, чем смерть Александра Николаевича или Желябова.

— Ну, поехал! — сказала хозяйка. — Теперь не остановишь.

Коля, не слушайте, ешьте булочки, вкусные, с миндалём пекла.

Николай знал, что булочки вкусны, но есть ему не хотелось,

— Простите, — сказал он, — я устал, пойду лягу. Александра Семёновна, не думайте, пожалуйста, обо мне. Всё будет хорошо.

— Дай бог, дай бог, Коля. Отдыхайте, совсем не спали эти ночи, умаялись.

Николай вернулся в свою комнату, бросился навзничь на кровать, оставив ноги на полу, а руки закинув за голову. Нет, ротный, не всё в жизни равноценно. Надо выбирать. Собственно, выбор сделан, и назад хода нет. Кружку нанесён первый удар, арестованы и будут, конечно, высланы из Казани друзья, отшатнётся кто-нибудь из тех, кого удар не задел, а только напугал. Теперь-то и надо брать быка за рога. С гимназией кончено. Начинается новая жизнь. Завтра надо как-то встретиться с Аней.

Он встал, подошёл к столу, опёрся обеими руками на его углы и с грустью посмотрел на Софокла, который напомнил ему последнюю попытку заняться уроками. Рядом с открытой книгой лежала открытая тетрадь, и на её странице обрывались слова начатого перевода: «Ты, пещера злосчастная, полная скорби моей…»

14

Софокл. «Метаморфозы» Овидия. Канцоны и сонеты Петрарки. Как всё это бесконечно далеко! Никогда уж к этому не вернёшься. Освободят — не до сонетов будет. Работа, борьба.

Николай сегодня гулял на площадке один. Пока он сидел у начальника в кабинете, общая прогулка закончилась. Сабо всё-таки сдался и пообещал кое-какие нужные книги. И приказал старшему надзирателю вынести на воздух на целый час. Разве это не победа?

День был уже по-летнему тёплый. Вокруг каменной площадки торопливо росла трава, такая молодая, что от неё пахло и матерью-землёй, и собственным сладким соком. Николай шагал возле самой зелени. Рядом с ним летела коричневая пятнистая бабочка. Когда она села, он остановился и стал смотреть, как смыкаются и снова раскрываются её цветастые крылья. Надзиратель не кричал, не запрещал стоять и смотреть. Откуда-то прилетел лохматый шмель. Он покружил около бабочки, нашёл едва приметный, единственный на всю площадку распускающийся цветок, сел на него и, перебирая лапками, качаясь, долго не мог, большой, уместиться на узкой жёлтенькой кисточке, а уместившись, впустил в неё хоботок и замер. Снизу к нему прибежал по стебельку маленький красный муравей. Он резко остановился, наверно, перепугался, повернулся и кинулся обратно к земле.

— Что задумались? — сказал надзиратель — Жалко тревожить, а придётся. Время вышло. — Это был тот надзиратель, что помогал казанцам.

Николай пошёл в корпус.

На перекрёстке коридоров, у стола старшего надзирателя. стоял в свежей вольной одежде, светлом пиджаке и серых брюках, какой-то арестант. Стоял он спиной к тому коридору, по которому шёл Николай. Заслышав шаги, новичок оглянулся, вскрикнул, шагнул навстречу. Николай узнал его, рванулся было к нему, но сразу замедлил ход и замотал головой.

— На место! — заорал, поднявшись из-за стола, старший надзиратель

Новичок вернулся к столу, но опять оглянулся, и Николай, проходя мимо него, кивнул ему чуть заметно.

Поднявшись по лестнице. Николай прошёл ещё десяток шагов по балкону и только потом обернулся.

Его друга уводили куда-то в конец противоположного отделения. Милый Миша Григорьев! Вот как привелось

встретиться. Попал уже по другому делу. Отсидел два месяца в Казани, выслали его в Нижний, там он, конечно, вступил в кружок, и вот опять сцапали.

Николай вернулся в камеру и стал ждать надзирателя, который водил его гулять. Тот пришёл минуты через две.

— Шумит наш старшой, — сказал он, закрыв дверь и открыв окошечко. — Ругается, что я не остановил вас. Это что, ваш друг?

— Да, очень близкий человек. Узнайте, пожалуйста, в какой он камере. Может, вам удастся как-нибудь передать ему записку.

— Ладно, постараюсь, — сказал надзиратель и захлопнул дверное окошко.

Николай зашагал по камере, потирая руки. Значит, есть возможность связаться с другом! Теперь-то этот милый мальчик не отмолчится, расскажет, где Анна и что с ней происходит. Не надо на него обижаться. Вполне понятно, почему не отвечал: боялся чем-то расстроить. Добрый, наивный спаситель. Теперь сам поймёт, что значит не слышать здесь ничего о близких. Миша, Миша! И он угодил, бедняжка, в «Кресты». Лицо свежее, одежда чистая, — значит, сидит недавно, знает волжские новости. Расскажет, действуют ли в Казани марксистские кружки и как поживают народники. В Нижнем, конечно, встречался с Павлом Скворцовым. Чем сейчас занимается этот дотошный марксист? Почему он не прислал своей статьи, опубликованной в «Юридическом вестнике»? Зазнался? Да, с ним может это случиться. Помнится, как снисходительно знакомился он с кружком, не веря в его силы. Это не Мотовилов, который сразу поверил а *ребят,* даже переоценил их — не все выдержали первое испытание.

15

Трое вышли из кружка сразу после разгрома студенческого выступления. А Вершинина пришлось исключить за «героизм». Отошло потом ещё несколько человек, но их место вскоре заняли студенты. Университет и ветеринарный институт — вот где Николай, уйдя из гимназии, искал новых надёжных людей. Помогал ему Васильев.

Морозным солнечным полднем они случайно встретились на перекрёстке улиц. Васильев, розовый, в тёплом, с меховым воротником, пальто и мягкой хорьковой шапке, с удовольствием стоял на морозе, сдалбливал тростью с тротуара пластики утрамбованного снега и мог бы болтать тут несколько часов, но, заметив, что Николай жмётся в своей гимназической шинели, забеспокоился.

— Вам холодно? — спросил он и, оглядевшись, куда бы зайти, кивнул на портерную, вывеска которой зазывала прохожих изображением кружки с пенным пивом. — Посидим?

— Нет, спасибо.

— А чего вам теперь бояться? Уже не гимназист.

— Да я не боюсь.

— Денег нет?

— Всё вытряхнул. Продал даже часть книг.

— Понимаю. Всё пошло на помощь высланным студентам.

— Ищу уроки.

— Так, значит, дворянская жизнь кончилась? Ничего, не пропадём. Идёмте.

Они пересекли улицу, зашли в старенький кирпичный дом, спустились в подвальный этаж и очутились в сумрачной каменной пещере. Не раздеваясь, сели за столик. В угол, подальше от людей.

Подлетел половой в белой рубахе.

— Вам какого?

— Две бутылки чёрного, — сказал Васильев, сняв хорьковую шапку. — Или вы хотите светлого?

— Мне всё равно, — сказал Николай.

Половой отошёл.

— Ну вот, посидим, потолкуем, — сказал Васильев. — Торопиться нам некуда.

— Надолго закрыли ваш университет?

— Пока мы не успокоимся.

— По-моему, вас уже усмирили. Волна прокатилась и замерла. Везде наведён порядок. В Москве, в Петербурге, в

Харькове, в Одессе.

— Нет, мы ещё брыкаемся. Ушли в песок, а всё ещё шуршим.

— Требуете открытия университета? В землячествах собираетесь?

— Да, в землячествах.

— Скажите, меня могут принять?

— А почему бы и нет? В какое хотите?

— Верхне-Волжское.

— Ну и вступайте.

— Но я же не студент.

— Слушайте, вы — Федосеев, а Федосеева студенчество знает.

— Давайте потише. Мы не одни тут.

— Чёрт, забылся.

Половой принёс пиво и кружки. Васильев разлил бутылку, попробовал чёрный портер и крякнул,

— Хорошая штука, — Он расстегнул пальто и увидел газету, высунувшуюся углом из внутреннего кармана, — Да, у меня же «Волжский вестник». Любопытное сообщение. Эпидемия самоубийств, оказывается, захватывает и рабочих. — Он вынул газету и, не развёртывая её, нашёл нужное место, — Вот, послушайте. «Двенадцатого декабря, в восемь часов вечера. в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков выстрелил из револьвера себе в левый бок с целью лишить себя жизни. Пешков тотчас же отправлен в земскую больницу, где, при подании ему медицинской помощи, рана врачом признана опасной. В найденной записке Пешков просит никого не винить в его смерти». — Васильев посмотрел на Николая. — Вы что. дружище?

Николай схватил газету, прочитал подчёркнутые сипим карандашом строчки и встал.

— Я пойду, — сказал он.

Васильев кое-как усадил его.

— Куда вы пойдёте?

— В больницу.

— Хорошо, посидим и пойдём вместе. Вы его знаете?

— Да, знаю, — Николай облокотился и уткнулся лицом в ладони. Он хотел вспомнить ту августовскую ночь, которая свела его с Пешковым, и восстановить подробности разговора с ним. Что он тогда говорил, когда шли с Арского поля? «Цианистый калий. Может, в нём только и есть смысл?» А потом? Потом удалось его немного рассеять, он несколько повеселел. Договорились встретиться. На Рыбнорядской расстались. Он пошёл к Бассейной, большой, тяжёлый. Шёл крупно, сильно

наклоняясь вперёд. Шаги долго слышались на пустынной ночной улице.

— Николай, плачешь, что ли? — сказал Васильев. — Ты хоть расскажи, что это за человек.

— Да, *любопытное* сообщение, — сказал Николай, всё ещё подпирая лицо ладонями.

— Ну прости, я же не знал… Прости, друг. И давай с этого раза на «ты».

— Человек пустил в себя пулю, а мы любопытствуем.

— Прости, Николай. Да, мы ещё равнодушны к человеку. Несчастье знакомого — эго мы поймём.

А если он совсем тебе никто? Ни брат, ни друг, ни товарищ? Тогда как мы смотрим на его судьбу? Тогда вырывается это проклятое «любопытно». Ты не такой.

Ты бы не стал угощать вот таким сообщением. Пошли.

В больницу их не пустили, и они разошлись. Васильев звал к друзьям на Старо-Горшечную, но Николай отказался, пошёл как будто на свою Засыпкину, но, когда товарищ скрылся, повернул в противоположную сторону, к Подлужной.

На Подлужной он остановил одну старушку и спросил, не знает ли она, где тут стрелялся Алексей Пешков.

— Какой Пешков?

— Тот, о ком сообщает газета.

— Милый ты мой внучек, да разве ж я читаю их, газеты-то? Неграмотна. Не знаю, о ком там пишут. Говорят, какого-то молодого человека вон там подобрали, на Федоровском бугре.

Николай пошёл на Федоровский бугор, нашёл у края обрыва истоптанный снег, но крови на нём не обнаружил. Постоял, осмотрелся кругом и хотел было зайти в крайнюю избу напротив, но хозяева, наверно, увидели его в окна и догадались, что он хочет что-то разузнать: из калитки вышел мужчина в накинутой на плечи шубёнке, он пересёк улицу и подошёл к обрыву.

— Скажите, не здесь произошло самоубийство? — спросил Николай.

— Здесь, здесь, сынок. Вот тут он лежал. Вы, поди, его родственник?

— Нет. Товарищ. Ходил в больницу — не допустили, спрашивал, как он себя чувствует, — не отвечают. Скажите, вы его видели?

— Видел.

— В каком состоянии? В очень тяжёлом? Жить будет?

— Не знаю, сынок. Больно уж плох он был. Да я лица-то и не разглядел, темно было. Думаю, оклемается, выживет. Парень, видать, здоровый. В сердце-то не попал. Молодой, оправится.

— Спасибо.

Мужчина ушёл. Николай ещё постоял, посмотрел на следы, на тоскливые сугробы, на торчащие из-под снега стебли крапивы, на крутой обрыв, на белую равнину внизу, где пряталась замёрзшая Казанка. Что же толкнуло сюда Алексея? Конечно, не нужда и не личное горе, а «страшная неразбериха», о которой он говорил в ту августовскую ночь. Упустили человека. Но нет, он сильный, поправится, и надо будет взять его в кружок.

Дунул ветер, зашевелились и зашуршали стебли крапивы, кустиком торчавшие у края обрыва, чёрные на белом снегу. Николай для чего-то сорвал вершинку одного стебля, положил её в карман шинели и вышел на дорогу. Ему было тяжко и одиноко. К кому пойдёт он с этой печалью? Молодёжь его круга живёт лишь социальным» проблемами и личных переживаний не признаёт. С чувствами можно было пойти только к Ане, та всё поняла бы, но её нет в Казани. Вчера он искал её, заходил даже, нарушив уговор, в тот дом, где она ютилась, и там сказали, что уехала неделю назад в Астрахань. Неделю назад. Как раз в тот день, когда выслали партию студентов, в которой отбыл Дмитрий Матвеев. Значит, за ним она и отправилась в путь. Не в Астрахань, не к родным она поехала, а туда, куда угнали Митю.

Он шёл но окраинным улочкам, не выбирая пути. Кто-то задел его плечом, и тогда он, оглянувшись и увидев белую спину прохожего, заметил, что валит густой снег. Ага, кончилась долгая жестокая стужа. Мотовилов, бедняга, всё мёрз в своём стареньком пальто, в поярковой шляпе. В Пензу угнали. Как-то он там?

Хозяйка куда-то ушла, оставив во дворе след башмаков. Николай нащупал на притолоке ключ, открыл дверь.

Он разделся и сразу, чтоб не поддаться пагубному унынию, принялся за дело. Стал разбирать и укладывать свою оскудевшую библиотеку. Вся нелегальщина уже перенесена к надёжным и никем не заподозренным друзьям, а дорогие золочёные фолианты проданы перед отправкой изгнанных студентов. Со многим пришлось расстаться, даже с «Илиадой» и «Оддс-сеей». Остались из любимых незапретных книг только те, без которых просто и жить нельзя.

Вот Софокл. Ну, без этого можно было обойтись. Лучше бы, не будь он такой дорогой, оставить несравненного жизнелюба Гомера. Ну ладно, пускай остаётся хоть Софокл, — может быть, когда-нибудь захочется вдохнуть благословенного воздуха Эллады.

Вот великая Россия: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Достоевский, Толстой, Лесков. С этими разлучиться невозможно. Читать их по-настоящему теперь, конечно, не удастся, но иногда

всё-таки урвёшь свободную минуту, откроешь какой-нибудь том и проглотишь две-три страницы, чтобы поддержать дух и подкрепить силы. Это русские Гомеры. Всех их в один чемодан. Войдут ли?.. Вошли, даже осталось место ещё для двух книг. Кого сюда поместить? Гейне? Этого можно, не испортит компании. Что ещё? Вот обруганные Михайловским «Братья Земгано». Критик не впускает несчастных акробатов в литературу, требует героев, возвышающихся над толпой. Не признаёт автора романа писателем. Нет, уважаемый Николай Константинович, позвольте с вами не согласиться и положить Эдмона Гонкура вместе с великанами. Вот так.

Николай заполнил большой чемодан, закрыл его и подошёл к полке. На ней остались кроме философов писатели, вокруг которых шумела русская радикальная интеллигенция. На первом месте стоял Глеб Успенский, за ним — Златовратский, Засодимский, Наумов, Каронин. Все они в меру своих сил пытались помочь России выбраться из тупика. Все, перепуганные вломившимся капиталом, кинулись к мужику и принялись изучать его жизнь, чтобы найти в ней спасение. И если он, Николай Федосеев, хочет хорошо понять народников, ему надо заняться вот этими писателями, а те, уложенные в чемодан, могут подождать — у них впереди целые тысячелетия.

Чемоданов больше не было, и писателей-народников пришлось увязать в тюк. Философов Николай уложил в стопу и перетянул ремнём. Их оказалось мало. Запретные, даже такие, как Милль, хранились у друзей. Здесь оставались только те, кого чиновничья Россия кое-как ещё терпела: Иоганн Фихте, Давид Юм, Огюст Конт, Герберт Спенсер и Артур Шопенгауэр. Эти мыслители будоражили современную интеллигенцию, и их предстояло изучить хорошенько.

Книги были подготовлены, оставалось собрать вещи. Николай свернул постель, увязал её, а мелочь затолкал в портплед, набив его до отказа бельём, носками, перчатками, платочками, галстуками, всем тем. что осталось от прежней аристократической жизни. Перекочёвывать теперь легко. Можно на себе за три приёма всё перетащить. Или взять извозчика? Денег нет. Разве занять у хозяйки?

Он подошёл к окну. На улице уже смеркалось, густо валил снег, обволакивая прохожих. Проехал мужичок в широких розвальнях. Вот в таких же санях увезли Мотовилова и его институтских друзей. Университетских студентов проводить не удалось. Говорят, шумно прощались с Казанью, бросали в толпу листовки, а из толпы им кидали в сани полушубки, шапки, варежки, связки сушек, калачи. Развезут их, мятежников, по

губерниям — они и там будут сколачивать кружки. Неплохо, Матвеев — счастливец, если Аня отправилась за ним. Хорошо бы сейчас сидеть в розвальнях на соломе, кутаться в полушубок, смотреть назад и знать, что там, в снежной мутной дали, едет за тобой она. Мите повезло. Сидят теперь где-нибудь в убогой избушке, греются у раскалённой железной печурки и чувствуют себя счастливейшими людьми в этой неуютной стране. Пускай им будет хорошо. Но как всё-таки тяжко! Снег и снег. Потонули в нём домишки, едва видно их через дорогу.

Стукнула дверь, вошла хозяйка.

— Коля, вы дома? Что это в потёмках сидите?

Николай зажёг лампу.

— Батюшки, он уже собрался! Куда же на ночь-

— Мне ночью и надо перебираться.

— Господи, такой упрямый, такой упрямый! Ну чего нам у пас-то не живётся?

— Александра Семёновна, я всё вам объяснил. Нельзя мне тут оставаться. Вы можете занять мне полтинник? На извозчика.

— Давайте-ка сначала поешьте. Обед горячий, в печке. Ждала, ждала вас… Сегодня мой муку привезёт, вот и уедете.

Ротный появился часа через два. Когда он перетаскал в амбар мешки и, белый, в мучной шинели, вошёл в дом, хозяйка сразу стала ему жаловаться.

— Коля-то совсем отбился, — сказала она, — не слушается, собрался уезжать. Уговори ты его.

— Ладно, Семёновна, — сказал хозяин, — не вмешивайся. Ему виднее. Пускай перебирается, раз наладился. К дружку ведь переезжает.

— Тогда не отпускай подводу-то.

Ротный вышел во двор и скоро вернулся.

— Можешь грузиться, — сказал он и, не раздеваясь, двинулся за Николаем в его комнату. Александра Семёновна накинула красную шаль, тоже выбежала помочь.

Снег перестал. У крыльца, под фонарём, стоял белый битюг, впряжённый в огромные сани. Возчик принимал вещи и клал их в передок.

— Ну, счастливо оставаться, — сказал Николай, подавая хозяйке руку. Она всхлипнула, сморщила дрожащие губы.

— Не забывайте нас, Коля. Заходите. Да берегите себя, не лезьте зря на рожон-то. Засадят — спохватитесь.

— А, всё пустяки, — сказал хозяин. — Не слушай баб и не связывайся с ними. Шагай, куда шагается. Что в тюрьме, что во дворце — везде одинаково. Ни пуха, ни пера. — Он хлопнул Николая по плечу. — Митрич, не вздумай с него денег просить.

— Ну, ещё чего! — сказал возчик. — И так не в обиде.

Николай вскочил в сани. На улице он оглянулся — Поляковы стояли у открытых ворот, Александра Семёновна крестила отъезжающего, а муж смотрел неподвижно, безвольно опустив руки, и не верилось, что это тот самый ротный, которого ни разу не приходилось видеть грустным.

Было жалко добрых хозяев. Николай думал об их безрадостной жизни, не откликаясь на разговор Митрича, сказал только, куда ехать, и опять смолк. Но когда свернули в тихую сугробистую улицу, он увидел знакомый деревянный домик, глянул в его скромно светившиеся окна и повеселел: лучшего места для работы, пожалуй, не найти было во всей Казани.

— Приехали, — сказал Николай, тронув рукой возчика. — Обождите тут минутку. — Он соскочил с саней, взял и понёс к воротам свой чемодан, тяжёлый, точно свинцом заполненный.

Чемодан этот, набитый бесценными любимыми книгами, долго потом стоял забыто под кроватью. Захлестнула политическая и экономическая литература, началась переписка с высланными друзьями, завязались серьёзные споры с казанскими народниками, всё заметнее отступающими от революционного пути. Николай вступил в Верхне-Волжское землячество и стал его казначеем, открыл много тайных пристанищ, ходил на студенческие сборища и вечеринки и везде, где затевались разговоры о том, куда молодёжи идти, отстаивал то направление, какое взяли его кружки.

У него было теперь два кружка, небольших, но достаточно крепких, способных расти и выдерживать напор разнообразных и противоречивых течении. Один, старый, очистился в тревожные дни декабря от трусов и болтунов, другой, недавно возникший, объединил надёжных товарищей, ужо проверенных студенческими событиями. Подбирались и курсистки. Правда, девицы охотнее шли к народникам, туда их манила романтика, а марксистов, только-только появляющихся, они считали слишком трезвыми. Читая «Царь-Голод» и «Наши разногласия», они пожимали плечами и говорили: «Это и есть марксизм?»

Васильев имел широкие знакомства и помогал Николаю отыскивать новых нужных людей. Раз как-то он пригласил его к себе.

— Приходи, будет интересная компания. Может, кого приглядишь.

Васильев жил у брата, профессора-радикала, который любил свободно поговорить, и до университетского разгрома у него часто собиралась оппозиционная казанская молодёжь, потом его квартира для многих закрылась, а теперь, когда правительство,

подавив студенческий бунт, несколько успокоилось, учёный, видимо, снова распахнул свои гостеприимные двери.

Нет, двери даже днём оказались закрытыми на крючок. Николай дёрнул висевшую на проволоке костяную ручку, в прихожей зазвенел колокольчик, послышались шаги, звякнул откинутый крючок. Дверь открыла весёленькая свеженькая горничная.

— Вы Федосеев? Проходите, вас ждут. — Она приняла шинель и фуражку. — Пожалуйте, вот в эту дверь, к молодому, старший сегодня занят.

За дверью, на которую указала горничная, шёл громкий и беспорядочный разговор. Николай, вскинув голову, забросил назад волосы и вошёл в комнату. Тут было людно и дымно. Васильев выскочил из-за стола.

— Опаздываешь, дорогой. Знакомься вот, а я пойду распоряжусь насчёт чая.

Николай подошёл к двум девицам, очень похожим друг на друга. Одна назвалась Полей, другая — Соней. Рядом с ними на кушетке сидел, уткнувшись в журнал, тощий студент в форменной тужурке. Он не поднимая головы и продолжая читать, привстал и протянул руку.

— Санин.

Николай глянул в угол, увидел сквозь дым Ягодкина, обрадовался, заспешил и, знакомясь с остальными, не присматривался к ним, не старался запомнить их имена и фамилии.

Ягодкин поздоровался с ним двумя руками, подставил ему свой стул, а сам сел на подоконник. Разговор возобновился, люди вернулись к прерванному спору. Ягодкин, пользуясь шумом, заговорил с Николаем.

— Рад вас видеть. Всё как-то не удавалось встретиться. Вы почему тогда сбежали?

— Когда? Откуда?

— Из дома за Арским полем.

— Слишком злобно там ругали Плеханова. Злобно и бестолково. Противно было слушать.

— Да, кричали безобразно. Я сам хотел сбежать и догнать вас. Вы мне понравились с первого раза. В тот день, когда Гурий познакомил нас в лавке Деренкова. Помните?

— Помню, конечно.

— Гурия выпустили.

— Выпустили? Хорошо, очень хорошо!

— Слышал, вы были знакомы с Мотовиловым. Это правда?

— Да, был знаком. Так, поверхностно. А вы всё ещё мечтаете

о бомбе?

— Да бросьте, Плетнёв тогда пошутил. Я в березинскнй кружок ходил, да скучно стало. Говорят всё об одном и том же — о спасительном мужичке.

Вошёл Васильев с огромным нагруженным подносом, а горничная принесла самовар с пузатым чайником на конфорке.

— Прошу, господа, — сказал Васильев, освободив поднос и передав его горничной.

Маленький столик, голо стоявший в центре комнаты, был теперь заставлен чашками и вазами, наполненными разной кондитерской снедью — конфетами, сахаром, пряниками, сухарями и сдобными подковками. Среди белого фарфора и сверкающего хрусталя остался тускло-жёлтый человеческий череп, из которого поднимался дымок от окурков.

— Господа, угощайтесь, — сказал хозяин.

Разговор притих. Девицы поднялись, взяли конфет и опять сели на кушетку. Санин тоже встал и, не отрываясь от журнала, нащупал вазу, зацепил сухарь, сунул его в рот, опустился на кушетку и захрустел, продолжая читать. Все остальные, окружив столик, стали разбирать чашки, а потом сгрудились в очереди у самовара. Каждый, налив себе чаю, брал что-нибудь со стола и возвращался на своё место. Только один человек, тонкий, юный, с печальными глазами и тёмной бородкой, отрешённо ходил вокруг столика, заложив руки за спину. Он удивлял Николая поразительным сходством с Христом.

Санин, верно, дочитал какую-то статью, повернулся к стене и сунул журнал на полку, беспорядочно заваленную книгами.

— Ну, что нового в «Русской мысли»? — спросил его сидевший напротив парень босяцкого вида.

— Спор восьмимесячной давности, — сказал Санин. — Шелгунов разносит «Неделю». Чёрт знает, до чего докатилась эта газетёнка! Предлагает бедствующим интеллигентам поприще деревенских лавочников,

— А что, пеилохо придумано, — сказал «босяк». Облокотившись на колени, он держал чашку в ладонях и изредка отпивал горячий чай. — Ей-богу, совет неплохой. В деревнюо, братцы, надо подаваться.

— В лавочники? — спросил Санин.

— Пахать, пахать принимайтесь, мужчины, — сказала Поля. — Вон Толстой понял, как надо жить. Россия — страна пахарей, псе остальные сословия — нарост.

— И рабочие? — сказал Санин.

— Да, в России и рабочие — нарост.

— Ага, можно, значит, обойтись и без них? Но почему же вы

не носите посконного платья? Нарядились вот в тончайшее сукно.

— Не беспокойтесь, могу надеть и холщовую рубаху. Пока приходится одеваться так, как у вас тут принято. Чтобы не выглядеть среди вас чудачкой.

В деревне не только платье, но и эту изнеженную кожу сменим. Если вы боитесь сохи — возьмёмся мы, женщины.

— Слушайте, — сказал Санин, — кому вы там нужны, в деревне? Оттуда бегут даже те, кто вырос на земле. Бросают наделы и удирают в город.

— Потому что мы соблазняем своей лёгкой жизнью. Да, община тяжело больна, но она справится, если мы ей поможем.

Ягодкин налил две чашки чаю и одну подал Николаю.

— У нас в кружке вот так же рассуждают, как эта курсистка. Наивные люди.

Николай глотнул чаю и посмотрел на Ягодкина.

Этот ветеринар с гоголевскими волосами и молоденькими усиками, кажется, уже отошёл от народников.

— Послушайте, как разошлась девица-то, — сказал Ягодкин.

Николай поднялся, подошёл к столу, поставил чашку на угол и глянул на Полю.

— Чем же вы поможете мужику? — спросил он. — Возьмётесь за соху? Но у него и на свои руки не хватает земли. Потому и бежит в город, что не может прокормиться наделом. Вам придётся пойти к тому, кто поднимается над общиной. Пожалуйста, он вас примет. С радостью. Как же, вы поможете ему доконать тех самых общинников, которым так горячо сочувствуете. Впрочем, он не нуждается в вашей помощи, этот пахарь. У него есть деньги, значит, есть и работники.

— Братцы, это же из плехановской песни, — сказал «босяк». — Расслоение деревни, разложение общины, денежное хозяйство и прочее и прочее. Скучнейшая теория. Бездушная. Маркс рассовал общество но клеткам и потерял человека. Не потерял, а просто выбросил. Ему нужны массы, а не человек.

— Оставим Маркса, — сказал Николай, — не будем судить о нём понаслышке. Давайте обратимся к нашей деревне. Вы хотите ей помочь. Но ведь надо её знать. Как она живёт? Куда движется?

Юноша с бородкой Христа, всё ходивший по комнате, вдруг остановился и повернулся к Николаю.

— Куда движется? Этого знать никому не дано. Ни народникам, ни марксистам. Что мы вообще знаем? Суесловим, ломаем головы, горячимся, а жизнь идёт себе своими путями. Нас не спрашивает. Попусту, господа, шумим.

Николай взял свою чашку, сел на стул.

— Выходит, от всего отказаться? — сказал он.

— Да, да, молодой человек. Отказаться. Только отказавшись от переустройства мира, мы начнём его переустраивать.

— Вздор! — крикнула Поля, но юный Христос, протянув к ней руку, выставил ладонь.

— Не спешите, барышня, — сказал он и опять зашагал вокруг стола. — Когда мы устраняемся от исправления мира, тогда-то и начинаем ого исправлять. Сила, которая бессмысленно творит бедствия, должна была натолкнуться на наше сопротивление, чтобы эти бедствия состоялись. Чем больше мы сопротивляемся страданиям, тем глубже в них погрязаем. Не сопротивляться надо, а просто уйти. Пора понять, что пет н никогда не будет ни земного, ни загробного счастья. Не рвитесь вперёд, отступите, и тогда бессмысленная стихия окажется в пустоте, ей не из чего будет делать бедствия.

— Да вы, кажется, неплохо знаете Гартмана, — сказал Николай.

— Я не выдаю себя за вероучителя, молодой человек. Не своё говорю. Но это не столько Гартман, сколько великий Будда.

— Согласен. И что же, если Будда?

— А то, что это единственный, кто не ошибался. Людям понадобилось двадцать пять веков муки, чтобы убедиться в его правоте. Да что двадцать пять! Ещё столько же будем биться, пока все убедимся. Едва встанем на ноги и сразу кидаемся на стену, а она всё стоит и стоит. Седеем, лысеем, сдаёмся. Шабаш, сил больше нет, всё напрасно. А следующее поколение опять бросается. Господи, да оглянитесь же, посмотрите на могилы. — Юноша обернулся и указал почему-то на дверь, и все повернули туда головы, а он опять зашагал вокруг стола. — Позади миллиарды крестов и памятников, но мир нисколько не стал лучше. Куда вы лезете? Остановитесь, послушайте мудреца. Неужели вам недоступна его простая истина? Вам, вам, молодой человек. Недоступна?

— Неприемлема, — сказал Николай. — Мне ближе совет нашего поэта. Лучше, ратуя, пасть и вырвать победный венец у богов. Я неточен. Кто помнит эти стихи?

— Тютчев? — спросила всё время молчавшая Соня.

— Да, Тютчев. Помните? Прочтите.

Соня облокотилась на колено, оперлась лбом на пальцы. Потом прочитала:

Мужайтесь, о друге, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадёжна!

— Слышали? — прервал юный Христос. — Без-на-деж-на.

Безнадёжна ваша борьба.

— Но без неё ещё безнадёжнее, — сказал Николай. — Без неё нет жизни, нет человека. Вы вместе с Гартманом (извините, с Буддой) хотите оставить творящую силу в пустоте, без материала. Хотите привести её в первоначальную потенцию. Иначе говоря, хотите уйти в небытие. Так уходите, а мы предпочитаем оставаться пока в этом мире. Падать и побеждать. «Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком, тот вырвал из рук их победный венец».

Все задвигались, одобрительно заговорили, а девицы даже захлопали в ладоши.

— Но обождите, — сказал Николай. — Не спешите, Пелагея…

— Поля. Я просто Поля.

— Не спешите, Поля, рукоплескать мне. Я хочу всё-таки поспорить с вами.

— А ну, давайте, давайте, — сказал «босяк» и, поднявшись, подошёл с чашкой к самовару. — Давайте, мы слушаем.

Гости Васильева теперь смотрели на Николая, и он понял, как они видят его, аккуратного гимназиста, слишком чистого в этой компании, слишком изящного в этом мундире, сияющем серебряными пуговицами.

Ему стало неловко и от своих слов, гимназически красивых. Он чувствовал, что краснеет.

— Я готова, — сказала Поля.

Гости уже не пили чай, и все, кроме «босяка» и девиц, курили. Курили и смотрели на Николая.

— Откройте там дверь, — сказал Васильев, — а то мы закоптим наших барышень. — Он явно выручал своего внезапно смутившегося друга. — В следующий раз не захотят ко мне.

— Ничего, мы сами можем закурить, — сказала Поля. — Она встала, подошла к рыжему бородатому парню, взяла у него папиросу и снова села на кушетку. Санин поднёс ей зажжённую спичку.

— Я жду, — сказала она, прикурив.

— Вот вы решили бороться сохой, — сказал Николай. — А один из нас тут готов пойти в деревню лавочником. И другие могут подыскать там себе дело. Понаедем туда и возьмёмся поднимать общину. Но что такое современная сельская община? Этого мы не знаем. Давайте тогда спросим тех, кто хорошо изучил её. Скажем, Златовратского. Человек, кажется, сведущий.

— Да, Златовратский — дельный писатель.

— К тому же горячий защитник общины.

— Совершенно верно.

— К тому же и ваш учитель.

— Горжусь.

— И вы, конечно, верите ему.

— Несомненно.

— И конечно, читали его «Устои».

— Ещё бы!

— Так вот, есть в этом романе симпатичный мужичок. Добрый, умный. На таких и надеются Михайловский и его ученики. Такие, мол, отстоят общину, спасут Россию от капитала. Но что же случилось с героем Златовратского?

— Он предал общину, — сказала Поля.

— Ха, предал! — сказал Санин. — Пустые слова. Он просто стал кулаком.

— А наставница его погибла от чахотки, — сказал Ягодкин. — Тоже народница.

Юный Христос сидел теперь у окна и задумчиво смотрел на улицу, никого не слушая.

— И что же вы хотите доказать? — сказала Поля, картинно откинув руку с папиросой и глядя на Николая с усмешкой.

— Община расползается, — сказал Николай. — Разваливается. И никому её не спасти. Мужикам она не нужна. Кто посильнее, тот поднимается и начинает подминать слабых, а те бегут в город.

— Но ведь не к этому зовёт Златовратский!

— Нам наплевать, куда он зовёт, — сказал Санин. — Ратует за общину, а показывает её развал.

— Все они так, — сказала Соня

— Кто все? — спросила Поля.

— Ваши певцы мужицкой России. Начинают песней, кончают плачем. Или фальшивят.

Николаю сначала казалось, что эти девицы, так похожие друг на друга, в одинаковых суконных платьях, с одинаковыми высокими причёсками, ни в чём не расходятся, по, когда Соня заговорила, он сразу увидел в ней Полину-противницу и свою союзницу.

— Вы совершенно нравы, — сказал он и, поднявшись, поставил перед собой стул, — Никому из писателей ещё не удалось показать ни крепкую общину, ни живого борца за мирское дело. А пытались многие. Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефёдов, Каронин. — Кто-то громко предупреждающе кашлянул в другом углу, Николай глянул туда и увидел, что Васильев мигает ему и показывает глазами на дверь. — Что, слишком рискованно говорю? Потише?

— Нет, — сказал Васильев, — тут не опасно. Только

Каронина не ругай. Он у брата в гостях.

— Ну, это ничего, — улыбнувшись, сказал Николай. — Я не собираюсь его разносить. Преклоняюсь. Талант. Да и всех их бог не обидел. Все они сильны, пока не отступают от правды. Но как только начинают воспевать идеального общинника, тут же срывают голос. Никак не получается этот желанный герой. Герой, которого хотят видеть ваши вожди. Не выходит он.

— А Кряжев Засодимского? — сказала Поля.

— Подделка, — сказал Санин.

— Неправда, это настоящий богатырь. Воплощение народной деятельной силы.

— Но ведь он на ходулях, ваш богатырь, — сказал Николай. — Правда, иногда он по подчиняется своему создателю, бросает ходули и идёт на своих ногах. Становится живым человеком. Таков он в конце романа, когда уходит в город. Тут он признается в своём бессилии. «Ни лешего не сделано!» — Николаю пришлось помолчать, потому что юноша с бородкой Христа вдруг поднялся и вышел. — Да, здесь Кряжев нрав. Действительно ведь ни лешего он не сделал. Уговорил мужиков завести свою общественную лавку, но она не смогла тягаться с кулацкими магазинами. Сколотил ссудно-сберегательную кассу, но мужички взяли деньги и не смогли их вернуть, пришлось потом выдавать только тем, кто способен рассчитываться, то есть состоятельным, а эти состоятельные и без того имели большие обороты, скупали помещичьи земли, заводили хутора, строили крупяные заводы, солодовни и кабаки с задними крылечками. Кряжев, я думаю, понял, и нам бы пора, господа, понять, что капитал уже задушил общину и наши надежды на неё напрасны.

— Значит, никакого выхода? — сказала Поля. — Уходить с поля битвы? Чего же вы тогда спорили с человеком, который предлагал от всего отказаться? Чтобы только поспорить? Или знаете какую-то другую дорогу?

— Искать надо.

— Где? В Европе?

В прихожей послышался громкий разговор, и за открытой дверью показались хозяин и его гости.

— Зайдёмте к нашей молодёжи, — сказал профессор и повернулся к двери, белогрудый, в элегантном чёрном сюртуке. Отступив, он пропустил в комнату гостей. Их было двое: Анненский и Каронин. Николай мельком видел несколько раз того и другого, хотел даже у кого-нибудь из них побывать, но теперь они жили в Нижнем. Видимо, приехали навестить Казань, и общительный публицист потащил по своим знакомым этого диковато-застенчивого писателя. Каронин, худой, болезненный, в

стареньком пиджаке и помятых брюках, стал посреди комнаты и пугливо осмотрел молодую компанию. Девицы вскочили с кушетки, попросили его сесть, но он не сдвинулся с места. А краснолицый, красиво седеющий Анненский прохаживался по комнате и улыбался, и от него веяло спокойной радостью. Казалось, что этот человек хорошо знает, в чём настоящее человеческое счастье и как его добывать. Может быть, он, прославленный статистик, открыл что-то в своих цифрах?

— Ну вот, Николай Елпидифорович, — сказал он, — это всё кандидаты на то место, откуда мы с вами выбрались. Всех ждёт ссылка. Но вы не боитесь, господа. Ничего страшного. Студенты?

— Да, большей частью, — сказал младший Васильев.

— Хорошо пошумели. Казань но отстала. Некоторые из ваших угодили к нам, в Нижний. Помогаем, подыскиваем работу. В Нижнем-то жить можно. Милости просим. Только не все сразу, а то куда же вас там пристроим? Этих, Николай Елпидифорович, на каторгу не загонят. Как вы думаете?

— А за что же их на каторгу-то? — сказал Каролин, перебирая пальцами редкую длинную бороду.—

Они ведь без бомб идут.

— Вот именно — без бомб. Самое большее, что вам грозит, господа, — гласный надзор где-нибудь в Архангельской губернии. Или в Иркутской. Ну, и посидеть, конечно, придётся. Это тоже неплохо. В тюрьме хорошо думается. Не будем вам мешать, юноши. Счастливого плаванья.

Гости старшего Васильева удалились.

— Пожалуй, и нам пора расходиться, — сказала Поля.

— Да, пора, — сказал «босяк», вставая. За ним поднялись ещё трое.

Было понятно, почему так поспешно ушли эти молодые люди: им захотелось проводить знаменитого писателя и не менее знаменитого публициста-статистика — догнать их, поговорить или хотя бы пройти несколько шагов рядом, чтобы потом вспоминать всю жизнь. Николай впервые позавидовал славе властителей дум. Потом он заметил, что знаменитости увлекли за гобои только Полиных сторонников, а те, в ком он уже почуял своих единомышленников, остались в комнате, даже Соня не бросилась за подругой.

— Ну что ж, друзья, — сказал Васильев, — в нашем полку убыло. Не будем горевать. Возобновим трапезу. — Он взял за ручки самовар. — Николай, прошу за мной.

В прихожей на Васильева налетела горничная.

— Опять сами? — прикрикнула она. — Как вам не стыдно? Неужели не могли меня позвать? Давайте.

— Ничего, ничего. голубушка, — сказал он, отстраняясь. — За мной, за мной, Николай!

В кухне Васильев отдал самовар кухарке, попросил долить и вскипятить, повернулся к другу и хлопнул его по плечу.

— Поздравляю с хорошим уловом! Этих можешь считать уже своими. А теперь вот что, милейший. — Васильев вынул из кармана брюк маленький конвертик без марки, — Передали девицы из повивального института, не могли тебя разыскать.

Николай разорвал конверт, достал из него записочку, в ней оказалось всего несколько слов: «Уезжаю в Астрахань, пробуду там все святки, не беспокойся, всё хорошо. Аня».

— Во, расплылся, — сказал Васильев. — Понимаю, что за корреспонденция. — Николай обнял его. — Ну ладно, ладно, не тай. Смотри не променяй дела на чувства. Я ничего не расспрашиваю, идём к ребятам.

Когда они подошли к комнате, в прихожей зазвенел колокольчик. Васильев пожал плечами и открыл входную дверь. Вошёл замызганный мужчина с чёрной короткой бородой.

— Я Сомов, — сказал он. — Николай Елпидифорович у вас?

— Только что вышел, — сказал Васильев. — Увёл его один нижегородец.

— Жалко. Что ж, догонять не буду. — Сомов снял и повесил за пуговичную петлю обшарпанное пальто, засунул в его карман шапчонку, подошёл к Васильеву.

— Вы, должно быть, братец профессора?

— Да, брат. Вы с ним знакомы?

— Не имею нужды. А вас, гимназист, я где-то встречал. Не Федосеев?

— Нет, мы нигде не встречались, — сказал Николай. Он действительно никогда не видел этого человека, хотя знал, что есть в Казани сомовский кружок.

— Чего же вы стоите? — сказал Сомов. — Приглашайте.

— Пожалуйста. — Васильев открыл дверь.

Сомов вошёл в комнату первым.

— А, у вас тут сборище. — Он потёр красные обветренные руки и принялся ходить взад и вперёд от двери до столика. У него совсем не было шеи. и голова сидела прямо на крутых толстых плечах. — Ну, — сказал он, — понравился вам Каронин? Что молчите? Ещё не поняли его? Толковый писатель. Даровит. Только не дали ему развернуться. Россия. Задохнулся человек.

— Вы в Казани с ним познакомились? — спросил Васильев.

— Хе, в Казани! Нас ссылка свела. Помытарились. Сибирь жестока. Вот барышня напрасно рискует. Замуж надо. Рожайте, растите крепких мужчин. Вот ваше дело.

— Я, кажется, с вами не советуюсь, — вспыхнув, сказала Соня, — не спрашиваю, как мне жить.

— Ну вот, сразу в обиду. — Сомов смолк, задумался, и в его некрасивом лице, только что казавшемся отталкивающе наглым, Николай уловил что-то садняще жалкое.

Горничная принесла самовар.

— Чайку, может, выпьете? — сказал Васильев.

Сомов тряхнул головой и подошёл к столику.

— Могу, могу. Это могу.

Хозяин наполнил чашку, подал Сомову, тот принял её в левую руку, а правой захватил в вазе две сдобные подковки и опять стал сновать между столиком и дверью. Так на ходу он и ел, изредка отхлёбывая из чашки.

Было ясно, что разговора при Сомове не получится. Гости собрались уходить, и хозяин не стал их удерживать.

— Я тоже пройдусь с вами, — сказал он.

— Надолго? — спросил Сомов.

— Да с часок поброжу.

— Ну ладно, идите, а я поем да прилягу вот отдохнуть на кушетке.

Васильев позвал горничную.

— У меня тут человек остаётся, — сказал он ей. — Пусть отдохнёт. Вам больше ничего не надо, господин Сомов?

— Да не мешало бы чего-нибудь мясного.

— Пойди, голубушка, спроси у кухарки, что там есть.

Васильев оделся и вышел с гостями на улицу.

— Вот он какой, Сомов, — сказал Ягодкин. — Такой нигде не пропадёт. Не стесняется.

— Братцы, он заслужил, чтоб мы пригрели его и накормили, — сказал Васильев.

— Да, заслужил, конечно, — согласился Николай.

— Жалею, что надерзила ему, — сказала Соня.

— Ну, расчувствовались, — усмехнулся Санин.

Они шли к центру города серединой тихой узкой улочки. Было тепло, лоснилась укатанная снежная дорога, местами зеленовато окрашенная размазанным конским помётом. Шли шеренгой, придерживали друг друга, потому что скользили. Впереди катились под горку мальчишки на салазках.

16

— Она в Сингапуре, — сказал кто-то совершенно явственно, и Николай открыл глаза, но в камере никого не оказалось, и он опустил тяжёлые веки и опять отчётливо услышал те же слова, и они, твёрдые, вдруг распухли, очутились у него на груди, и он снова принялся распутывать и разделять тонкие волокна. Наверно, уже больше ста лет распутывал он эти жёлтые шелковистые волокна и всё ждал, что мука вот-вот кончится, но конца ей не было.

— Она в Сингапуре! — раздалось опять. Николай вздрогнул, глянул на дверную форточку и увидел в ней усатое лицо.

— Кто в Сингапуре? — спросил он. — Анна Григорьевна? Она сбежала?

Форточка захлопнулась.

— Бредит, — сказал за дверью надзиратель. — Не будете заходить?

— Вечером, — ответил ему кто-то и пошёл прочь, чеканя шаги по балкону, а форточка снова открылась, и показалось то же усатое лицо.

— Давно я лежу? — спросил Николай.

— Одиннадцатый день, — сказал надзиратель. — У вас тиф.

— Попятно.

— Может, чего-нибудь поедите?

— Пока не могу.

Надзиратель захлопнул форточку. Николай подтянулся к изголовью, привстал, опираясь на локоть. Так, значит, одиннадцатый день без сознания. Без жизни. Погибшее время. Проклятый пучок! Откуда он взялся? Замучил. Закрой сейчас глаза — опять придётся распутывать. Нет, не надо поддаваться. Кто это приходил? Видимо, доктор. Вечером зайдёт.

Доктор, не дождавшись вечера, явился через час. Он искренне обрадовался, увидев, что больной сидит.

— Ого! Уже поднимаемся? Молодцом! — Подошёл к Николаю, приложил руку ко лбу, потом пощупал пульс, прослушал сердце. — Прекрасно, молодой человек! Не надеялся. Благодарите свой сильный организм. Аппетит ещё не появился?

— Хочется печёной картошки, — сказал Николай. — Знаете, такой рассыпчатой, с лопнувшей кожурой. В детстве удалось отведать. Осенью раз попал г. деревню, когда мужики убирали огороды.

— Картошки, говорите? Печёной? Лучше бы, конечно, пюре. Ну да ладно, риск небольшой. Уважим. Попрошу повара —

испечёт.

— Спасибо. Вы очень внимательны к нашему брату.

— Думаете, сочувствую политикам? Нет, господа, я вас не одобряю. Фантазия. Болезнь молодости. Сам когда-то бредил — прошло. И у вас, конечно, пройдёт. Заблуждаетесь вы, господа. Жалею, но не сочувствую. Для меня нет ни нашего, ни вашего брата. Есть больные, и их надо лечить. Поправляйтесь.

Николай поправлялся. Телесно он был ещё слаб, но физическая немощь нисколько его не омрачала. Он чувствовал себя необыкновенно чистым и светлым, как будто этот тиф поглотил все мутные осадки. Где-то к глубине сочилась влитая Анной грусть, но она сейчас обогащала чувства. Он радовался и этой грусти. Никогда ему но было так хорошо, как теперь. Тяжёлый сводчатый потолок и толстые стены не мешали воспринимать мир во всей полноте — в движении, в бесконечной протяжённости, Жизнь врывалась и открытое окошко сквозь решётку, жизнь хлестала из каждой книжной строчки, жизнью полны были все окружающие вещи. Николай понял, что по-настоящему сильного человека невозможно изолировать, у него ничего нельзя отнять.

На получасовой прогулке он столько вдыхал запахов, столько заглатывал воздуха, столько впитывал солнца пли дождевой влаги, что другому, вольному, но равнодушному к жизни, не вобрать этого за целью сутки.

Ему опять разрешили «открытую койку» и пока не давали работы, и у него было много свободного времени, он успевал и читать, и обдумывать свою работу, и переписываться с тюремными друзьями.

Однажды в его комнату вошёл Сабо. Он был неузнаваем — добрый, упивающийся своей добротой и растроганный ею.

— Вы думаете что? Только и стараемся прижать вас? Нет, мы тоже не без души. И она ноет, душа-то. День и ночь ноет. Средь самого несчастья живём. И если строги — в вашу же пользу. Наше святое дело — возвращать заблудших, а это не так легко. Непокорны вы, непокорны. Тяжело. Хотел я до предела вас довести, но не выдержал, сжалось сердце. Нате, пользуйтесь. — Начальник положил на стол журнал. — Из Нижнего, от Павла Николаева Скворцова. Тут его статья. Статья, прямо скажем, нам не нравится, да уж ладно, читайте. Небось, полковник Гангардт такого вам не позволил бы. Как здоровье-то?

— Хотел вас освободить от заботы, — сказал Николай, — но решил ещё пожить, и, кажется, не раскаюсь — начальство-то добреет.

— Изволите иронизировать?

— Нисколько. Очень рад. Большое спасибо. Теперь будет легче.

— Ну и слава богу.

Начальник вышел, и тут же вошёл молодой надзиратель, стоявший во время разговора за дверью.

— Что вы с ним сделали? Идёт, утирает платком глаза. Никогда его таким не видели.

— Умилился своей добротой, — сказал Николай.

— Пожалуйте гулять.

— Не пойду. Можно?

— Как хотите.

— Остаюсь. Только камеру не закрывайте, пусть проветрится.

Николай впервые отказался от прогулки. Он бросился к столу и схватил журнал. Так, «Юридический вестник»! Два номера в одной книжке. В обоих статья Скворцова. «Итоги крестьянского хозяйства на южном трёхпольном чернозёме». Ну-ка, ну-ка, чем угостит Павел Николаевич?

Статья оказалась умной, серьёзной, но далеко не личной: в ней не было скворцовского характера, его иронии, его высокомерной усмешки. А цифрами дотошный марксист оперировал блестяще. Он и раньше был в этом силён, теперь же дошёл до подлинного совершенства. Как же, он жил сейчас в Нижнем, где работал знаменитый земский статистик Анненский, восхищавший своим талантом не только старых народников, но и молодых марксистов.

Да, цифры Скворцова были логичнее его слов, они действовали самостоятельно и зачастую не подчинялись публицисту, протестуя против его выводов, но эти противоречия не раздражали Николая, а всё сильнее разжигали его мысль, и он, схватив карандаш, торопливо подчёркивал диссонирующие строки, кидал на поля огромные вопросительные знаки. Временами он вскакивал и быстро шагал по камере, бросаясь в спор со своим другом. Нет, Павел Николаевич, ты слишком прямолинеен. Разрушая надежду народников на патриархальную Русь, ты радуешься прогрессу в крупном земледелии и в индустрии. Ты торжествуешь, Павел Николаевич. Ты уже видишь, что в России наступила эпоха капитала, что она уничтожила всю феодальщину. Но ведь ничто не приходит на чистое место, ничто не оставляет его чистым. Явления не разделяются перегородками. Пойми это, марксист. Ты вот считаешь, что крепостничество подкосил «опыт всех веков и народов», показавший невыгодность рабского труда. Как просто! Стал хозяйственный строй невыгодным — долой его. Нет, так не бывает. Крепостную систему подточило зародившееся в её утробе товарное

производство. Вступив в торговлю, помещик заложил мину под свою феодальную крепость. Но он не подозревал этого, десятилетиями экспортировал свой хлеб, всё больше распаляясь и выкачивая деньги из земли. Он перешёл с барщины на оброк, чтобы получать чистоганом с мужика, а тот, не в силах что-нибудь выжать из скудного земельного клочка, занялся кустарным промыслом — ступил на ту дорогу, которая потом повела его в город, на фабрику, к капиталисту.

К ночи Николай прочитал всю статью, а утром уже писал Скворцову большое письмо. Возражения развёртывались в обширные доказательства, и он радовался, что спорная статья друга вызвала столько новых мыслей. Он писал о причинах падения крепостного хозяйства. Причины. Их ещё никто из историков не вскрыл, и Николай, размышляя сейчас над ними, вдруг понял, что именно ему, раз он взялся исследовать русскую общину, придётся ответить и на вопрос, почему пала её мачеха — крепостная система.

Вопрос этот, внезапно, но естественно выплывший из темы общины, с каждыми сутками разрастался, усложнялся, заставлял непрестанно думать, и Николай не отступал от него ни в бессонные часы белой ночи, бледно глядевшей в окошко, ни утром за книгой, ни днём во время тюремной работы (опять приневолили клеить коробки), пи в письмах друзьям, ни на прогулке.

На прогулках теперь было гораздо свободнее: поразъехалось лишнее начальство, отпустили в деревни многих надзирателей, а те, что остались, ожидали своей очереди на летний отдых и, довольные послаблением контроля, не кричали, не придирались, не запрещали арестантам выходить из строя, даже останавливаться и разговаривать.

Николай впервые с зимы встретился с Масловым. Сначала они говорили на ходу, потом остановились и повернулись друг к другу, и Николай увидел, как изменилось, побелело и утончилось, окаймившись мягкой бородкой, лицо бывшего молодого казака.

— Вот теперь ты действительно смахиваешь на поэта, — сказал Николай. — Пишешь стихи-то?

— Пишу. А что тут больше делать?

— Санин не одобряет, но я с ним не согласен. Лучше в стихах изливать хандру, чем просто хандрить. Не нравятся мне твои последние письма. Тоскливые.

— Сдаю, брат, сдаю. Весной накатило. Вспомнил родной Урал и затосковал. До сих пор не могу прийти в себя.

— Читай, не оставляй пустого времени.

— Ничего не идёт в голову.

— Я передам тебе статью Скворцова. Уверен — захватит. Толково пишет, но сам себе противоречит. Высказал ему свои возражения. Как думаешь, ответит?

— Ответит, по возражений не примет. Не таков он. С Григорьевым переписываешься?

— Получил одну ответную записку. Спрашивал про Анну — молчит. Непонятно. Встретились — обрадовался, а сейчас вот замкнулся.

— Как он выглядит?

— Почти такой же, каким был. Свежий, розовый.

— Что ж, ему пока везло. Мало сидел. Ничего. «Кресты» сотрут эту розовость.

— Ты что, злорадствуешь?

— Нет, Коля, не злорадствую, до этого ещё не дошёл.

— Какой запах! Чуешь?

— Да, сеном пахнет.

Они осмотрелись. Лужайка, окружавшая каменную площадку, была скошена, и трава, ещё зелёная, но уже засыхающая, лежала прямыми осевшими валками, и на одном из них, ближнем, Николай увидел большого шмеля, перебиравшего лапками и пытавшегося перевернуть ссеченную розовую клеверную головку.

— Время, Петрусь, идёт, — сказал Николай. — Оно за нас. Торопится. Вот и лету скоро конец. Останется осень и половина зимы.

— Да, половина зимы — и свобода. Только кому?

Всем, что ли? Вас выпустят, а мне и Сомову ещё куковать да куковать. И никто из вас не взгрустнёт даже. Конечно, лишь бы самим вырваться. Уже сейчас забыли.

Нет, Николай не забыл. Он хорошо помнил, что Маслов и Сомов арестованы позднее и что выходить им — тоже позднее. Помнил, но вот почему-то оговорился, и получилось, будто он думал только о себе. Маслова это больно обидело.

Минуту они молчали. Стояли на краю площадки, и за их спинами слышался глухой топот арестантов, беспорядочно шагающих по плитняку.

— Прости, Петрусь, — сказал Николай. — Ушиб тебя. Растравил. Тебе и так тяжело, а я тут о нашем освобождении… Но неужели ты допускаешь, что забудем вас? Навсегда связаны. Встретимся. Не так уж долго останется сидеть вам. Крепись, дорогой.

— Да что ты утешаешь? — Маслов теперь стыдился своей слабости и злился, скрывая этот стыд, — Не надо меня уговаривать, не слабее других. Напрасно беспокоишься. — Он

смотрел себе под ноги, отворачивался от Николая, но потом всё-таки глянул ему в глаза и уж больше не смог ни играть, ни капризничать. И, взяв его за локоть, внезапно прижался плечом к плечу. — Извини, друг, — сказал он. — Глупости всё говорю. Просто я страшно вымотался. Выбился из сил. Но ничего, возьму себя в руки. Передай, пожалуйста, Скворцова. Попробую читать. Может, он в самом деле захватит. Наш ведь.

— Наш, и в столичном журнале! Начинаем пробиваться в литературу.

К ним подошёл молодой надзиратель, давнишний добрый знакомый Николая.

— Господа, заканчивайте, — сказал он. — Десять минут лишних гуляем.

— До встречи, Коля, — сказал Маслов. — Жду скворцовскую статью.

Статью Николай передал в тот же день и через того же надзирателя, который продлил на десять минут прогулку, чтобы дать друзьям поговорить. На третий день этот надзиратель принёс от Маслова письмо, Петрусь восторгался неизменной антинароднической позицией Скворцова, но тут же бросался в отчаянную драку с этим «железным марксистом», обвиняя его в доктринёрстве.

Журнал вскоре обошёл всех казанцев и всех взбудоражил, и Скворцову только бы радоваться, что его статья так разгорячила заточенных в «Кресты» друзей, по он ответил на возражения Николая насмешливым письмом, не захотев даже снизойти до спора. Николай вскипел, возмутился, но походил с полчаса по камере и успокоился. Как бы то ни было, а один из его товарищей, марксист, пробился в столичную прессу и вступил в спор с вождями народничества. Пускай это выступление ещё и слабо и противоречиво, но оно полезно и своими ошибками, которые подхлестнут и заставят серьёзнее работать единомышленников.

Именно ошибки возбудили Николая. Раздумывая над ними, он всё отчётливее видел, какой огромный материал предстоит ему ещё изучить. Он получил из цейхгауза свои последние книги — несколько томов Максима Ковалевского, которого долго берёг на чёрный день и который теперь, хотя самые чёрные дни остались позади, так пригодился со своим исследованием первобытных социальных форм. Катя прислала немного денег, Николай купил на них два учебника и «Русскую правду». В «Русской правде» он теперь отыскивает следы древней общины и пытается по ним восстановить её образ жизни, а учебники ему нужны для того, чтобы изучить английский язык. Правительство,

встревоженное идейным брожением, пуще всего боится новых мыслей и не позволяет *из*давать лучшие переводные книги, но Николай многое сможет прочитать на немецком и французском, а вот по-английски читать он ещё не может. До освобождения остаётся сто с лишним дней, за это время надо овладеть и английским, и тогда вход в мировую литературу откроется настежь.

Теперь ему не надо клеить папиросные коробки, зато приходится мастерить табуретки, но это дело менее однообразное и более живое, он быстро справляется с тюремным уроком и, переходя от верстака к столу, садится за свою работу. Мелькают сутки за сутками. Давно кончились белые ночи, по вечерам за Невой уже горят фонари, проходят мимо, шипя и всплескивая, пароходы с зелёными огоньками на мачтах, а утрами в открытое окошко сочится запах холодного тумана. За тюремным двором стоят причаленные барки с дровами, и через каменную стену видно, как на них копошатся бородатые мужики в красных рубахах. Днём Николай прерывает на десяток минут столярную работу, поднимается на табуретку, смотрит на мужиков, прислушивается к их вольным голосам и вдыхает чистый воздух. Лужайку, окружающую прогулочную площадку, выкосили вторично, и от неё поднимается сенной запах, чуть отдающий прелью: трава, оставшаяся на отаве, уже не просыхает, хотя идут солнечные дни. Осень, осень!

Щелчок дверной форточки — и Николай спрыгивает с табуретки.

— Приготовьтесь, сейчас пойдёте на свидание, — говорит надзиратель и закрывает окошечко.

Николай остаётся стоять посреди камеры, ошеломлённый, совершенно растерянный. На свидание? С кем? В Петербурге у него нет ни одного знакомого. Приехал кто-то с Волги? Из Казани? Из Нижнего? А вдруг из Царицына? Вдруг Анна? О господи, неужели так неожиданно свалилось счастье? Невозможно унять прыгающее сердце. Но было никаких надежд на свидание, никто не давал ни малейшего повода. Стоп! А булочки? Месяц назад кто-то передал миндальные булочки, точно такие же, какие пекла, бывало, Александра Семёновна. Наверно, она и приезжала. Но но могла же она остаться здесь на целый месяц, чтобы добиться свидания с бывшим своим нахлебником. Нет, это Анна приехала. Анна, Анна! Ну скорей же, скорей! Ведите, что вы там медлите! Как вы можете оставаться равнодушными? Почему не открываете? Ага, шаги. Надо хоть немного успокоиться.

Дверь распахнулась, и Николай, выскочив из камеры,

торопливо зашагал по железной галерее этажа.

Он приглаживал ладонью растрёпанные волосы (когда-то они закидывались назад одним движением головы), одёргивал кургузую куртку, стряхивал с неё опилки и мелкие стружки.

— Господин, руки назад, — сказал сзади надзиратель. — Господин, слышите? Начальство.

Николай закинул руки за спину, спустился с длинной лестницы и остановился на перекрёстке коридоров, у покрытого зелёным сукном стола, за которым сидел старший надзиратель, разговаривавший с пожилым унтер-офицером, толстым, с пышными седыми усами.

— Фамилия? — важно спросил унтер-офицер.

— Федосеев, — сказал Николай.

— Шагайте вперёд. В контору.

Николай повернул в один из коридоров, прошёл по нему шагов двадцать и оглянулся.

— На свидание? — спросил он у шагавшего за ним толстяка.

— Да, на свидание.

— Не скажете — с кем?

— А этого вам знать не положено. Увидите — узнаете. Не разговаривать.

В конторе унтер-офицер посадил Николая отгороженный барьером угол, а сам пошёл мимо столов и писарей в конец длинного канцелярского помещения, к помощнику начальника тюрьмы, перед которым стояла какая-то женщина. Женщина, когда толстяк подошёл к начальническому столу и что-то сказал, обернулась и посмотрела в арестантский угол, и Николай догадался, что к ней и привели на свидание. Очки он забыл в камере, а без них не мог хорошенько рассмотреть посетительницу, но уже понял, что это не Анна, и сразу остыл, радость пропала, осталось только любопытство. Кто же это такая? Высокая, волосы тёмные, гладко причёсанные, шаль на плечах. Боже, неужели Саша Линькова?

Вспыхнула ослепительно солнечная последняя вольная зима. Аня уехала на рождественские каникулы к родным, но Николай скоро узнал, что она очутилась не в Астрахани, а в Царицыне, куда, как можно было предполагать, вернулся из ссылки Митя Матвеев. Три дня Николай потерянно бродил по Казани. Холодно сияло чистое январское солнце, искрился свежий снег, валили по улицам прохожие, летели куда-то в санях с меховыми полостями раскрасневшиеся мужчины и кутающиеся в пышные воротники женщины. Всё двигалось и мчалось мимо, ничем не задевая Николая, не вызывая в нём никаких мыслей. Его давила тоска. И вот из какой-то калитки вышла высокая, в белой горностаевой

шапочке и в заячьей шубке Саша Линькова, падчерица писателя Каронина. Она просто и нежно улыбнулась Николаю, поздоровалась, взяла его под руку и привела к себе в квартиру. В её комнате, в этом скромненьком уголке курсистки, было всё так девически чисто и располагающе уютно, а сама Саша, угощая его чаем, говорила с ним так по-женски участливо, что он почувствовал тёплое дыхание жизни и скоро согрелся. Назавтра они были вместе на катко, а вечером опять пили чай в милой комнате. Потом он заходил к ней почти ежедневно, и она всегда встречала его с праздничной радостью. Потом неожиданно вернулась Аня, и Николай привёл её к Саше, но тёплая комната вдруг оказалась холодной и неприютной, а хозяйка её — убийственно надменной. Саша Линькова. Что её привело сюда? Всё ещё оборачивается и смотрит в это скотское стойло. Не узнает, наверно. Толстяк показывает ей боковой канцелярский закоулок, и она идёт туда, поглядывая в отгороженный барьером угол. Унтер-офицер подошёл к Николаю.

— Пожалуйте вон туда, — сказал он. — Дама вас ждёт.

— Дама?

— Девица, девица.

Женщина сидела на скамье в маленькой, похожей на нишу, комнате без передней стены. Она вскочила, бросилась к Николаю, схватила его за обе руки.

— Коленька, дорогой! — Нет, она не походила ни на Сашу Линькову, ни на одну из казанских девиц и была старше любой из них лет на десять. На щеках у неё, около губ, уже наметились тонкими скобками морщинки, и такие же две тонкие морщинки пересекли высокий лоб. Старили её и чёрные волосы, плотно облегающие голову, и глаза, тёмные и печальные. — Ну что ты растерялся, Коля? Неужели забыл свою бедную кузену? — Она подвела его к скамье, и они опустились на неё.

Толстяк сел поодаль к одному из чиновников и завёл с ним разговор.

— Нас никто не слушает, — сказала женщина. — Я Мария Германовна. Гопфенгауз. Запомнили? Повторите. Ещё раз. Не забудете? Я Маша, ваша кузина. Твоя. Давайте сразу на «ты», чтобы привыкнуть и не сбиваться. Меня прислал Красный Крест. Нелегальный. Скажи, в чём ты нуждаешься?.. Почему молчишь?

— Извините…

— «Извините»? Как мы договорились?

— Извини. Так всё внезапно. Никак не соберусь.

— Нужны, наверно, книги?

— Да, да, книги, книги. Знаете…

— Опять?

— Знаешь, мне очень необходим Эшли. «Экономическая история Англии». Нужна статья Ключевского о земских соборах. Нужны журналы «Русское богатство», «Русская старина». Много мне нужно. Но ведь ничего этого от вас… Ничего этого от тебя не примут.

— Испытаем. Что ещё?

— Больше ничего. — Николай опустил глаза. Он всё ещё не мог примириться с тем, что не оправдалось ни одно из его предположений. Если пришёл бы на свидание, ничего не ожидая, ему сейчас было бы хорошо, а так он чувствовал себя обманутым.

— Коля, ты не стесняйся, — сказала Мария Германовна. — Что ещё?

Он посмотрел на неё с жалостью. Бедная, она думает, что осчастливила.

— Ничего мне не надо, Маша, — сказал он.

— Говорят, заключённым дороже всего новости. Тебе и новости не нужны?

— Да, вот новости рад послушать. Расскажите, что там, на воле. И о себе что-нибудь расскажите. Где вы… Где ты живёшь?

— Здесь, в Петербурге. Курсистка. Отец — врач.

В Барнауле. Дослужился до дворянского звания, но живёт бедно. Семья большая. Я уроками пробиваюсь. Этим летом жила в Саратове. На Волге голодно. Голод охватывает одну за другой губернии… Крестьяне бегут в города и мрут. Интеллигенция собирает деньги, организует столовые, но это не помогает. Появляется холера. Ну, что ещё? Петербургом интересуешься?

— Да, хотелось бы знать и Петербург.

— Какой? Чиновничий? Студенческий? Конспиративный?

— Вы… Ты знакома и с конспиративным?

— Политикой не увлекаюсь, но кое-что для тебя припасла. Я ведь в августе хотела с тобой встретиться — не разрешили. Сказали, что свидания тебе запрещены. Начальник ваш не допустил.

— Сабо?

— Да, Сабо.

— Вот изверг! А ведь приходил в камеру объясниться. Расчувствовался, слезу пустил.

— Булочки мои получил?

— Это твои? Вот оно что! А я столько гадал. Перебрал почти всех знакомых. Получил, получил. Спасибо, Маша. Так что же ты мне принесла?

— Узнала через одну очень хорошую знакомую, что есть в Петербурге… Как ты думаешь — что?

— Не догадаюсь. Говори.

— Социал-демократическая организация. Рабочая.

— Да что ты! — вскрикнул Николай.

Толстяк обернулся и осуждающе покачал головой.

— А он славный, — сказала Мария Германовна. — Хочет, чтоб нас не слышали. И сам не слушает. Говори потише.

— Значит, есть, говоришь, рабочая органнзация? — зашептал Николай. — Социал-демократическая? Вот это здорово! Выходит, появляются русские Бебели? Ну, спасибо, спасибо, Маша.

— За что же меня-то благодари

— За то, что принесла такую новость. Интересно, велика ли эта организация?

— Не скажу. Во всяком случае, на похоронах Шелгунова от неё было человек сто, даже больше.

— Ты была на похоронах Шелгунова? Машенька, расскажи! Расскажи, милая. Извини, я, кажется, уж слишком.

— Ничего, ничего, так и надо. Знаешь, я представляла, что ты очень быстро переходишь от настроения к настроению, и не ошиблась. Ни в чём не обманулась. Думала о тебе и видела вот эти чистые глаза, эту добрую и грустную улыбку. Ну вот, опять потупился. Просто удивительно, до чего верно я представляла тебя. А ведь товарищи из Красного Креста немного о тебе рассказали. Сын надворного советника, гимназист, потом изгнанник, потом глава казанских марксистских кружков.

— Маша, о похоронах, о похоронах.

— Что ж, похороны были необычные. Настоящая демонстрация. Много друзей оказалось у Николая Васильевича. Провожал весь передовой Петербург. И рабочие шли. Со своим венком. «Указателю пути к свободе и братству». Я удивилась, какие это серьёзные и культурные рабочие. Думала, так, стихийно собрались, а недавно узнала, что они из организации. Социал-демократы. У них есть даже свой комитет. Из рабочих.

— Хорошо, очень хорошо! Жизнь идёт. Когда-то в Казани мы только пробовали связаться с рабочими, а тут…

Обернулся и кашлянул толстяк.

— Заканчивайте, — сказал он. — Время вышло.

— Коля, я буду приходить к тебе каждый вторник, — сказала Мария Германовна. — Добилась.

— Спасибо, Маша. Что тебя заставило?

— Захотелось жить более осмысленно. Поможешь?

— Если сумею.

— Я буду ждать твоего освобождения. В январе встречу тут у ворот. До свидания, Коля.

— До свидания, дорогая кузина. До вторника.

Он простился с ней весело, зная, как быстро пролетит неделя,

но только вернулся в камеру и снова остался один, сразу понял, что время пойдёт теперь медленнее, потому что придётся мучительно ждать эти вторники. До сих пор для него не было на свете никакой Марии Германовны, и он не чувствовал, что в мире кого-то не хватает, а теперь вот будет ждать её как близкого человека. Он не мог простить себе того разочарования, с каким смотрел на неё в первую минуту. Он вскочил на табуретку и подтянулся к окошку, как будто мог видеть её, когда она будет проходить мимо тюремной ограды, но взгляд его упёрся в каменную стену двора, потом упал на прогулочную площадку, по которой кружили, шагая друг за другом, арестанты. Среди тощих серых уголовников ходил толстенький короткошеий Сомов в рыжем пальто. Он, видимо, болел, раз в такой тёплый сентябрьский день натянул зимнее пальтишко. Болел, а шагал всё-таки прямо и гордо, демонстрируя перед этой тюремной мелкотой своё величие. Бедный, он уж лет сорок, с тех пор как покончил с детством и осознал свою исключительность, держит себя в постоянном напряжении, чтобы не забыться и не смешаться с толпой. Ни на минуту не перестаёт презирать окружающее, щеголяет эгоизмом, но ведь в душе он добр, очень добр. Жалко его. Жалко? Вот твоя жалость-то и затянула его в «Кресты». Всё запутано. Делаешь человеку лучше, а ему становится хуже. Твоя помощь принесла Сомову новое несчастье. И угораздило же тогда встретиться с ним на улице! Никогда не забыть этого весеннего дня.

17

Накануне собрались друзья, Николай завёл разговор о новом экономическом учении, просидел с ними до двух часов ночи, а проводив их, долго читал Златовратского и уснул только на рассвете.

Спросонок натягивая на себя сбившееся одеяло, он почувствовал, что оно горячее, и прыжком соскочил с дивана. Чёрт возьми, проспал, припекло солнце! Хотел утром закончить реферат по книжке Каутского, и вот тебе на — одиннадцатый час. Надо было попросить хозяина, чтоб разбудил. О этот хозяин! Мало того, что бесплатно отдал свою комнату, так ещё ходит мимо неё на цыпочках. Ишь, ушёл куда-то, ничем не стукнув, не брякнув, и, наверно, матери наказал не тревожить.

Николай пошёл умыться. Хозяйки не было, он не встретился с ней на кухне и, слава богу, избавился от её настойчивого приглашения к чаю. Всем хорош тихий домик, и жить в нём было бы расчудесно, если бы друг-хозяин и его мать не стесняли своей беспредельной заботой. Совестно пользоваться безвозмездными услугами. Вот, пожалуйста, всё приготовлено. С туалетной полочки убран обмылок, вместо него лежит свежая, с отчётливым российским гербом, печатка лучшего казанского мыла с завода Крестовикова. С гвоздика снято старое, ещё из Нолинска, махровое полотенце и повешено новое, льняное, с фабрики Алафузова.

Умывшись, он идёт в свою комнатушку, торопливо собирается и выходит из дома, замкнув его и положив ключ на притолоку.

Сияют, отражая солнце, весенние лужи. Николай щурится, застёгивает на ходу гимназическую шинель, выбирается из грязного переулка на улицу, по булыжной мостовой которой с треском и цокотом несутся выездные экипажи. Сегодня воскресенье, можно и отдохнуть, и не надо досадовать, что пропало утро. Хоть на один день отвлечься от книг, от работы и поиска уроков. В двенадцать — встреча с Аней. Вторая условленная встреча. Уже весна. Ей радуются все люди, идущие по кирпичным панелям. Даже нищие в лохмотьях, тянущиеся к своим норам с полными котомками (праздник ведь), сегодня не так печальны. Даже городовой в чёрной шинели растерял всю строгость и улыбается, как обыкновенный добрый человек, и ни шашка его, ни чёрная шинель, ни красные погоны никого не отпугивают.

Улица переламывается, передний её конец падает под гору и

соединяется там с центром города. Красные, синие, зелёные и коричневые крыши, недавно очищенные от снега и ещё не запылённые, создают яркую мозаику, и в этой красочной пестроте кое-где сияют золотые купола. Виднеется белое здание университета — туда скоро подойдёт Аня, и надо поспешить.

Вышло не так, как осенью. Теперь ждать пришлось ему. Он ходил взад и вперёд вдоль многоколонного здания, притихшего, опустевшего на праздник, и вспоминал, как вот тут толпились зимой полицейские, и с грустью думал об исключённых студентах, разбросанных по глухим губерниям.

Аня появилась внезапно.

— А я долго смотрела на тебя из-за колонны, — сказала она. — Ты даже и не ждал, нисколько не волновался. О чём так задумался?

— Вспомнились друзья. Те, кого уж больше не встретить.

— Да, это горько. Но хоть сейчас-то улыбнись. Вот так. Что будем делать?

— Давай побродим по улицам.

— Мы с тобой ни разу не завтракали, не обедали, не ужинали вместе. Может быть, зайдём куда-нибудь?

Он к этому не готовился, и денег у него было всего тридцать копеек. Правда, он носил с собой кассу Верхне-Волжского землячества, но посягнуть на неё не мог ни в коем случае.

— Куда же мы зайдём? — сказал он.

— Вот под горкой — молочная.

— Молочная? В молочную можно.

— А в ресторан? Милый, я же знаю, как ты живёшь. Деньги у меня есть. Мы можем зайти даже в ресторан, но туда я не хочу. Хочется просто немножко поесть. С тобой. Идём.

Она прижималась к его локтю, а свободной рукой, откинув полу бурнуса, придерживала платье, чтобы оно не задевало за панель. Они свернули на Университетскую, потом спустились коротким проулком под горку.

В молочной они взяли горячих кренделей, топлёного молока и сели в угол за столик.

— Чудесно! — сказала Аня. — Мы всегда можем приходить сюда завтракать. Нет, днём я в институте, далеко, давай забегать сюда вечерком. Хорошо? Голодаешь, наверно?

— У меня же есть уроки.

— Не скрытничай. Знаю, что дают тебе эта уроки. Кефира не хочешь?

— Не хочу.

— Коля, вон какие-то реалисты. Глаз с тебя не сводят.

Николай обернулся — на него смотрели, улыбаясь, Исаак

Лалаянц и Миша Григорьев. Они подзывали его жестами к себе.

— Извини, Аня, я на минутку, — сказал Николай.

Он поднялся и подошёл к реалистам. Исаак вскочил со стула и обнял его.

— Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат! Ну, как вы? Присядьте.

Миша не кинулся обнимать, только привстал и спокойно пожал руку.

— Рассказывайте, — сказал Лалаянц. — Давно не виделись. Гимназию, наверно, уже забыли? А мы вот всё ещё тянем лямку в своём училище. К экстерну не готовитесь?

— Некогда, Исаак.

— Понимаю. Ваша работа стоит того, чтоб отказаться от университета.

— Ну, а как вы? Нашли, к чему приложить силы?

— Конечно, нашли, — сказал Григорьев. — Может быть, не совсем то, что искали, но что поделаешь, если опытные товарищи не хотят помочь. Пойдём своей дорогой.

— Ладно, Миша, не будем вспоминать старые обиды, — сказал Исаак. — И не будем пока делить дороги. Ещё сойдёмся.

— Друзья, близится лето, — сказал Николай. — Многие разъедутся. И студенты, и гимназисты, и реалисты — все разбредутся. Соберутся осенью — тогда и пойдёт настоящая работа. Надеюсь, будущая зима окончательно нас объединит.

— Вас, кажется, ждут? — сказал Исаак. — Родственница?

— Нет, просто знакомая.

— Не задерживаем. Всех благ, дружище.

Николай вернулся к Ане.

— И этих готовишь в кружок? — сказала она.

— Нет, эти уже вступили. Недавно. Понимаешь, в нашем кружке, а ещё не знают, что с нами. Они в ноной группе.

— Всех принимаете, только я остаюсь в стороне.

— Ты знаешь о наших делах больше, чем кто-либо.

— Да, но ты прячешь меня от своих друзей. Смотри, как бы это не кончилось плохо.

— Сбежишь? Однажды я уже подумал, что ты сбежала.

— Когда?

— В декабре, когда ты уехала в Астрахань. Тут как раз студентов высылали, и мне показалось, что ты бросилась за Митей Матвеевым.

— Что ж ты ничего не сказал мне, когда я вернулась?

— Неловко было признаться.

— А ты неплохой психолог. Если бы Митя предложил, я пошла бы за ним. В беде от человека невозможно отвернуться.

— Хорошо, я постараюсь поскорее лопасть в беду.

— Не выдумывай. Ты и так получил своё. Уже заказан.

— Это, Аня, цветочки.

Реалисты покинули свой столик. Исаак, оглянувшись в дверях, помахал рукой Николаю.

— Хороший парень, — сказал Николай. — Когда-то мы с ним жили на одной квартире.

— А этот, розовенький, его друг?

— Да, вместе учатся.

— Значит, они пришли к вам и даже не знают, что завёл их ты?

— Не знают. Я посоветовал познакомиться с ними руководителю нового кружка. Учимся конспирации. Пойдём?

— Да, теперь можно и побродить.

Побродить спокойно, однако, им не удалось. Только вышли на улицу — столкнулись с Ягодкиным, и он отозвал Николая в сторону.

— Знаешь, меня заинтересовала жизнь Ипполита Мышкина. Не сможешь ли достать стенографический отчёт по «Большому процессу»?

— Печатный? Его ведь уничтожили в том же году. Речь Мышкина переполошила правительство, и судебный отчёт сожгли. Сразу, как только он вышел из печати.

— Говорят, есть гектографический экземпляр. Здесь, в Казани.

— Попытаемся разыскать. — Николай видел, как удалялась Аня, которую он мог потерять в текущей толпе. — Разыщем, Костя, разыщем. Через недельку забегу к вам в институт.

Он догнал Аню и взял её под руку.

— Тебя это не раздражает? — сказал он.

— Что?

— То, что меня отзывают.

— Приходится мириться, раз у тебя такие связи,

— Да, связи разрастаются. Надо приводить их в порядок, в действие. Подобралось много людей, и все ждут настоящего дела. Осенью развернёмся. Будет у нас кружков десять, возможно, и больше. И ты войдёшь в самый центр организации. А пока занимайся с девицами. Готовь их к подступу. Знакомь с Марксом. Кстати, с Соней говорила?

— Говорила.

— И как она?

— Будет с нами.

— А её подруга, Поля?

— С той пока не сходимся.

Николай засунул левую руку в карман шипели и нащупал там крохотную хрупкую палочку. Вынул её. Это был обломок крапивного стебля.

— Вот, осталось на память, — сказал Николай и хотел показать эту случайно сохранившуюся грустную реликвию Ане, но кто-то схватил его сзади за локоть. Он оглянулся и увидел смеющегося Плетнёва.

— Гурий! Ты откуда? Выпустили?

— Толкотня, отойдёмте вон туда, — сказал Плетнёв.

Все трое зашли в какой-то закоулочек, но Аня, чтобы не мешать друзьям, отделилась от них, стала в сторонке.

Гурий был в старенькой куртке, а шапку ему заменяли густые волосы, чёрными крыльями падающие на уши. Худой, но неизменно весёлый, он казался удивительно прочным, не поддающимся никаким мялкам. Николай последний раз видел его в лавке Деренкова, много воды утекло с тех пор, многих студентов унесло, а этот всё-таки остался в Казани.

— Ну, выпутался? — спросил Николай.

— Выпутался. Никак не могут меня изгнать. Два раза загребали.

— Знаю. Услышал как-то, что освободили, и пошёл разыскивать в ночлежку, в Марусовку, а там смеются — опоздал, мол, голубчик, опять прибрали. Заинтересовал ты жандармов.

— Заботятся, знают, что жить негде. Зиму продержали в тепле, прокормили, теперь выпустили на подножный корм, скоро пойдёт зелень. А как ваши дела?

— Дела неплохие. Встретимся — поговорим,

— У Деренкова не бываешь?

— Давно не заглядывал. Ты мне очень нужен.

С типографией связь не потерял?

— Заходил вчера. Соглашаются взять на старую работу. Корректором.

— Хорошо. Есть интересная брошюра. «Политическая Россия». Надо её отпечатать.

— Подожди. Мой отчим скоро ляжет в больницу, переберусь в свой дом, вот тогда и займусь. В университет теперь не пустят, времени свободного будет достаточно.

Николай разжал пальцы и подбросил на ладони стебелёк, отломленный от крапивы на снежном Федоровском бугре.

— Гурий, ты, говорят, близко знаком с Пешковым.

— Да, хорошо знаком. Одно время он жил у меня под лестницей в Марусовке.

— Ещё не видел его?

— Не видел, но увижу. А что?

— Надо спасать пария. Он ведь стрелялся.

— Знаю.

— Нельзя допустить, чтоб второй раз пустил в себя пулю.

— Не пустит. Переболел.

— Мне всё не удаётся с ним встретиться.

— Как же ты хочешь спасать его?

— Надо дать ему работу. Нашу. Вот если б ты взял его печатать-то. А? Правда, пристрой.

— Это можно. Поскорее бы освободил отчим место. Дьявол, ненавидит меня насмерть.

К ним подошёл, точно из земли вырос, Сомов.

— Здравия желаем, господа, — сказал он. — На ловца и зверь бежит. Я вас ищу, Федосеев. Есть дело.

Гурий отступил.

— Уходишь? — сказал Николай.

— Но буду мешать. Будь здоров, старина.

Сомов взял Николая за плечо и легонько повернул его к улице.

— Ну, идёмте. Надо поговорить.

— Не могу, — сказал Николай, — я не один.

Сомов повернул голову, с иронией посмотрел на Аню, неприкаянно стоявшую поодаль.

— Сеньора, — сказал он, морщась, — отпустите вашего рыцаря.

Аня пожала плечами.

— Никуда я не пойду, господин Сомов, — сказал Николай.

— Вы мне позарез нужны. Очень важное дело. Понимаете?

— Минуту. — Николай подошёл к Ане, отвёл её подальше. — Что делать? У меня с ним нет ничего общего. Один раз только виделись. У Васильева.

— Коля, пойди с ним. Не станет же он так звать по пустяку. Может, и в самом деле что-то очень важное. Иди, я нисколько не обижаюсь.

Он проводил её до угла и отпустил и долго смотрел вслед, пока не затерялись в толпе её серый бурнус, её дымчатая шляпа.

Сомов новел его но той же улице, только в другую сторону.

— Я страшно хочу жрать, молодой человек. Зайдёмте вот в трактирчик, потом — ко мне. Я живу в Степаниевских номерах.

В тесном низком трактире, забитом до отказа, было негде приткнуться, но Сомов поговорил с половым, тот провёл в угол, за большую кубическую печь, и нашёл там место, вытащив из-за столика трёх опьяневших мастеровых.

— Спасибо, Мироныч, — сказал Сомов, усаживаясь, — Удобно, как в отдельном кабинете.

— Чего желаете? — спросил половой, убирая со стола.

— Сам знаешь, Мироныч. Чего-нибудь посытнее и подешевле.

— Есть щи с головизной, рубец.

— Вот и давай. На двоих.

— Я сыт, — сказал Николай.

— Войдёт ещё немного. Про запас.

— Нет, мне ничего не надо.

— Ну, как хотите.

Половой собрал грязную посуду, вытер стол и убежал.

— От еды, молодой человек, никогда не отказывайтесь, — сказал Сомов. — На том держимся. Сколько в облаках ни пари — жрать всё равно спустишься. Главное в жизни — это каждый вечер легко и обильно испражняться. Так говорит дидровский племянник Рамо. А чтобы испражняться, надо есть. — Он втянул в нос кухонный чад и, крякнув, потёр ладонями тупую короткую бороду. — Сытно пахнет. Люблю вот такие простенькие харчевни. В Париже, в Латинском квартале, у меня была хорошая знакомая. Содержательница съестной лавки. Дородная добрая нормандка. Как достану денег, сразу, чтоб не профурить, отдаю ей всё. Потом целый месяц хожу к ней есть. Случалось, и гостей приводил.

— Как вы попали в Париж?

— Ха, эмигрировал, конечно. Там, юноша, жилось мне неплохо.

— И всё-таки вернулись в Россию.

— Да, знал, что турнут в ссылку, и всё-таки вернулся. Наше место здесь. С русским народом. Я из дворян, из знатной семьи, но душа мужицкая.

Явился половой, и Сомов принялся за еду.

— Так о чём же вы хотели поговорить? — сказал Николай.

— Я, молодой человек, ценю талантливых людей. Вы, конечно, талант. Может, даже гений. Не брыкайтесь, мне со стороны виднее. Я… — Сомов засунул в рот слишком большой кусок хлеба и смолк. Торопливо жевал, торопливо хлебал щи, низко наклонившись к тарелке. Потом разогнулся, вытер рукой бороду. — Я, Федосеев, слежу за вами. Хорошо вы начинаете. Молодёжь липнет к вам. Кстати, Григорьева не вы увели от меня?

— Никого я не уводил.

— Это хуже. Попадёт к болтунам — испортят. А паренёк способный. Ходил всё ко мне и вдруг пропал. Подберите, если наткнётесь. Вы что, марксизм проповедуете? Не озирайтесь, не озирайтесь. Такой гул — никто не услышит. — Сомов опять приналёг на еду.

— У профессора не бываете? — спросил Николай.

— Нет, — сказал Сомов. — Мне там делать нечего. Тогда

Каронина искал, потому и забрёл. — Он выхлебал щи и подвинул к себе другую тарелку. — Ах, хороший рубец! С душком. Я, как медведь, люблю мясную пищу с порочным запахом. — Быстро управившись с рубцом, он очистил кусочком хлеба и пальцем тарелку, кусочек съел, а палец облизнул и вытер о штаны. — Ну вот, теперь можно жить. Это хорошо, Федосеев, что тянете молодёжь к марксизму. Марксизм стоит того. Единственно серьёзная ныне социальная теория. Сейчас ей нечего противопоставить. Но я не всё приемлю в этой теории. Она стирает личность. Выкидывает из истории героя. Тут я протестую. Как ни крутите, а событиями правит герой. Вёз него ослепнем во тьме. Станем кротами. России нужен герой.

— Какой? Такой, какого кличет Михайловский?

— Хотя бы.

— Такие герои бессильны, как и сам Михайловский. Были подлинные герои, гиганты. Были настоящие Прометён. Желябов, Перовская, Халтурин, Мышкин, Ульянов. Что они изменили? Сгорели, а тьма и не дрогнула. Вернее, дрогнула, но тут же сомкнулась ещё плотнее.

— Да, стало ещё темнее. Л почему? Потому что не хватило Желябовых. Нужны были сотни таких. Сотни! Чтоб идти и идти один за другим.

— Сотни и были, и они шли друг за другом, и всех их прикончили.

— Ну и что же? Россия иссякла? Не даст больше ни одного героя?

— Герой есть. Растёт, поднимается.

— Всё ясно. Пролетариат. Дальше можете не говорить. Идёмте.

— Да, пошли.

Сомов, не поднимаясь со стула, снял со спинки своё затасканное рыжее пальто, положил его на колени и достал из кармана деньги. Пересчитал на ладони серебряные монеты и медяки, положил на стол два пятака, остальное опустил в карман.

— Дома ждёт голодная жена, — сказал он. — Достал вот целковый, занял, дня на два хватит. Ничего. Мы, как говорит племянник Рамо, богатеем всё время — и тогда, когда одним днём меньше остаётся жить, и тогда, когда одним экю больше бывает в кармане. Мироныч! Подойди-ка, братец, получи с нас.

На улице привязался, выпрашивая милостыни, высокий старик, страшно оборванный, с голыми коленями, тощий, смертельно жёлтый. Сомов, болезненно сморщась, отстранил его рукой, прошёл мимо, но не выдержал, оглянулся.

— А ведь он может сегодня подохнуть, — сказал он и,

подозвав оборванца, дал ему три двугривенных. И долго шёл молча, опустив голову. Потом остановился, осмотрелся кругом. — Подождите-ка, молодой человек. Вон на углу лоточница, куплю жене пирожков.

Николай стоял на панели и смотрел, как этот толстячок, прикидывающийся циником и здоровяком, забыв свою роль, стариковской трусцой подбежал к лотку, суетливо пошарил в карманах, нашёл обрывок газеты, завернул пирожки и затрусил обратно, счастливо улыбаясь.

Сомов привёл Николая в свою комнату в Степаниевских номерах. Молодая сухонькая женщина ходила из угла в угол, качая на руках плачущего ребёнка.

— Знакомьтесь, — сказал Сомов. — Моя подруга. Дездемона. Она меня за муки полюбила, а я её — за состраданье к ним.

— Господи, я совсем замучилась, — сказала жена. — Ревёт и ревёт. Молока у меня не хватает. Денег достали?

— Достал. Только один целковый. Вот пирожков тебе горячих купил. Сам поел в трактире.

— Но зачем пирожки-то? Молока надо, молока. Ребёнок голодный.

— Матушка, ешь сама. «Ребёнок, ребёнок». Неизвестно ещё, что выйдет из этого ребёнка. Ему предстоит пройти естественный отбор. Садитесь, Федосеев. Вот сюда. Живём тесно и скудно. Угощать вас, конечно, нечем. Отказались в трактире — пеняйте на себя. Матушка, вот это уже сформировавшийся человек. Талант. Таких и надо поддерживать. А что наша дочка? Пусть сначала заявит о себе, а то едва появилась на свет — и сейчас же требует. Молока ей подай.

— Ой, как у вас язык-то поворачивается? — оказала жена. — Крошка ведь. Миленькая, совсем голодная. Как я её выхожу-то?

— Пусть знает, в какой мир пришла. Пусть сразу злобы накапливает на свою проклятую империю. Ну чего она раскричалась?

Ребёнок смолк, точно понял, что ничего своим криком не добьётся. Мать ещё покачала его на руках и положила на кровать. И сама присела возле.

Сомов взял со стола какой-то объёмистый том и хлопнул по нему рукой.

— Мой многолетний труд, — сказал он. — Исследую социальную психологию. Вот вы за Маркса берётесь. Но в первую очередь вам надо изучить нашего великого Сеченова. Это, брат ты мой, титан! Я считаю себя его учеником. Он и натолкнул меня своими трудами на эту вот работу. Пытаюсь увязать психологию с законами физики. Читать вам, понятно, не дам, а посмотреть —

пожалуйста.

Николай взял тяжёлый том. Это была большая переплетённая рукопись. Угол первой страницы был исписан наискосок Михайловским. Знаменитый публицист умеренно похвалил работу, заметил, что маловато фактов, и подарил автору свою бесценную подпись. Николай листал рукопись, на некоторых страницах останавливался и читал. Потом он поднял голову и окинул взглядом комнатушку. Хозяйка куда-то вышла, а Сомов, скрестив руки, стоял у кровати, смотрел на укутанную тряпками дочку и… плакал. Николай положил на стол рукопись, поднялся.

— А, чёрт! — сказал Сомов и зашагал по комнате. — Не женитесь, Федосеев. Никогда. Нам нельзя жениться. Одному привольно. Где застанет ночь, там и переспишь, куда позовут, туда и идёшь. Попадёшь на завтрак, наешься поплотнее и можешь целый день спокойно мыслить. Что ещё надо? Я три десятка лет так жил, с самой юности. И вот к старости завяз. Поддался чувствам. Растрогался, как тот мавр. Хорошо ещё, что не ревную. К кому такую приревнуешь? Высохла, бедная. Молодая, а щепка щепкой. Работала у Алафузова. На льняной фабрике. Теперь ребёнок связал.

— Слушайте, — сказал Николай, — надо как-то вам помочь.

— Вы что, Крез?

— Я не Крез, но казначей Верхне-Волжского землячества. Поговорю с товарищами — поймут, выделят денег.

— Долгая песня. Девчонка не доживёт.

Николай выхватил из кармана шагреневый бумажник.

— Вот, возьмите. Двадцать рублей. Берите, берите. Я всё улажу. Поговорю завтра с нашим председателем, соберёт совещание, оформим.

Назавтра Николай нашёл председателя, всё ему рассказал, но тот не поддался уговору, совещание собирать не стал, ни с кем не посоветовался и передал дело в студенческий суд. Федосеева оправдали, но его больно ранило то, что первый суд над ним (он готовился не к одному) вершили не чиновники министерства юстиции, а товарищи.

18

Время бежит. Совсем недавно, радуясь запаху тёплого снега, гуляли по первой пороше. Недавно пошла по Неве шуга, и вот уже настоящая зима, и стёкла в окошке так промёрзли, что сквозь них ничего не видно. Странно, что раньше, когда до конца срока было так далеко, сутки тянулись ужасно медленно, а теперь они слетают, как листья с осеннего дерева, и их не успеваешь считать. Не стало мучительным и ожидание вторников: Мария Германовна приносит в тюрьму столько впечатлений, что их хватает на всю неделю. Появились в камере новые книги, работа над историей общины обогатилась свежим материалом. Было у него, Николая, три свидания с Анной Михайловной Григорьевой, приезжавшей навестить сына. Она рассказала, как живут в Нижнем перебравшиеся из Казани марксисты. Друзья не дремлют. Скворцов всё настойчивее пропагандирует «Капитал» и пишет новую солидную статью для «Юридического вестника». Недавно появился там Лалаянц. Исаак оказался сильным человеком и верным товарищем. Как только угнали друзей его в «Кресты», он принял на себя обезглавленную казанскую организацию и руководил ею, пока не попался в лапы полиции (у него забрали «Происхождение семьи»). Высланный в Нижний, он снова принялся за своё дело. Нет, не победить жандармам марксистов. Всё хорошо, но вот болеют в «Крестах» друзья. День ото дня теряют силы. Николай пытается поддержать их дух, и иногда это ему удаётся. По его просьбе Мария Германовна нашла двух «кузин», и те приходят теперь на свидания, одна — к Санину, другая — к Маслову, а Ягодкин получает новости и передачи от всех трёх товарищей, навещаемых «кузинами».

Мишу Григорьева выпустили, он уехал в Нижний и прислал оттуда письмо. В Нижнем оказалась и Софья Григорьевна, хрупкая Соня, мужественно отсидевшая свой срок. Да, многие *однодельцы* (новое арестантское слово) вышли на свободу, на очереди и он, Николай Федосеев, *глава процесса*. На днях заходили в камеру прокурор и начальник тюрьмы.

— Имеете что-нибудь заявить? — казённо сказал Сабо и надменно вскинул голову: мол, забудь, что однажды говорили с тобой запросто.

— Есть вопрос, — сказал Николай.

— Слушаем.

— Подходит день освобождения. Я хочу знать, что меня ждёт.

— Хм, кажется, что-то… Кажется, вы подлежите высылке.

— Ваша фамилия? — спросил прокурор.

— Федосеев.

— А, Николай Федосеев! — Прокурор повернулся к начальнику. — Это глава известного казанского процесса?

— Да, он самый, — сказал Сабо.

— Глава процесса? — сказал Николай. — Процесса, собственно, и не было. И что это за высылка? В приговоре значится только тюремное заключение.

— Господин начальник неточно выразился, — сказал прокурор. — Вы, очевидно, подлежите гласному надзору. А что касается процесса… Не забывайте, что многие дела решаются в административном порядке.

— Да, конечно. Правительство боится открытых судов. Открытые суды вскрывают…

— Федосеев! — перебил Сабо. — Что имеете заявить по существу?

— Повторяю, я хочу знать, что меня ждёт с окончанием срока?

— Придёт время — вызову и сообщу, — сказал начальник.

Вызвал он в начале января. Не в общую канцелярию, а в свой кабинет, обставленный чёрной мебелью, среди которой ярко краснел покрытый сукном стол.

— Садитесь сюда, ко мне, — милостиво разрешил начальник. — Вот и пришло время говорить о вашей свободе. Через недельку мы с вами распрощаемся. Не советую больше попадаться. Берите-ка бумагу и пишите, куда желаете выехать.

Николай освобождался в одни день с Ягодкиным, и они уже договорились, что поедут в Казань, а если туда не разрешат — в Нижний. В Царицыне предполагалось побывать после встречи с друзьями, которые всё-таки должны были навести на след Анны. Всё было обдумано, и размышлять сейчас не приходилось.

— Деньги вы заработали, получите, — сказал Сабо, подавая Николаю лист бумаги. — Поедете за свой счёт. Так и пишите. В департамент полиции, от политического арестанта такого-то. Ввиду того-то и того-то, прошу вашего… «Вашего»— с большой буквы. Хоть тут-то не бунтуйте. Прошу вашего разрешения выехать за свой счёт туда-то, на выбранное место жительства. Пишите.

Николай вынул из кармана платок (от него пахнуло духами Марии Германовны), протёр очки, взял ручку, клюнул пером в бронзовую чернильницу и погнал по синевато-белой бумаге чёрные узкие строчки. Набросав прошение, он протянул лист Сабо и поднял взгляд к висевшей над головой начальника золотой раме, из которой миролюбиво смотрел добрый бородатый толстяк — ключарь российских тюрем и острогов,

диспетчер великого движения арестантских масс, режиссёр народной трагедии — Александр Александрович. Ох, эти холенобородые и пышноусые режиссёры! Портреты их совсем не страшны. А дела?

Да когда же народы пошлют их к чёрту?

Сабо прочитал прошение и отложил его в сторону.

— Ну вот, — сказал он, — завтра-послезавтра получите ответ. Жить вам придётся под гласным надзором. Ничего не поделаешь — тавро. Отдыхайте. Вылову.

Вызвал не он, а его помощник, и не в кабинет, а в канцелярию.

Помощник начальника, по-бабьи полный и рыхлый, но, несмотря на телесную мягкость, ужасающе злой, ворчливо переговаривался с сидевшим поблизости старичком бухгалтером и долго не хотел замечать приведённого надзирателем арестанта. Николай стоял у стола и видел своё прошение с департаментской надписью, разобрать которую издали никак не удавалось.

— Садитесь, — сказал наконец помощник, — Казань вам отказана.

— А Нижний?

— И Нижний отказан.

Вот тебе на! Полетели все замыслы, не увидеть теперь друзей, не возобновить с ними работы. Что же делать?

— Выбирайте другое место, — сказал помощник.

Другое место. Какое? Разве Царицын? Но ведь там нет ни одного знакомого, нет, вероятно, и Анны. Другое место, другое место. А Костя Ягодкин? Куда он теперь метнётся? Ведь можно потерять и его. Как досадно, что ничего с ним не придумали и не условились на случай вот такого крушения плана!

— Нельзя ли отложить выбор?

— Нет, нельзя.

— Хоть на один день.

— Ни на час. Департамент ждёт.

— Хорошо, я выбираю Москву.

— Вы что, рехнулись? В Нижний нельзя, а в Москву можно? Смеётесь? Или действительно ничего не понимаете? Так слушайте, разъясню. Вам запрещены столицы, запрещены университетские города, запрещены промышленные центры. Доходит?

— Я могу выехать только в Нижний, в таком случае. В других местах у меня нет ни одного знакомого. Без знакомств и без денег я не смогу найти даже угла. Что же, замерзать на улице?

Старичок бухгалтер, простенький, добродушный, слишком домашний для такого казённого заведения, приподняв очки,

смотрел на Николая так же страдальчески, как он смотрел в тот раз, год назад, когда пришло горькое письмо из Царицына.

— Федосеев, — сказал помощник начальника, — вы напрасно стараетесь меня разжалобить. Не я распоряжаюсь вашей судьбой.

— А вы бы поговорили с департаментом, — сказал бухгалтер. — В самом деле, не замерзать же человеку на улице. Может, войдут в положение.

— Да, войдут, ожидайте, — сказал помощник начальника. — Они и знать ничего не хотят. Положение ваше, Федосеев, конечно, плачевное. — Он неожиданно расчувствовался и печально посмотрел на Николая. Потом взял телефонную трубку и попросил департамент полиции, сыскное отделение. Долго ждал, задумчиво насупившись, а когда в трубке послышался чей-то бас, подобострастно заулыбался.

— Честь имею кланяться, Павел Иванович, — сказал он. — Извините за беспокойство. Вот тут у меня сидит Николай Евграфов Федосеев. Просит всё-таки послать его в Нижний. Положение у него весьма тяжёлое. Полураздет, без средств, без всякой помощи…

— Никаких разговоров, — послышалось в трубке.

— А что с ним делать?

— Если он через полчаса не выберет места, мы вышлем его этапом в Пинегу.

— Значит, ничем не сможете помочь?

— Выполняйте свои обязанности.

Помощник начальника повесил трубку. В канцелярии стало тихо. Все чиновники с любопытством смотрели на Николая, прекратив шелестеть бумагой и скрипеть перьями.

— Пинега, — сказал бухгалтер. — Пинега. Это ведь страшная глушь. В Архангельской губернии. Знаете что, господин Федосеев? Поезжайте-ка в Великие Луки. Там у меня родственники. Дам вам письмо.

— Не хочется расставаться с товарищем.

— С товарищем? Тут был… Он тоже освобождается? Понятно, понятно. Конечно, с товарищем веселее бы. — Старичок приподнял очки и мигнул одним глазом. — Нет, в самом деле, поезжайте в Великие Луки. Лучшего места не найти. Вот Ягодкин, есть такой, выбрал Владимир. Чего там хорошего, в этом Владимире?

Николай мог бы кинуться и обнять его, по надо было сдержать даже улыбку, чтоб не выказать своей радости и не выдать старичка.

Помощник начальника ничего не понял. Или прикинулся, что не понял.

— Так что же будем делать? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Николай. — Просто не знаю, что выбрать. Разве Владимир? Это под Москвой, а в Москве у меня есть знакомый. Да, поеду во Владимир.

— Выжали-таки, — усмехнулся помощник начальника. — Избрал. Давно бы так. Пишите.

Вернувшись в камеру, Николай сел к столу, опёрся на него локтями и задумался. Владимир. Древняя столица. Ныне заглохший, заросший вишнями город. Ни студентов, ни передовой интеллигенции. Ни фабрик, ни заводов. Да, но там рядом промышленные города. Орехово! Ореховские ткачи! Костя, мы познакомимся там со знаменитыми забастовщиками!.. А Казани теперь не видеть. Ни Казани, ни старых друзей, ни тех, кто принял и продолжает, как пишет Катя (с ней тоже не встретиться), когда-то начатую работу. Не съездить из Владимира, где, ясно, возьмут под надзор, в далёкий Царицын. Анна нисколько не приближается, а ещё дальше уходит. Годы и расстояние так удалят её, что когда-нибудь покажется, будто её вовсе и не было. Нет, она была, была ведь, была! И есть. В любую минуту её можно вызвать из прошлого, увидеть. Она появляется и без вызова, неожиданно, как тогда, когда вернулась из Царицына.

19

Он шёл тогда по улице и просто физически чувствовал, что сзади кто-то на него пристально смотрит. Чуялось — женщина, знакомая. Ему было неловко, даже стыдно, потому что он тоже видел себя со стороны, коченеющего от холода, сутулого, в поношенной шинелёнке, в стареньких, обтрёпанных снизу брюках, с бумажным свёртком под мышкой, без перчаток, руки в карманах. Чёрт возьми, он был уже не тот Николай Федосеев, который, появляясь среди мужиковствующих интеллигентов, стеснялся своего изящества. Да, каких-то полтора года назад он, кажется, и не мёрз, не втягивал вот так голову в плечи.

Он мог бы выпрямиться и сейчас, но та, идущая сзади, расхохоталась бы, поняв, что смутила и заставила встряхнуться. За ним шли десятки людей, и всё-таки он угадывал в их топоте, в слитном скрипе её девические шаги, частые, отчётливые, звенящие. Они слышались поодаль, потом приблизились. Николай подался чуть в сторону, по та взяла его под руку. Он резко повернул голову и остановился.

— Аня!

Анна была в шапочке, в шубке, и лицо её розово пылало из-под белого заиндевевшего меха.

— Ну идём, идём, — сказала она. — Замёрз ведь. Тебе куда?

— На Старо-Горшечную, к студентам.

— И мне туда же. Идём. — Она легонько дёрнула его вперёд.

Люди, обогнавшие их, когда они остановились, оглядывались, чего-то от этой встречи ожидая.

— Значит, кончились каникулы? — сказал Николай.

— К сожалению, кончились. Две недели сверх каникул захватила.

— Ты, говорят, в Царицыне была?

— Да, из Астрахани поехала в Царицын. Там у меня родственница. И знаешь, я нашла там интересную работу. Ты всё как-то в стороне держишь меня, а вот царицынские марксисты сразу ввели в центр круга.

— Там есть марксисты?

— Ну, может быть, не совсем чистые, с народнической примесью, а есть.

— Я думал, не вернёшься.

— Не вернусь? Почему? Что тебе подсказало?

— Интуиция.

— Солгала твоя интуиция. Не верь ей. Никогда не верь.

— Митя Матвеев не там? Не вернулся? Он ведь, кажется, из

Царицына?

— Ах вот оно что! Милый, ты опять встревожился? Вторую историю сочинил. Тогда я в ссылку за ним бросилась, а теперь — в Царицын. Ты что это?

Митя чудесный человек, и мы с ним хорошие друзья, но тревожиться тебе нечего. Я с тобой. В Царицыно Митя не появлялся. Он уже в Петербурге. Я отправила ему письмо. Говорят, он имеет какую-то связь с Цюрихом. И с русскими женевцами. Может быть, вырвется за границу, и у нас с тобой будет там ещё один свой человек.

— Аня, зайдём к Саше Линьковой. Ты знаешь её?

— Знаю.

— Зайдём. Интересная девушка. Я тут сдружился с ней. Правда, она народоволка, но это не мешает нам. Завернём?

— Ну что ж, веди.

Они зашли к Линьковой, но, постояв две-три минуты в её чистенькой комнатке, выскочили, совершенно обескураженные.

— Что с ней? сказал Николай. — Почему она и присесть не предложила?

— Это у тебя надо спросить. Не так уж невинна, оказывается, ваша дружба.

— Святители! Мне и в голову ничего не приходило. Неужели она… Нет, этого не может быть. Так простодушно всегда принимала. Мне было тоскливо, а с ней становилось легче. Извини, я рассказал ей, что подавлен твоим отъездом.

Аня молчала. Они дошли до того дома на Старо-Горшечной, где жили друзья Николая, студенты университета.

— Может, зайдёшь? — сказал он.

— Нет, спасибо. Я к своим знакомым.

— Ты что, заподозрила меня…

— Ни в чём я тебя не заподозрила, — перебила она.

Он не отпустил её. Они вошли в сумрачный коридор, и Николай постучал в дверь, с которой свисали клочья истлевшего войлока. Никто не отзывался, но замка в петле не было. Николай приоткрыл дверь и увидел Лалаянца, сидевшего в пальто за столом среди комнаты и уткнувшегося в книгу.

— Можно? — спросил Николай.

Исаак вскинул голову.

— О, заходите, заходите, дружище! — сказал он, а заметив Анну, вскочил, выставил для неё стул с гнутой спинкой. — Пожалуйста, присаживайтесь. Извините, тут не прибрано, беспорядок, жильцов этого логова нет.

— Где они? — спросил Николай.

— Разбрелись, — сказал Исаак. — Меня вот книжка

захватила, оставили почитать. Герцен. Извините, докончу главу, полстраницы осталось. Садитесь.

— Нет, мы, пожалуй, пойдём.

— Не выпущу, — сказал Исаак. — Скоро придёт кто-нибудь из жильцов. Подождите. — Он поставил Николаю свой стул, взял книгу и дочитал страницу стоя, — Всё, — сказал он. — Я свободен. Знаете что, дорогие? Слетаю-ка я в лавку, возьму чаю. Чайник есть, возьму у хозяйки кипятку, и мы погреемся.

— Ничего не надо.

— Не возражать. — Исаак надел шапку и вышел.

— Хитрец, — сказал Николай. — Оставил нас поговорить. Он считает, что я влюблён в Сашу Линькову, хочет, чтоб ты отвлекла меня. Тобой восхищён.

— Разве он знает меня? По встрече в молочной?

— Нет, видел тебя где-то на сборище, слышал, как ты говорила.

В комнате было холодно, и они не садились, топтались у стола, окружённого со всех сторон неприбранными койками.

— Неустроенно живут, — сказала Аня.

— Как и другие студенты, — сказал Николай. — У тебя упало настроение? Я огорчил тебя?

Она подошла к нему поближе, взяла его руку,

— Ты совсем застыл. Пальцы как лёд. У тебя нет перчаток?

— Полно. Валяются под диваном. Лайковые. Не к моей одежде. И не к норе.

— Что у тебя в свёртке?

— О, великая ценность! Первый том «Капитала» и «Происхождение семьи». Достал-таки. Энгельса из-за границы получил. На немецком языке. Теперь есть с чем наступать. «Капитал» на русском. Принёс друзьям почитать, а их вот нет. Оставлять нельзя. Исаак ещё но совсем проверен.

— Теперь он знает, что в вашем кружке?

— Знает, но ещё не догадывается, что у нас не один кружок.

Аня взяла книги, развернула их, просмотрела, завернула по-прежнему и положила на стол.

— Пусть рука отдохнёт, — сказала она. — Боишься, что Исаак увидит?

— Я иногда забываю книги у друзей, теряю.

А эти вещи стоят всей нашей библиотеки. Теперь мы вооружены, можем смелее драться с народниками.

— Ой, я ведь с речью выступала! — оживилась Аня. — Послали меня царицынские товарищи в Борисоглебск, и я попала в тамошний кружок. Слушала, слушала и выступила. И знаешь, даже не верится, разбила наголову ссыльного писателя!

Старостина. Он умилялся жизнью хлебопашца, говорил о «правде-истине», которую несёт общинный мужичок. И я набросилась на него. Вы, кричу, не знаете деревни и пишете о ней лампадным маслом! И пошла, и пошла. Набралась я около тебя, напиталась, и вот всё это прорвалось, и слова летят сами собой, и все притихли, слушают, а потом подошли, окружили, стали расспрашивать. Да! Познакомилась я с Пешковым. Ты прав — интересный парень. Мы разговорились, ему там не весело, давит уездная глушь, не хватает книг…

— Постой, постой. Он в Борисоглебске?!

— Да, на Грязе-Царицынской дороге.

— Что он там делает?

— Работал на товарной станции. Охранял брезенты, чинил с бабами мешки, читал Гейне. Его как раз решили перевести весовщиком на станцию Крутую, и он замышлял собрать там «кружок саморазвития», просил у меня книг, и я потом посылала ему на Крутую политические брошюры.

— Вот это да! Аня, чудо моё! Ты, оказывается, хорошо там поработала. — Он поцеловал её. Она обняла его и, расстегнув шубку, укутала в мягкий тёплый мех.

— Мне кажется, ты всё время мёрзнешь, — сказала она. — Давеча увидела твою согбенную спину, и сердце сжалось.

— Скажи, я не огорчил тебя? Неужели ты и впрямь подумала, что у меня с Сашей Линьковой…

— Перестань. Я о другом подумала. Ты совершенно бесхитростный. Всегда будешь попадать в неприятности.

— А ты остерегай.

— Мы редко бываем вместе, я не могу уследить. В прошлом году отпустила к Сомову — попал под суд.

— Нам не надо разлучаться. Закончишь институт — обвенчаемся. Правда?

— До этого ещё далеко. Давай лучше сейчас почаще встречаться.

— Приходи ко мне. И не будем скрываться. Раньше я избегал насмешек наших Рахметовых и базаровых, а теперь готов с ними схлестнуться, поспорить. Да, я хочу цветов! — Он вырвался из моховых пол и зашагал по комнате. — Нам нужны цветы, нужны! Нужна радость, нужна нежность. В революции угрюмые люди опасны. Угрюмые люди могут создать только казарму, а не социализм. Вот в марте будем готовить программу. Есть о чём поспорить.

В марте, в дневное время, когда студенты, поглядывая на солнечные окна аудиторий, с трудом слушали обесцвеченные весной лекции, Николай уединённо работал в своей комнатушке,

а к вечеру у него начинался приём гостей. Он уже прошёл школу малых потребностей и мог неплохо кормиться своими уроками. Покупал он только хлеб, воблу, сахар и чай.

Чай — прежде всего. Чай облегчал работу. Чай укреплял дружбу. Чай придавал докладам и рефератам разговорную форму. Чай вносил в товарищеские отношения простоту.

Самовар весь вечер стоял на углу заваленного книгами столика. Дружеская теснота никому не давала выделиться и порисоваться, да в этом никто и не нуждался. Только недавно появившийся в Казани молодой статистик Скворцов, приглашённый сегодня познакомиться с кружком, обособленно расшагивал по комнате, дымил длинным бамбуковым мундштуком и снисходительно усмехался.

— Забава, забава, господа, — говорил он, ни на кого не глядя. — Все эти листовочки, прокламации — игра. К рабочему надо идти не с листовкой, не с пылкой речью, а с «Капиталом». До тех пор, пока рабочий не проштудирует это евангелие, он ни к чему не готов. Задача ваша, если вы действительно марксисты, совершенно ясна. Разъяснять «Капитал» — вот и вся программа. Спокойно, серьёзно изучать это великое творение и разъяснять другим.

— Хотите, чтоб мы стали просто талмудистами? — сказал Ягодкин. Он сидел на сундуке рядом с Масловым, обхватив рукой его спину. — Не мало ли этого — разъяснять-то?

Скворцов подошёл к порогу, вышиб щелчком цигарку из мундштука, мундштук засунул под поясок.

— Ну, а чего же вы ещё хотите? — сказал он. — Создать свою экономическую теорию? Опоздали. Маркс ничего не оставил для вас. После пего в социальной науке нечего делать. Вам следует только разобраться в его учении. Если нужна в этом моя помощь, пожалуйста, не откажусь. Я послушал вас, рад, что есть в Казани такая горячая молодёжь. Прошу прощения, меня ждут в другом месте. — Он приложил руку к груди и чуть склонил голову. Потом расправил под поясом серенькую косоворотку, сдвинув набок, точно ножны, бамбуковый мундштук.

Николай вышел за гостем в прихожую, подал ему пальтишко и вернулся в комнату.

— Откуда такой явился? — спросил его Санин, сидевший на корточках в углу.

— Из Твери. — Николай занял своё место у столика, налил чашку чаю. — Вы на него не обижайтесь, друзья. Человек, как видите, высокомерный, но он пригодится нам. Маркса знает почти наизусть. Ядовито жалит народников. Так что в нашем полку прибыло.

— Народники уже сдаются, — сказал Санин.

— Э, дорогой, настоящая битва с ними ещё впереди. Откуда ты взял, что сдаются?

— А вот. — Санин достал из кармана письмо и, привстав, протянул его Николаю. — Прочитай. Это пишет один из поклонников Михайловского. Студент, который уехал в деревню создавать кооператив. Почитай, почитай. Там подчёркнуто.

Николай развернул письмо, придвинул поближе лампу и пробежал глазами по строкам, подчёркнутым красным карандашом. Улыбнулся.

— Отказывается от поры в общину. Да, кое-кто отходит от народничества, но это ещё не значит, что мы побеждаем. В прошлом году наши местные михайловские печатно объявили капитуляцию, а к нам всё-таки не перешли. Нет среди нас ни Чарушникова, ни Печеркина. Ладно, бог с ними, это гордые вожаки, издатели политического сборника, сдаваться им неловко. Не о них разговор. Остаётся блуждать наша ищущая молодёжь. Немногие к нам повернули.

— Но мы-то всё-таки повернули, — сказал Маслов. Он сбросил с себя руку Ягодкина, подошёл к столу, налил себе чаю и опять сел на сундук. — Не так уж мало перешло к вам. Почему капитулировали Чарушников и Печеркин? Начинали-то вон как широко. Стали выпускать постоянный сборник, дали ему громкое название. Привлекли Короленко, Анненского. А выпустили один номер — и закрыли свой «Социальный вопрос». Почему?

— Разгром студентов помешал, — сказал Николай. — Перепугались арестов.

— Нет, — сказал Маслов, — они оказались в пустоте, потеряли среду, поддержку. Сами ведь в этом признались. Вспомните, что они писали в этом «Социальном вопросе». Полностью отказались от своих идей. Считайте, что они тоже перешли.

— Перешли? — Николай встал, прошёлся по комнатушке. Увидев на полу оставленный Скворцовым ошмёток грязи, он откинул его носком ботинка к порогу. — Нет, это не переход, а бегство. Небось типографию свою не передали нам. Утопили шрифт в Казанке. Мол, не нам и не вам. Бежали и сжигали за собой мосты. Чарушников, говорят, подался в деревню. Волостным писарем.

— Пусть разбегаются, — сказал Ягодкин. — Не будут мешать.

— Все, Костя, не разбегутся, — сказал Николай. — Их здесь много, и они пока ещё сильны. Конечно, мы отвоевали у них десятка два молодых революционеров, но это всё-таки не победа. Надо продолжать наступление. Каждый из нас должен проникать

в их кружки и разбивать вредные иллюзии. Время чёрное, бушует реакция, народовольцы разгромлены, интеллигенция растеряна, рабочие ещё не поднялись. Некоторые докатились до абсурда. Народники окончательно сдали позиции своих предшественников. Честной, передовой молодёжи они подсовывают теорию мирного захвата власти. Идите на государственную службу, занимайте постепенно высокие посты, оттесняйте реакционеров. В конце концов вы завладеете всеми правительственными рычагами и установите справедливый порядок. Каково? А?

— Просто и бесшумно.

— Да, бесшумно, — сказал Николай. — Всем хороша теория, но есть в ней одно маленькое упущение. Пока передовой, честный юноша поднимется по лестнице до высокого поста, в нём не останется ничего передового и ничего честного. Бюрократическая машина действует безотказно.

— Позвольте дать справку, — сказал Санин. — Всем известна фигура министра Толстого. Лет тридцать назад этот самый Толстой выпустил за границей свою политическую брошюру. Довольно смелую, прогрессивную. Выступил против реакционных правительств. В защиту народных прав. Между прочим, заявил, что подавлять свободу так же опасно, как призывать к мятежу.

— Где ты, Алексей, это выкопал? — спросил Ягодкин.

— Он выкопает, — сказал друг Санина, студент университета Сычев. — Не Алексей, а публичная библиотека.

— Но Толстой-то, Толстой! — удивился Григорьев. — Неужели и он мечтал о свободе?

— Может быть, и мечтал, а теперь душит, — сказал Исаак Лалаянц. — Министр расправы.

— Всё правильно, — сказал Николай. — Машина действует без помех. Теория мирного захвата просто смешна. Смешна и наивна, но не безвредна. Сейчас она опасна, как и авантюризм Сабунаева. Тоже вот вождь появился.

— Говорят, ищет тебя, — сказал Сычев.

— Зачем?

— Что-то разузнал про нас. Хочет, наверно, договориться. Заключить союз.

— Нам не по дороге. Будем держаться подальше. — Николай подошёл к окну, открыл форточку, посмотрел, как хлынул в неё табачный дым, и, улыбнувшись, покачал головой. Потом сел к столу, выпил остывший чай. — Время мутное, — сказал он, — Надо нам поскорее определить свои задачи. С программами все познакомились?

— Познакомились.

— Тогда ближе к делу. Как, нашли что-нибудь подходящее?

Все притихли, переглядываясь. Маслов почесал затылок.

— Да, вопросик!

Говорить пока никто не решался. Одни потянулись к столу за чаем, другие, сбившись в кучку, закурили компанией.

Николай посмотрел на Санина. Тот поднялся из угла и вышел на середину комнаты. Походил, потоптался, разминаясь.

— Народовольцы отпадают, — сказал он, как всегда, решительно. — Отпадают и их последователи. Есть кое-что интересное у петербургских социал-демократов. У бывшей группы благоевцев. Но наиболее подходяща для нас программа плехановцев. На неё и придётся опереться. Собственно, её можно принять целиком.

— Целиком? — удивился Маслов. — Она ведь признаёт всё-таки террор. А мы всё время твердим в кружках, что террор изжил себя. Как же так?

— Ничего, одного-двух можно ухлопать, — сказал студент Выдрин. — Скажем, того же Толстого. Или Победоносцева.

— Чепуха! — крикнул Ягодкин. — Чепуху несёшь, Выдрин!

— Постойте, — сказал Исаак. — Зачем же так обрывать товарища?

— Он не своё говорит, — сказал Ягодкин. — Я его хорошо знаю. Человек вполне здравомыслящий. Чужую песню запел.

— Как это чужую? — ощетинился Выдрин. — В революции без крови не обойдёшься. Я убеждён, что террор совершенно необходим. От него отказываются только трусы. Мы должны бороться всеми средствами. Давайте распределим обязанности. Занимайтесь пропагандой, а мне дайте пистолет и кинжал. Я готов убивать.

— Тогда тебе у нас нечего делать, — сказал Ягодкин. — Иди к Сабунаеву.

Поднялся шум.

— Так нельзя, Ягодкин!

— Это ультиматум!

— Не гоните его, а выслушайте до конца. Не такую уж чепуху он высказывает.

— Чепуха! Террор — чепуха!

— Но его признаёт сам Плеханов.

— Плеханов — не бог. Убийства бессмысленны, это доказали сами террористы.

— Ничего ещё не доказано. Женевцы имеют в виду другую тактику.

— Какая там тактика! Террор есть террор!

— Нет, нельзя ого осуждать огульно!

— Господа, — сказал Николай, — господа, успокойтесь. Вопрос о терроре был для нас совершенно ясен, и вдруг такая разноголосица! Думаю, мы не откажемся от своих принципов. Лучше пусть тот, кто с ними не согласен, откажется от нас.

Выдрин, нервно шагавший по комнате, резко повернулся.

— Вы предлагаете мне уйти?

— Нет, это дело всех товарищей. Я могу только просить вас подумать, стоит ли с нами связываться.

Выдрин закурил папиросу, отошёл к стене и сел на корточки.

— Друзья, — сказал Николай, — я ожидал, что в женевской программе вас больше заинтересует другой вопрос. Очень серьёзный. Группа «Освобождение труда» почти совсем отлучает от революции крестьянство. С этим никак нельзя согласиться. Пролетариат не может обойтись без помощи крестьян. Тем более в России, где рабочий ещё не укрепился, потому что сам недавно пришёл из деревни. Что такое программа?

Вопрос вначале представился таким простым, что его и разбирать не хотелось. Но постепенно он усложнился, разросся и вызвал множество других вопросов.

«Освобождение труда». Эти слова, высоко поднятые в Женеве русскими социал-демократами, оказалось, можно принять за вехи и на пути казанских марксистов. Освобождение труда. Чем он порабощён? От чего его освобождать? С чем бороться? С капитализмом? Да, в России уже властвует капитализм, значит, с ним и придётся бороться, а поэтому надо определить его сущность, а чтобы определить её, необходимо изучить не только труды Маркса, но и живую русскую действительность, а она невероятно сложна, и корни её уходят в далёкое прошлое, без глубокого проникновения в которое невозможно понять настоящее. Так, цепляясь одна за другую, открываются новые проблемы, и работа кружков принимает характер исследования.

Сидели долго, распределили предстоящую работу, выбрали программную комиссию, договорились провести в апреле вечеринку, дважды опорожнили самовар, выкурили все папиросы и только тогда разошлись. Санин и Ягодкин остались ночевать. Николай уложил одного на диван, другого — на стулья. Сам уместился на хозяйском сундуке, приставив к нему две табуретки.

— Други мои, кажется, светает? — сказал он, приподнявшись на локте.

— Да, окно побелело, — сказал Ягодкин.

— Форточку-то я не закрыл. Ничего?

— Ничего, — сказал Санин. — Ночь тёплая.

— Ручеёк бормочет. Слышите?

— Ручеёк?

— Да. Около дома канавка, из огорода течёт. Алексей, а ты насчёт Толстого-то, наверно, перехватил. Не мог он ратовать за свободу, даже в молодости.

— Не за свободу, а за прогрессивные преобразования. Свободу я нарочно ввернул. Чтобы понятное стала машина, о которой ты говорил.

— А Костя здорово разозлился на Выдрина. Ты же ангел, Костя. И вдруг — такая ярость.

— Вынудил этот террорист. Прикидывается буйной головушкой.

— Вообще-то он как, надёжен?

— Надёжен. Хорошо ого знаю. С гимназии дружим. И Сычев знает его с детства.

— Разве Сычов тоже из Троицка?

— Да, троичанин.

— Нет, всё-таки рано посвятили их,

— Кого?

— Ну, Выдрина, Григорьева, Лалаянца. Ребята вроде и надёжные, но не мешало бы получше их проверить, прежде чем впустить в самый центр.

В центральный кружок, имеющий списки марксистов, тайную библиотеку, кассу, входили только руководители тех кружков, которые между собой не сообщались, чтобы не мог какой-нибудь один предатель выдать всех. Этот порядок был предложен Федосеевым и утверждён членами центрального кружка. Но на этот раз руководители отступили от правила и пригласили на собрание трёх непосвящённых. Правда, всей организации им не раскрыли, однако они узнали кроме своего ещё один кружок, и это беспокоило Николая.

— Ничего, — сказал Санин, — убивать мы никого не собираемся. Жандармы заняты народовольцами. Те для них опаснее.

Во дворе, в закутке, придушенно прокричал петух.

— Проснулся, призывает ко бдению, — сказал Николай. — В эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня.

— Это к чему ты? — спросил Ягодкин.

— Ни к чему. Просто вспомнились слова. Как там ещё? «Он же сказал в ответ: опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст». Какой язык! Толстому так не написать. Выразительности надо учиться у евангелистов. Лев Николаевич пытался — не достиг такой лапидарности. В языке таятся колоссальные силы.

— Ну, начинается поэтическая болтовня, — сказал Санин. —

Я сплю. Не мешайте.

— А ты не слушай. Революционер должен быть поэтом. Правда, Костя?

— Тогда не быть и революции, — сказал Ягодкин, — Поэт не может разрушать.

— Разве мы готовимся только разрушать? Кто не умеет строить, тому надо запретить и разрушать. Строить — это главное. Интересно, какой будет Россия в двадцатом веке? Что мы построим? Будущее так захватывает, что спать невозможно. Подумать только! Ежесуточно на пять-шесть часов приходится уходить из жизни. Нелепость! А равнодушные к будущему спят и по десять часов. Почти полсуток смерти. Что ты на это скажешь, Костя?

— Не расстраивай, а то я не усну. Уже совсем светло.

— Не уснёшь — получишь несколько часов дополнительной жизни. Это в твоих силах. Пользуйся преимуществом человека. Только человек может распоряжаться собой. Он один осознаёт будущее. Живёт им и строит его.

— Ерунда, — сказал Санин. — Забываете Маркса. «Человек в своём производстве может действовать лишь так, как действует сама природа, то есть может изменять форму веществ».

— Да, и человек действует по законам природы, — сказал Николай. — Но он постигает эти законы и овладевает ими. Понимаете, появляется любопытное отношение к Марксу. Кое-кто видит в его законах нечто похожее на шопенгауэровскую волю. Люди целиком подчинены экономике, и каждый их шаг абсолютно предопределён. Люди ничего не могут изменить. Тогда зачем мы с вами ломаем голову над программой? Зачем изучаем «Коммунистический манифест»? Меня мучает один вопрос. Что вообще человек может? Один. Воздействует ли какая-либо личность на ход истории? Как вы думаете?.. Алексей, кажется, уже скончался. Скоропостижно. — Николай помолчал, послушал, как лопочет за окном ручеёк, и повернулся к стене. — Ты не спишь, Костя?

— Нет, не сплю.

— Как там Ульянов?

— Ходит в кружок.

— Знаю, что ходит. Выступает?

— Слушал его реферат. О положении крестьянства в России. Бьёт наповал. Мыслями, фактами. Вот бы кого пригласить-то!

— Я готов был ввести его в центр ещё осенью. Сразу, как он поступил в наш кружок. Но нельзя, нельзя. Жандармы, конечно, следят. И за ним, и за нами. Мы попадёмся — полбеды. Может быть, выкрутимся. А он — брат казнённого народовольца и

участник студенческого бунта. Человек, уже хлебнувший ссылки. Возможно, потому и разрешили ему вернуться в Казань, что хотят поймать на деле. В Кокушкине-то не к чему было привязаться… Очень хочется с ним познакомиться.

— Давай пригласим его на вечеринку. Там ведь будет разная публика. Филёрам не уследить, кто с кем. Пригласим?

— Ни в коем случае. Никуда не надо его втягивать. Если сам придёт — покажешь.

— Хорошо, покажу. Думаю, встретитесь.

Встреча с Ульяновым в самом деле была вполне вероятна. Он жил на Первой горе, где-то недалеко от того дома, в котором марксисты проводили вечеринки.

Николай тщательно почистил мокрой щёткой куртку, подшил обтрепавшиеся брюки, проутюжил их, наваксил до блеска старые ботинки и явился на вечеринку в достаточно опрятном и чистом виде.

Зимой собирались внизу, в квартире бывшего ссыльного, а на этот раз — на втором этаже, у Любови Александровны, доброй интеллигентной женщины, неравнодушной к мятежной молодёжи.

В квартире было уже людно, и это обрадовало Николая. Молодец Ягодкин. Постарался, многих оповестил. Смотри-ка, даже буфетик организовал!

В одной комнате, самой большой, главенствовали студенты университета: бородатые философы, одетые серо и нарочито небрежно, стояли отдельными кучками, курили и спорили, а немногие франты, чудом сохранившиеся в этой среде, вальсировали под звуки аристона с девицами из повивального института (Аня кружилась с каким-то чёрным красивым демоном). В другой комнате роились вокруг Ягодкина студенты-ветеринары. Третью занимали пожилые народовольцы. Побитые, потрёпанные каторгой и ссылкой, они гордо сидели поодаль, как сидят на скалах старые орлы, следящие за первыми полётами птенцов. Они явились сюда не только для того, чтобы посмотреть на молодых революционеров, но и чтоб помочь своим прежним друзьям, ещё не вернувшимся из острожной Сибири, куда назначался денежный сбор вечеринки. Среди этих побитых орлов была и видавшая виды орлица — народоволка Четвергова, перед мужеством и умом которой преклонялись и марксисты. Она сидела в кресле, обтянув усталые плечи мягкой тёмной шалью. Говорила она тихо, медленно, но окружающие слушали её с почтительным вниманием. Даже Сомов, всегда такой независимый, уважительно тянулся к ней с дивана, приставив к

уху ладонь. Не слушал Четвергову только какой-то рыжеволосый мужчина в клетчатом костюме, сидевший рядом с Сомовым. Он курил папиросу, откинувшись на кожаную спинку, положив ногу на ногу и покачивая носком ботинка.

Николай, оглядев комнату, повернул обратно. Его окликнул и подозвал к себе Сомов.

— Не знакомы? — спросил он Четвергову.

— Кажется, где-то встречались, — сказала она. — Не припомню.

— Тогда позвольте представить. Это Николай Федосеев. Юноша с большим будущим. Далеко пойдет. Только не по нашей дороге.

— Что ж, — сказала Четвергова, — пускай прокладывают свою.

— Да, эти проложат. Наша дорога остаётся забытой. Скоро совсем зарастёт.

Рыжеволосый нервно усмехнулся, швырнул папиросу в угол.

— Не каркайте, Сомов! Рано предвещать запустение. Наш тракт не зарастёт, не все герои вымерли, не судите по себе.

Николай стоял перед Четверговой, чувствуя себя страшно неловко. Сомов представил его так триумфально, что хоть в землю провались. А Четвергова не сводила с него пристального взгляда.

— Слышала, слышала. Много о вас говорят, Федосеев. Но я не таким вас представляла. Вы, оказывается, совсем молоденький.

— Молод летами, да стар делами, — сказал Сомов, — Талант. Большой талант.

— Господин Сомов, мне неприятно вас слушать. Простите, пожалуйста. — Николай поклонился Четверговой и вышел. В соседней комнате к нему подбежал Ягодкин.

— Ну как? Какова подготовка?

— Ты постарался, — скапал Николай.

— Собралось уже человек восемьдесят. Это сорок рублей. Есть что послать в Сибирь. И главное — редко кто догадывается, кем организована вечеринка. Подозревают народников. Ты чем-то расстроен?

Николай молчал. Он всё ещё видел перед собой растерявшегося Сомова. Бедный старик. Зачем было так его обрывать? Тот, рыжеволосый, тоже его обидел.

— Что с тобой? — сказал Ягодкин. — Какая-то неприятность?

— Нет, всё хорошо, Костя.

Ягодкин убежал. Николай минут десять бродил по комнатам и никак не мог успокоиться. Потом пошёл к Сомову, попросил у него при Четверговой прощения и сразу повеселел.

Студенты перемешались. Университет, ветеринарный институт, повивальный, духовная академия, фельдшерская школа — всё стало одним целым. Даже гордые народовольцы, посидев отдельной компанией, разбрелись и растворились в молодёжной толчее.

В большой комнате не смолкали колокольчиковые звуки аристона, и круг танцующих постепенно увеличивался, оттесняя споривших философов. В углу, за стойкой, сооружённой из двух столов, какой-то парень, очень похожий на Пешкова, торговал конфетами, печеньем, орехами и портером.

Было уже тесно, а из прихожей все входили по одному люди. Николай присматривался к незнакомым студентам, надеясь в ком-нибудь из них признать Ульянова, по пока никто не напоминал того человека, который представлялся по рассказам товарищей.

Явился Гурий Плетнёв с гармошкой.

— Приветствую, братцы студенты! — крикнул он. Друзья, в сен день блатсловенный забвенью бросим суеты. А ну, остановите эту машину. Он показал на аристон. — К чёрту ваш мёртвый металлический диск! Послушайте живой голос моей старушки.

— Гурий, милый, просим!

Ему поставили стул, он сел на него, набросил на плечо ремень гармошки.

— Что вам, братцы?

— Плясовую.

Гурий улыбнулся, подмигнул кому-то и с маху, без разгона, ударил «барыню». И сразу все расступились, а на круг вылетела курсистка Поля, народница, недавно вступившая в марксистский кружок. Она вскинула руки и понеслась, понеслась, развевая юбку. Плясала она отчаянно, с лихим пристуком, и Николаю казалось, что она и здесь отстаивает самобытность деревни, как отстаивала её когда-то в горячем споре на квартире Васильева. Подлетев к одному из философов, невольно засмотревшемуся на её мелькающие красные сафьяновые сапожки, она изогнулась перед ним, избоченилась и зовуще протянула к нему руки, и тот не выдержал, прыгнул в круг и пошёл откалывать трепака, и задрожала вся комната, *а* замигала висевшая под потолком бельгийская лампа, и Плетнёв, откинув, как скачущая пристяжка, голову в сторону, ещё яростнее принялся терзать свою гармошку, и эта старенькая двухрядка залилась бешеными звуками, и Николаю захотелось тоже броситься в круг, и он пожалел, что не научился плясать.

Гармошка, точно захлебнувшись, внезапно смолкла. Плетнёв поднялся, поставил её на стул и подошёл к Николаю, уже

будничный, даже жалкий в своей обтрёпанной одежонке. Трудно было поверить, что он может так играть, что в это тщедушное тело вложено столько неистового веселья.

— Сильный ты человек, — сказал Николай. — Вот и в «Крестах» посидел, а не сдал.

— Нет, братец, — сказал Гурий, — «Кресты»-то здорово меня надломили. Жуткая тюрьма. Новая, образцовая. Не советую туда попадать.

— Посмотри вон на того парня, — показал Николай. — Вон, за стойкой.

— Ну, вижу, а что?

— Кого он тебе напоминает?

— Чёрт, какое сходство! Настоящий Алёша Пешков. А что, Алексей вполне мог быть сейчас здесь. Дёрен ков послал бы его сюда с корзиной. С брошюрками под сдобой.

— Он ведь не только разносил брошюры. Оказывается, слушал лекции Бутлерова в университете.

— Знаешь, моя почта, вероятно, блокируется. Не может быть, чтоб Алёша не прислал мне ни одного письма. В прошлом году, когда печатали ваши листовки, мы здорово с ним сдружились.

— Как же ты отпустил его?

— Недосмотрел. Подвернулся этот кудрявый Ромась и утащил его в деревню просвещать мужиков. Тут меня вскоре заарестовали, а то бы можно разыскать.

— Потеряли такого парня.

— Не беспокойся, он не потеряется. Когда-нибудь зашумят о нём.

— Говорят, работает на дороге. Под Царицыном. Ведёт кружок.

— Братец, ты плохо осведомлён. Почаще надо обращаться к Плетневу. Плетнёв всегда даст свеженькую справочку. Пешков уже в Нижнем.

— Да что ты говоришь!

— Да, на днях приехал. В Москве побывал. Заходил к Толстому, да не застал его дома.

— Значит, теперь можно с ним связаться?

— Попробуем.

Кто-то завёл опять аристон. К Николаю подошла Аня и повела его танцевать вальс.

— Тряхни стариной, — сказала она. — Когда-то ведь ты был блестящим танцором.

— Мне неловко в таком костюме, — сказал Николай.

— Ну, сегодня ты выглядишь вполне прилично.

Они спокойно вальсировали в центре круга, никому не

мешали, и никто не мешал им.

— Поля-то, Поля! — сказала Аня. — Видел?

— Видел. Прямо искры из-под каблуков. Горячая. И жаждет простора. Не напрасно рвалась в деревню. Но там не стала бы так отплясывать. Там сейчас не пляшут, а стонут. Мгновенно сникла бы. А где её подруга?

— Соня? Здесь. Слушает стихи Надсона. Читает какой-то из духовной академии. В соседней комнате.

— Аня, где бы нам найти дачу?

— Дачу? Ты что это?

— Ну, не дачу, а просто сельскую квартирку. Надо нам забраться на лето в деревню. Будем печатать Энгельса и Каутского. Санин будет переводить, Скворцов — редактировать, а мы с тобой печатать.

Ягодкина возьмём, можно ещё кого-нибудь. Я познакомился с наборщиками, обещают достать шрифт. Нужно надёжное укрытие. У тебя ничего нет на примете?

— Надо подумать. Хочешь на Каспий? К моим родным?

— Нет, надо найти местечко под Казанью.

— Тут у меня нет знакомых… Ой, есть, есть! В Ключищах живёт моя подруга. Земская акушерка. Снимает целый домик да ещё флигелёк.

— Чудесно, Аня, это чудесно!

— Тише.

— Аня, ты съездишь к ней? А?

— Съезжу, съезжу.

— Знаешь, у меня намечается ещё одна большая работа. Я ведь в программной комиссии. Возложили на меня теоретическую часть. В мае должен представить проект. Стал изучать крестьянский вопрос и залез в дебри. Захватила история русской общины. Появились кое-какие мысли. Кажется, стоящие. Ворочаются, не дают покоя. Эх, если бы вышло с этими Ключищами!

— Думаю, выйдет.

— Аня, мы заживём чертовски интересно. Тишина, уединённая работа, общение с мужиками. И цветы. Полевые цветы! Давай выпьем бутылку портера.

— Ты получил за уроки?

— Да, получил.

— Возьми лучше конфэт. Я буду с подругами. Вон там, в том углу.

У буфета Николай столкнулся с юным Христом из духовной академии. Он стоял у стойки с портерной бутылкой и кружкой.

— Честь имею, — сказал он, слегка наклонившись. — Ну как,

воины? Не вырвали ещё победного венца из рук олимпийцев?

— Никак не можем добраться до Олимпа. — Николай попросил у продавца фунт конфет и повернулся к юноше с бородой. — А вы всё ещё с Буддой живёте?

— Да, с ним спокойнее.

— Желаю счастливого сна. Не пробуждайтесь.

— Пакетиков нет, — сказал продавец. — Позволите подать в тарелке?

— Не возражаю.

— Не хотите ли портера? — сказал бородатый юноша.

— Спасибо, не хочу. — Николай взял тарелку с конфетами и пошёл к девицам, но его остановил Ягодкин.

— Появился Ульянов. Там он, в маленькой комнате.

В маленькой комнате Ульянова не оказалось. Не оказалось его и в других.

— Ушёл, — сказал Ягодкин.

— Что же он так скоро покинул вечеринку? — сказал Николай.

Они стояли у стены в большой комнате и гадали, почему так поспешно ушёл Ульянов.

— Может быть, хотел посидеть за шахматами, а тут вон какая сутолока, — сказал Ягодкин. — А может быть, просто приходил внести пятьдесят копеек. Любовь-то Александровна, оказывается, приходится ему тёткой. Узнал от неё, что собираем деньги для ссыльных, и пришёл.

— Что-то ему тут не понравилось. Жалко. Не удалось увидеться.

— Да ты, наверно, его заметил. Такой плотный, небольшой, в тёмном пиджаке. Жилетка, белая рубашка, вместо галстука — шнурок с кисточками. Волосы короткие, мягкие.

— Нет, не видел такого.

— Кого это собрался угощать?

— Пожалуйста. — Николай протянул тарелку.

Ягодкин взял конфету, развернул её и вдруг ударил себя ладонью по лбу.

— Что ты? — сказал Николай.

— Вспомнил те слова: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст». Не оказаться бы мне на месте Иуды.

— Не болтай.

Подошли университетские студенты — Санин, Сычев и Выдрин. И с ними Петрусь Маслов. Николай всем предложил конфет. Санин презрительно отмахнулся, остальные трое взяли по конфете.

— Ну, теперь и не поймёшь, кто предаст, — сказал Ягодкин.

— Да хватит тебе болтать, — сказал Николай.

— А что такое? — спросил Санин.

— Есть нехорошая примета, — сказал Костя.

— Опять какую-то чушь городите.

— Предателей заранее надо закалывать, — заявил Выдрин.

— О, этот опять за кинжал! — сказал Ягодкин. — Откуда в тебе такая прыть? Ты даже кролика не убьёшь.

— Могу и тебя прикончить, если понадобится.

— Ну, троичане, троичане! — вмешался Николай. — Так недалеко и до скандала. Сычев, уйми своих земляков.

Сычев, толстый, стянутый тесным студенческим сюртуком, взял земляков под руки.

— Пошли, выпьем по бутылке пива, — сказал он и повёл их к стойке.

— Надо этого Выдрина спихнуть Сабунаову, — сказал Санин. — Марксиста из него не получится. Романтическая дурь в голове. Ищет приключений. Авантюрист, кажется.

— Никакой он не авантюрист, — сказал Маслов. — Просто парню не терпится драться. На баррикады бы его. Когда-нибудь пригодится. Из таких отчаянных выходят неплохие революционеры-бойцы.

— Никогда, — сказал Санин. — Никогда ничего толкового из таких не выходит. Вот ты — это да. Хорошим будешь бойцом. Казак.

Маслов покраснел, оскорблённый. Он считал себя теоретиком, будущим Плехановым. Всегда старался казаться интеллигентом, писал стихи и стыдился своего простого казацкого лица, полнокровного, круглого. Он хотел быть топким, даже тощим, как Санин, и злился на своё несокрушимое здоровье.

Они все были слишком молоды, и во многих сквозь раннюю серьёзность проглядывало забавное ребячество. Только Николай, самый юный из них, утратил всякую детскость.

— Время покажет, кто на что способен, — сказал Маслов.

— Да, время всех проверит, — согласился Санин. — Ты что, Николай, к девицам с конфетами-то? Ступай, ступай, кавалер. Не задерживаем.

Аня стояла в углу с Полей и Соней. Обе неразлучные подруги были в белых батистовых блузках и чёрных юбках, падающих на носки красных сапожек.

— Где ты запропал? — спросила Аня.

— Задержали друзья. — Николай с шутливой торжественностью преподнёс девицам тарелку с конфетами. — Избавьте меня от этой деликатной ноши, а то я таскаюсь с ней, смешу наших рахметовых. Поля, поздравляю. Ты распалила даже

неприступных философов. Соня, кажется, слушала стихи Надсона?

— Да, слушала.

— И как?

— Надсон никогда меня не трогал. А тут какой-то студентик читал так трагично, что всем было стыдно за него. — Соня запрокинула голову, завела глаза и протянула руку вперёд. — Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрёт, — продекламировала она дрожащим голосом и засмеялась. — А Чирикову все хлопали. Он прочёл сатирическую оду нашему Александру.

— Чириков? — спросил Николай. — Откуда он взялся?

— Он теперь в Нижнем, приехал навестить Казань. Подождите-ка, он, кажется, ещё здесь. — Соня осмотрелась и показала рукой на группу студентов, окруживших Чирикова. — Евгений! — крикнула она. — Можно вас на минутку?

Чириков подошёл, поздоровался с курсистками, снисходительно-добрый, такой же небрежно-элегантный и длинноволосый, каким был два года назад. Поговорив с Соней, он глянул на Николая и удивлённо вздёрнул брови.

— О, и вы здесь? Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Впрочем, можете не отвечать. Слышал о вас в Нижнем. И ещё кое-где. Становитесь известным на всю Волгу.

— Нечем мне быть известным, — сказал Николай. — Исключили из гимназии — вот и всё, чего добился.

— Ну, не скромничайте. С Колей Мотовиловым не переписываетесь?

— Потерял я его. Жил он в Пензе, потом куда-то его перегнали.

— Да, разбросали пас.

— Вы все в низовьях Волги мотались?

— Да, там.

— Из казанцев кого-нибудь встречали?

— Со многими встречался. Между прочим, под Царицыном столкнулся с Пешковым. Знаете такого?

— Знаю.

— Он вас хорошо вспоминает. Один раз, говорит видел, а запомнил на всю жизнь.

— Говорят, вы в Астрахани побывали у Чернышевского?

— Да, побывал.

— Как он себя чувствует?

— Плохо. Долго не проживёт. Скоро осиротеем. Ну, извините, мне надо повидаться с друзьями. Прощайте.

— Вот он какой, Чириков, — сказала Аня, когда он отошёл.

— Будущий Златовратский, — сказала Соня.

Николай показал кивком на стойку.

— Посмотрите, кто там стоит с бутылкой портера?

— Буддист? — сказала Соня.

— Он самый. Давно уже пьёт. Один. Буддийская отрешённость. Стоит и мудро усмехается. Мы кажемся ему ничтожными суетливыми букашками.

— Бог с ним, с вашим буддистом, — сказала Аня. — Пойдёмте куда-нибудь посидим. Я устала.

Они обогнули круг танцующих, прошли в дальнюю комнату и все четверо сели, стеснившись, на диван. В этой комнате сейчас было свободно, лишнюю мебель куда-то вынесли. Поодаль, в углу, сидела народоволка Четвергова и около неё — глава народнического кружка Березин. Напротив дивана, у стены, стоял, дымя толстой цигаркой в бамбуковом мундштуке, Павел Скворцов. Его окружали марксисты Лалаянц, Григорьев, Маслов и Петров, единственный на этой вечеринке рабочий, который, чтобы не выделяться, нарядился в новенькую чёрную тройку и, наоборот, резко выделился в этом совсем не обношенном костюме.

— Что вам могут дать эти писатели? — говорил Скворцов. — Что они знают о жизни народа? Им всё грезится патриархальная Русь. Древняя задруга. Вольный пахарь, песня жаворонка. Они не слышат лязга и грохота металла.

— По-моему, они хорошо всё видят, — несмело сказал Григорьев. — Возьмите Успенского…

— Ну что, что ваш Успенский? Плакальщик. Дремучий скептик.

— А Короленко? — спросил Лалаянц.

— Идеалист.

Николай, поймав взгляд Петрова, подозвал парня незаметным кивком к себе. Тот взял стул и подсел к дивану.

— Ну как, читали? — шепнул Николай.

— Да, читали. — Петров был членом центрального кружка и недавно переписал в комнате Николая весь «Коммунистический манифест», чтобы изучить его со своими заводскими друзьями. — Читали — хорошо понимают. Много было разговора. Здорово загорелись товарищи. Завтра опять собираемся.

— Я рад, очень рад. Спасибо, дорогой друг. Понимаете, вы делаете большое дело. Создаёте наш первый рабочий кружок. Приходите завтра вечерком — поговорим.

Петров кивнул головой и опять стал слушать Скворцова. Он наморщил лоб, напрягаясь, чтобы не пропустить ни одного слова. Николай смотрел на него сбоку и улыбался. Вот он, будущий

казанский Бебель. Такие и поведут русских рабочих на защиту своего молодого класса. Как он слушает, как слушает! Плохо, что этот тверской марксист перегибает.

— «Сон Макара», — говорил Скворцов, — Что это такое? Это мистика. Утончённая интеллигентская мистика.

— Павел Николаевич, в рассказе нет никакой мистики, — сказал Николай. — Вы, наверно, невнимательно читали.

— Я посмотрел начало и конец. Чушь. Не хватало ещё читать такую ерунду. Забавляется ваш Короленко. Окопался в благодатном Нижнем, отогрелся после Сибири, сидит и выдумывает сны.

— Вы же ещё его не знаете, Павел Николаевич. Это не только хороший писатель, но и замечательный публицист.

Скворцов махнул рукой.

— В Нижнем только один публицист. Анненский. Хоть и народник, но занимается полезным делом — статистикой. Остальные пустословят. Перепевают Михайловского.

Четвергова и Березин перестали разговаривать и прислушивались к Скворцову, а он с усмешкой поглядывал в их угол.

— Все эти мужицкие идеологи питаются у Михайловского, но он уже обанкротился. Ему нечем кормить питомцев. Растратил капиталец. Его расчёт на героев провалился. Герои оказались бессильными. Брались за бомбы — ничего не добились, пробовали поднять артель — вовсе ничего не вышло. Плетью обуха не перешибёшь.

— Простите, вы, кажется, марксист? — спросил Березин.

— Я просто трезвый человек.

— Это видно. Пьяные-то всё-таки за что-то берутся, а вы и рук не хотите поднимать. Зачем? За вас всё сделает историческая необходимость.

Вошёл рыжеволосый мужчина в клетчатом костюме. Он окинул взглядом комнату, и Петров, поняв, что человек хочет сесть, поднялся. Клетчатый взял стул и сел подле Четверговой.

Скворцов, засунув длинный мундштук за пояс, скрестил на груди руки (на локтях его серенькой косоворотки показались синие квадратные заплаты).

— Ну, продолжайте, — сказал он, глядя на Березина.

— Вы вот усмехаетесь, — сказал тот, — вам ничего не остаётся, как усмехаться. Ни работы, ни заботы. Зачем утруждать себя? Всё движется само собой. Пришёл капитализм — придёт в своё время и социализм. Чего там эти успенские ноют? Они просто не знают жизни. Сударь, да это вы ни черта не знаете! И знать ничего не хотите. Потрудитесь, съездите в деревню,

посмотрите, сколько там заколоченных изб.

— Заколоченные избы? Ну и что? Рушится ваша община? И пускай себе рушится. — Скворцов явно дразнил народников. — Что, прикажете привязать мужика к избе на цепь? Нет, он не хочет подыхать. Бежит в город. И ван его не остановить. И меня это нисколько не печалит. Знаю, что дело идёт не к худшему, а к лучшему.

— Молодой человек, — сказала Четвергова, — вы, я вижу, далеки и от марксизма. Маркс, насколько мне известно, не восторгался капитализмом.

— Я тоже не восторгаюсь. И не грущу. История не подчинена нашим эмоциям. К сожалению, чувства не воздействуют на экономику, а то я, так и быть, поплакал бы с вами, чтоб мужик не ел хлеба с лебедой.

— Это цинизм! — вскипел Березин. — Издевательство! Бессовестное глумление! — Он уже шагал по комнате и кричал, и этот кряк привлёк в комнату пять-шесть студентов. — Это чёрт знает что такое! Полное равнодушие к народу. Мужик голодает, бросает семью на произвол судьбы, бродит по городам в поисках работы, просит милостыню, а мы кощунственно глумимся над его бедой! Смеёмся!

— Кто же над этим может смеяться? — сказал один из вошедших.

— А вот он, перед вами, — сказал Березин. — Радуется, что гибнет деревня.

— Радуется? А кто его кормить будет? От хлеба-то небось не отказывается? Или на котлетах пробиться надеется?

— Он сахаром питается.

Скворцов, как он недавно рассказал Николаю, действительно питался одним сахаром, но не потому, что не хотел ничего другого, а для того, чтобы приспособить свой организм к минимальному рациону. Кто-то уже прослышал об этом и поспешил вот уколоть чудака. Студенты ещё не знали Скворцова и сейчас, внимательно рассматривая человека в залатанной рубахе, принимали, конечно, его за народника и удивлялись, почему он смеётся над бедами народа.

— Вот она, марксистская программа! — кричал Березин. — Пусть всё идёт, как идёт, а мы будем изучать капитал и наблюдать, как он ломает Россию.

— Господа! — сказал Николай, встав с дивана. — Человек обронил десяток слов, а вы подхватили и выдаёте их за марксистскую программу. Не думаю, что русские марксисты только радуются наступлению капитала. Да, они изучают его, потому что ныне с ним связаны все социальные проблемы России.

Да, они наблюдают за всеми его шагами, чтобы вступить с ним в схватку, в длительную борьбу.

— Любопытно, — сказал, покачивая носком ботинка, рыжеволосый мужчина, сидевший подле Четверговой, — любопытно, как же вы думаете с ним бороться, с этим капиталом?

— Кто это «вы»? Я говорю не о себе и не о ком-либо из присутствующих. Я говорю о русских марксистах.

— Федосеев, не прикидывайтесь, — сказал Березин. — Все здесь знают, что вы марксист.

— Да, я теперь обратился с вопросами к Марксу, потому что не мог найти на них ответов у Михайловского. Нет, пожалуй, я клевещу на Николая Константиновича. Ответы он давал, но их опровергала сама жизнь. Я тоже верил в его известную формулу. Вы не забыли её? Помните, что он говорил о разделении труда?

— Нет, не помню.

— Как же так? Слова учителя надо помнить. Это не просто слова, а его главная мысль. Он утверждал, что прогресс есть постепенное приближение к возможно более полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Я не нашёл подтверждения этой формулы ни в истории, ни в нашей действительности.

— А вы уверены, что наша действительность прогрессирует? — спросила Четвергова.

Николай смешался. В самом деле, прогрессирует ли нынешняя Россия? Свобода распята. Политика закована. Деревня больна и голодна. Город захлёбывается бродячим людом. Промышленность… А промышленность поднимается. Крепнет пролетариат, накапливающий революционные силы. Страна всё-таки движется вперёд. Но чем это доказать? Ростом капитала? Капитал для народников — регресс.

— Что же вы молчите? — сказала Четвергова.

— Я считаю, что и наша действительность прогрессирует. Не станете же вы утверждать, что со времени реформы Россия ни на йоту не поднялась. Или крепостная система всё-таки выше теперешней? — Четвергова смолчала, и Николай осмелел. — Общество движется всё дальше. Никакая реакция не может задержать его развитие. Реакция давит на все пружины, но, чем сильнее она давит на них, тем мощнее их последующий толчок вперёд.

— Допустим, — сказал Березин. — Допустим. И что из этого следует?

— Общество прогрессирует, но не по закону Михайловского. Николай Константинович призывает человечество к наименьшему

разделению труда между людьми и к наиболее полному разделению труда между органами, а жизнь всё делает наоборот. Она всё тщательнее делит труд между людьми и почти совсем не распределяет работу между органами отдельного человека. Она глуха к голосам проповедников. И мы с вами глухи. Лев Николаевич настойчиво уговаривает нас заняться физическим трудом. Глеб Успенский совестит нас, неустанно корит и зовёт на землю. Из Сибири донёсся сердитый окрик крестьянина Тимофея Бондарева. Этот философ заставляет нас заняться хлебным трудом. Златовратский и Засодимский тоже зовут в деревню. А мы вот снуём по Казани и ухом не ведём. Каждый ищет свою профессию, свою работу, своё дело. Нашлось среди нас здесь десятка два горячих и честных молодых людей.

Они бросились в деревню помогать мужикам. И что же? Вернулись несолоно хлебавши. Нет, говорят, мужицкому горю ничем не поможешь. Никакой здоровой общины, в которой Михайловский видит основы будущего социализма, они не нашли. Видимо, старые дороги теперь уж никуда не ведут, господа. Надо искать новые. — Николай опустился на диван.

Стало тихо. Березин стоял посреди комнаты и, заложив руки за спину, насупившись, исподлобья смотрел на Николая. Смотрели на него и друзья, и Четвергова, и мужчина в клетчатом костюме, всё ещё покачивающий носком ботинка. Спор не возобновлялся.

Вечеринка продолжалась, но Николай и Анна решили пройтись вдвоём и не стали ожидать конца. Когда они вышли из дома и окунулись в тёплую темень, Аня взяла его под руку и прижалась к нему.

— Какая ранняя нынче весна, — сказала она. — Прямо майская ночь. И тишина, тишина. Собачка тявкает. Где-то на краю света. Знаешь, такие глухие ночи мне почему-то напоминают «Одиссею». Вон далёкие огоньки. Чужие, странные. Коля, а ты ведь победил.

— Нет, — сказал он, — я почти потерпел поражение. По-моему, Четвергова нарочно не стала спорить. Пощадила. Умная женщина. В два счёта скрутила бы меня, если захотела бы. Мы ещё плохо вооружены. Надо изучить хорошенько деревню.

— Мы обязательно поедем в Ключищи. Правда?

Сзади послышался торопливый топот. Они не успели оглянуться, как их разъединил, втиснувшись между ними, Миша Григорьев.

— В Ключищи собираетесь? — сказал он. — И я с вами.

— Я просто болтаю, — сказала Аня.

— Не отпирайтесь. От меня не скроетесь. Догоню и увяжусь

за вами. Николай, теперь ты веришь мне? Я ведь уже не реалист, а будущий земский фельдшер.

— Я давно тебе верю, Миша. И как раз думал пригласить тебя в Ключищи. Есть интересное дело. Потом расскажу. Аня, пригласим его?

— Что ж, гость неплохой. Только надо договориться с подругой. В мае поеду к ней.

В конце мая Аня уехала в Ключищи. Никогда ничего Николай не ждал так нетерпеливо, как её возвращения. В тот день, в который она обещала вернуться, он не мог даже работать. Ранним утром принялся переводить «Нищету философии» и к полудню одолел всего четыре страницы. Что это за работа? Лучше уж не обманывать себя, а пойти на улицу, сесть на лавочку и ждать. Вот-вот появится. Если договорилась с подругой — спешит сообщить. У него тоже есть чем её порадовать. Вчера он получил письмо из Женевы. Оказывается, за границей готовится социалистический конгресс. Международный социалистический конгресс! Он соберётся в июле в Париже. Там будет Фридрих Энгельс.

Аня, наверно, уже въезжает сейчас в город. Сидит на телеге, слушает говорливого ключищинского мужичка и улыбается, довольная, что везёт радость. Понятно, сразу зайдёт сюда. Денёк-то, денёк-то какой! Ну как тут не выйти на солнце?

Николай захлопнул книгу, положил её вместе с тетрадью в стол. Поднялся, закрыл окно. Во дворе лязгнула щеколда калитки. Аня! Он кинулся её встречать и столкнулся в сенях с мужчиной в клетчатом костюме, которого видел недавно на вечеринке.

— Простите, что я без предупреждения, — сказал гость и протянул руку. — Михаил. А вас я уже знаю. Разрешите войти?

— Пожалуйста, — Николай провёл Михаила в комнату, предложил ему сесть, но тот отказался.

— Я ненадолго. — Он снял шляпу, бросил её на стул вверх мокрой подкладкой. — Дотолкуемся — встретимся в другом месте. Я знаю, что вы руководите марксистскими кружками. Имею кое-какие предложения.

— Никакими кружками я не руковожу, — сказал Николай. — Если у вас есть предложения лично ко мне, охотно выслушаю.

— Молодой человек, осторожность — хорошая вещь, но иногда надо и рисковать. Рискнём? Попробуем начать с откровенного объяснения. Я представитель «Народной воли». Не той, отжившей, а молодой, сильной.

Ага, так это Сабунаев! Организатор новой «Народной воли». Николай внимательней всмотрелся в пришельца. Лицо смуглое, а

волосы совершенно рыжие. Ясно, парик. И костюм не по росту большой, с чужого плеча. Кто-то принарядил беглеца. Кто-то помогает ему. Кто-то осведомляет его о том, что делается в конспиративном мире. Неужели люди верят, что он создаёт новую народовольческую партию, которая сможет захватить власть и установить в России демократию?

Сабунаев подошёл к столу и опёрся на него руками, как оратор на трибуну. Он что-то говорил, но Николай не прислушивался, всё пристальнее рассматривая этого рисующегося революционера, который и парик-то подобрал такой, чтоб было заметно, что это парик, и костюм-то нашёл настолько для него экзотический, что сразу видно — переодет человек. Ах, актёр, актёр! Но надо его всё-таки послушать.

— Я к марксистам отношусь с уважением, — говорил Сабунаев. — Это трезвые и цепкие люди. Они знают, что делать. И путь их верен. Верен, но длинен. Для России он не годится. Пока вы раскачиваете и поднимаете на борьбу пролетариат, самодержавие начисто сожрёт крестьянство. Кто будет кормить рабочих, когда они освободятся? Так вот, нам надо объединиться. Наша тактика нисколько но будет противоречить вашей.

— Какова же ваша тактика?

— Мы покроем всю Россию сетью революционных организаций. Все организации будут подчинены исполнительному комитету. Исполнительный комитет захватит верховную власть и объявит по организациям, а те перевернут всё на местах. Это не покушения старых народовольцев, а всеобщий захват молодой «Народной воли».

— Да, тактика великолепна, — сказал Николай. — К сожалению, я не могу к вам присоединиться, потому что но состою ни в какой организации, а одиночки вам не нужны.

— Боитесь? — сказал Сабунаев.

— Простите, ко мне сейчас придёт невеста. — Николай подошёл к окну, распахнул створки рамы.

— Невестами тут обзаводитесь. Смотрите, Федосеев. Со временем захотите присоединиться к нам, но будет поздно.

Николай смотрел в окно и молчал.

— Ну что ж, — сказал Сабунаев, — считаю, что разговор не состоялся. Разочаровывает меня Казань. Шуму много, а толку мало. Трусы вы, господа.

Николай обернулся — Сабунаев поспешно выдернул руку из бокового кармана пиджака. Мгновение они смотрели друг на друга в упор. Потом Сабунаев взял со стула шляпу.

— Прощайте, Федосеев, — сказал он и повернулся к двери.

Почему он так испуганно выдернул руку! Что у него там, в

кармане, — револьвер? Хотел пристрелить? Не похоже. Не стянул ли он что-нибудь со стола? Николай осмотрел книги и бумаги — нет, как будто всё лежало на месте. Чего же он испугался, этот храбрец? Какой неприятный человек. И много таких зацепит будущая революция. Долго потом от них очищаться… Опять лязг щеколды. Это уж Аня, непременно Аня.

Она вбежала в комнату, весёлая, солнечная, чуть загоревшая, в жёлтой газовой блузке. Вбежала и опешила.

— Ты что такой хмурый?

— Ничего, Аня, ничего. Рассказывай.

— Нет, сначала ты расскажи. Что случилось?

— Да ничего не случилось. Был у меня Сабунаев. Кажется, стащил что-то со стола. Нет, оставил что-то неприятное.

— Ничего не понимаю.

Николай взял Аню за плечи, посадил её на диван и сам сел рядом.

— Скажи, мы едем в Ключищи?

— Конечно, едем.

Он поцеловал её.

— Аня, я получил письмо от Пети Левашева. От того самого Пети, который прислал зимой «Происхождение семьи» и «Нищету философии». Сейчас он пишет о подготовке к социалистическому конгрессу. Понимаешь, на конгресс съедутся сотни делегатов разных стран. И наши там будут, наши! Русские!

— Плеханов?

— Да, Плеханов. И может быть, Вера Засулич. Русская социал-демократия уже вступает в международную жизнь.

— Коля, это же замечательно!

— А Сабунаев предлагал присоединиться к его организации. Несусветная чушь. Но не это меня омрачило. Раньше весь наш революционный стан представлялся мне единым. Казалось, в нём только честные люди. Разные, во многом между собой не согласные, но честные. И вот сегодня вдруг увидел революционера, который рвётся только к славе и власти. Тёмный и беспринципный человек. Я думаю, такими же были и наш Нечаев, и немец Швейцер. Окажись такие во главе победивших партий — станут диктаторами. Нет, революционеры далеко не едины. Между ними когда-нибудь разгорится жесточайшая борьба. Даже марксисты расколются. Вот Скворцов как-то уж очень узко смотрит на учение Маркса.

— Коленька, а ты хитрая бестия.

— Что такое?

— Шрифт-то, оказывается, давно лежит у Наташи.

— Милая, она же член нашего кружка, и я знал, что вы

дружите и что она тебе не откажет, приютит нас на лето, поэтому спрятал у неё в сарае ящик со шрифтом.

— Хитрый, хитрый. Так что же мы будем делать в Ключищах?

— Я уже говорил тебе.

— Уточни.

— Я займусь историей русской общины. Санин поедет на каникулы к отцу, переведёт и вышлет нам работу Каутского о Марксе, потом закончит начатый мною перевод «Происхождения семьи». Скворцов отредактирует и даст примечания. Потом мы пустим в ход нашу типографию. Подъедут Ягодкин и Миша Григорьев. Будем печатать не только Энгельса и Каутского, но и свои работы. И листовки,

— Да, работа большая. Вот что, милый. Собирайся, я повезу тебя в парк «Швейцария». Собирайся, собирайся. Надень чистую косоворотку. Ту, вышитую. Эту сбрось. Я отвернусь.

Через полчаса извозчик привёз их в пригородный парк, они нашли укромный овражек, спустились в него и сели на старый, давно покинутый и уже задернившийся муравейник. Их убежище с двух сторон было заслонено крутыми склончиками, а сверху затянуто прозрачной молодой листвой.

— Вот мы совсем-совсем одни, — сказала Аня. — Так далеко от людей мы с тобой никогда ещё не были. Нет, мы ведь два раза были на озере.

— Последний раз — полтора года назад. Осенью.

— А ты помнишь ту грустную снежную иву?

— Конечно, помню.

— Ты всегда будешь всё наше помнить?

— Даже тогда, когда ничего не буду помнить.

— У нас ещё очень мало только нашего. А ведь люди, даже те, кто доживёт до бесклассового общества, всегда кроме общего будут иметь что-то своё, личное, интимное. Правда?

— Да, конечно. Человек всегда будет иметь, например, своё неприкосновенное время, которое никто не сможет у него отнять. И показателем прогресса станет это личное неприкосновенное время.

— Нам всегда, даже через тысячу лет, нужно будет уединение.

— Да, шторы никогда не исчезнут.

Они долго молчали. На светло-зелёной молодой траве плясала солнечная рябь. Потом зелень вдруг потемнела. Аня подняла голову.

— Ой, какая чёрная туча! — сказала она. — Даже не чёрная, а синяя.

Николай тоже вскинул голову и стал смотреть на тучу. Её

скоро вспорола голубой ломаной линией молния, а через две-три секунды ударил гром.

— Гроза! — радостно вскрикнула Аня.

— Первый гром! — сказал Николай.

Они вскочили и обнялись. Уже пахло дождём, и крупные капли, щёлкая, пробивали слабую вешнюю листву. Аня всем телом горячо прижималась к Николаю. Потом она упруго оттолкнулась от него, взволнованная и раскрасневшаяся,

— Не надо, — сказала она. — Такая красота кругом. Опасно. Вот Ключищ-то я и боюсь. Или уж так и быть?

Николай смотрел на неё, пылающую, и радовался, что с ней и *это* будет прекрасно. Ему всегда *это* казалось или низменным, или страшным. Он не мог пойти на *это* ни с одной женщиной. Да?же Аня, когда он думал, что *это* когда-нибудь должно между ними произойти, отпугивала его и отталкивала, а сейчас он понял, что с ней *это* будет и радостно, ж высочайше-просто, без мучительного стыда, чисто и красиво, как у цветов.

Ещё раз сверкнула молния, ещё раз, гораздо сильнее, ударил гром, в овраг ворвался холодный ветер, за ним хлынул ливень. Аня мгновенно промокла, посмотрела на свою прилипшую к телу газовую блузку и улыбнулась.

— Иди, — сказала она, — иди, иди ко мне. Теперь не опасно.

Они опять обнялись.

— В Ключищах мы всегда будем выходить на дождь, — сказала Аня. — Не пропустим ни одного дождя. Правда?

20

— Почему вам понадобились именно Ключищи? — спросил полковник Гангардт. — Дознание закончено, и вы можете не отвечать на мои вопросы, но мне хотелось бы поговорить просто так. Свободно. К делу я не приобщу больше ни одной бумажки.

Дело это лежало перед Николаем на столике. Пять томов. Тридцать шесть обвиняемых. Тридцать шесть человек вырвано из организации, но она осталась живой, почти обезглавленной, и всё-таки живой. Товарищи продолжают действовать, и у Николая ещё не прерывалась с ними связь. Аресты прекращены, дознание закончено, полковник доволен — завершил своё дело, вызвал вот главного обвиняемого познакомиться с делом, получил последнюю подпись, больше ему пока ничего не нужно, но не может быть, что ему хочется поговорить *просто так.*

Николай отодвинул стопу объёмистых томов и посмотрел на полковника, сидевшего у противоположной стены за большим зелёным столом. Гангардт поднялся и стал ходить по кабинету — по яркой ковровой дорожке, тянувшейся от стола до дверей.

— Почему бы не поехать было вам, скажем, в Бездну? Это давнишнее и, пожалуй, единственное у нас тут революционное село. Ещё в шестьдесят первом восставало. В шестьдесят первом, понимаете? Другие деревни тогда ещё чего-то ждали, на что-то надеялись, а Бездна взяла да и взбунтовалась. Оружием усмиряли. Вот бы и пожить вам там. Честно говорю. Пожить да понюхать, сохранился ли мужицкий пугачёвский дух. А вы в Ключищи. Это же почти пригород. Или вам только место для типографской работы нужно было? И опять же — почему именно Ключищи? Понимаете, меня сейчас интересует не содержание вашего дела, а логика, психология.

Николай усмехнулся. Ага, значит не «просто так» заговорил этот хитрый полковник. Не без корысти. Хочет понять логику и психологию дела. Это в будущем ему пригодится. Чёрт, как он великолепен в этом изящном мундире! Умеет жандармерия одеваться. Цвет-то, цвет-то какой им подобрали — вкрадчивый, успокаивающий. Не синий, не голубой, какой-то неопределённый. Располагающий. Хитро.

— Федосеев, скажите откровенно, как вам пришли в голову Ключищи? Как вообще это было?

— Как это было? Господин полковник, надоело отвечать. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Если вам действительно хочется поговорить.

— Ну что ж, коль боитесь откровенности, я тоже не хочу её. Я

потому заговорил с вами, что знал вас ещё гимназистом. Вы помните меня?

— Да, мы встречались года три назад. У тогдашнего моего хозяина, который, по-моему, служил вам.

— Мне?

— Нет, вашему ведомству.

— Ну это уж вы перехватили. Понимаю, что революционер должен быть осторожен, но нельзя же всех подозревать.

— Вы ничего не знаете об этой семье? Где она теперь?

— К сожалению, ничего не знаю.

— Говорят, хозяин потерял службу, сын его кончил жизнь самоубийством, с дочерью тоже что-то неладно.

— Не знаю, не знаю.

— И хозяйка, наверно, поблекла. Красивая была.

— Да, приятная была женщина. Между прочим, вами всегда восхищалась. И ведь действительно было чем восхищаться. Эх, Федосеев, ничего от вас не осталось. Вижу совсем другого человека. — Полковник прошёл за стол, сел и откинулся на спинку кресла, закинув ногу на ногу и охватив руками колено. — Аристократом теперь уже никогда не будете. Не сожалеете?

— Нет, не сожалею.

— Читал ваши записи. Интересные мысли. Пишите. Только недолго остаётся вам гостить в нашем замке. Придёт приговор — пошлют вас, наверно, в «Кресты». Что ж, и там можно работать. Кампанелла сидел двадцать семь лет и написал знаменитую книгу. Да и в России у вас есть пример. Чернышевский. Ничего, Федосеев. Не так уж вы несчастны. У вас и невеста вон какая. Умная, красивая. И главное, верная. Выпустили её на поруки, так она нас замучила. И меня, и губернатора. Просит, умоляет, требует, грозит. Дайте разрешение на венчанье — больше знать ничего не хочет.

Николай перестал слушать полковника, задумавшись об Анне. Она почти добилась своего, начальство уже готово было дать разрешение на венец, она поехала к родным в Астрахань и вот что-то долго не возвращается. Не попала ли снова в тюрьму? А может быть, скрутили родные? Нет, её никто не сможет связать. Что-то про мать он там?

— Что вы сказали?

— Говорю, маман-то ваша получила разрешение на свидание, а к вам не пришла, поспешила домой. Слишком большое преступление — напугалась, отреклась от вас. А невеста не отступилась. Такие не отступаются. За письмо-то на неё не сердитесь?

— За какое?

— Ну, за то, которое она послала Матвееву.

— Это неосторожность, но не предательство.

— Правильно. Не сердитесь. Мы вас раскрыли бы и без письма, только гораздо позднее. — Гангардт снова встал и зашагал по ковровой дорожке.

Николай следил вашего движениями и думал о том, что полковнику помогла создать дело случайность.

В феврале прошлого года взрывается в Цюрихе опытная бомба. Погибает русский эмигрант, который со испытывал. Департамент полиции начинает следствие. Кто готовил бомбу? Народовольцы. Ага, значит, они живы? Живы, только перебрались за границу.

Но не может быть, чтобы у них не осталось связей в России. Начинаются поиски. Воспой арестовывают в Петербурге Матвеева и находят у него письмо Анны. Письмо невинное, дружеское, но есть в нём три строки, по которым можно догадаться, что в Казани действует какой-то молодёжный кружок. Надо найти эту Анну Соловьеву. Летит из Петербурга в Казань департаментская депеша, и вот уже несутся в Ключищи две жандармские тройки, и в кабинете сейчас слышатся заливистые звуки их колокольчиков, звеневших год с лишним назад в тридцати верстах отсюда…

— Значит, откровенного разговора у нас не получается? — сказал полковник.

— Он получился у вас с Выдриным. Вам удалось его обработать.

— На то мы и поставлены. Нам всё удаётся, Федосеев, а у вас ничего не выходит. Мы сильны, а вы ничтожно слабы.

— Не так уж вы сильны, если не можете побороть страха. Вы всего боитесь. Боитесь мысли, боитесь свободного слова, боитесь критики, боитесь людских сборищ.

— Ничего мы не боимся. Просто добиваемся нравственной чистоты и выкорчёвываем крамолу.—

Полковник, двигаясь от двери к столу, резко повернулся к Николаю. — Хотите, чтоб вам всё позволили? Нет, мы будем давить на вас всей силой государственного пресса и выжмем из голов всякую дрянь.

Николай вскочил со стула, ударил ладонью по столику.

— Чем сильнее давите, тем скорее взорвётесь!

— Федосеев, — сказал Гангардт, сложив руки на груди, — на вас лично мы здесь, видимо, слабо давили, иначе вы держались бы как положено. Жалко, что не останется времени на ваше воспитание. Но ничего, нашу ошибку исправят «Кресты».

Часть вторая

1

Поезд, приближаясь к станции, замедлил ход. Федосеев последний раз приник к окну и глянул вперёд.

— Приехали, Костя, — сказал он. — Вот она, древняя Русь.

Ягодкин придвинулся и тоже прижался лицом к оттаявшему стеклу.

— Гнездо Юрьевичей. Стольный град Андрея и Всеволода.

На белой крутой горке горели в солнечном свете золотые главы соборов, а дальше, за этими гроздьями куполов, на холме, выступающем снежным мысом, виднелся полукруг зубчатой кремлёвской стены.

— Да, это не Петра творенье, — сказал Федосеев. — И далеко не Москва, не Казань. Окаменевшая суздальская старина.

Они стали одеваться и собираться. Собственно, собирать было нечего. Почти одни книги. Старые, отбывшие с Николаем два с половиной года заключения, и новые, купленные в день освобождения в Петербурге. Три связки книг и небольшой тюк постели — вот и весь багаж.

Они спустились на платформу, прошли через вокзал и очутились на площади, заставленной санями. Сани тут были самые разнообразные — и настоящие извозчичьи, с меховыми полостями, и узенькие, только на двух седоков, и вместительные, глубокие, обитые цветным сукном, и ломовые, с плоским настилом, и беговые, с высоким продольным сиденьем, на котором надо ехать верхом, и низкие пошевни, и розвальни с широкими отводами, и простые дровни мужика, что-то продавшего на базаре и тоже подъехавшего к вокзалу в надежде подработать — авось подвернётся кто-нибудь, кому надо в деревню. Извозчики сидели на облучках, топтались около саней, галдели, каждый зазывал к себе, а один из них, чернобородый, в дублёном полушубке, маленький, быстрый, подбежал к Федосееву, выхватил у него тюк, унёс его и положил в свои новенькие, обтянутые свежей рогожей пошевни. Потом уложил книги, усадил пассажиров в задок, на скамеечку, сам сел на доску, приделанную впереди к отводам.

— Как вас, с ветерком? — спросил он, обернувшись.

— Нет, езжайте шагом, — сказал Федосеев. — Надо посмотреть город.

Тронулись, оставили площадь, повернули влево, поехали в гору по узкой улочке, стеснённой с обеих сторон старыми двухэтажными домишками. Впереди высился тот же холм с крепостной стеной вверху, только теперь виден был другой его

склон, противоположный. Пошевни скоро повернули вправо, и белая гора оказалась сбоку, слева.

— Что за этой стеной? — спросил, глядя вверх, Ягодкин.

— Мужской монастырь, — сказал возница, не оборачиваясь, пошевеливая вожжой лошадку, тяжело шагавшую на подъём. — В старину там лежали мощи Александра Невского. Говорят, Пётр потребовал их в свой город. Перевезли будто бы прах-то. Не знаете, это правда?

— А как же, — сказал Ягодкин, — до Москвы пешком несли.

— Смотри-ка! И это известно. Видать, вы люди-то учёные. На житьё к нам?

— На житьё.

— Не из этих, не из политических?

— Да как вам сказать…

— Ну-ну, вижу, вижу. Беда с вами. Хотите народу добра, а ничего не выходит. Гоняют вас, бедняг, по грешной земле. В номера, говорите, везти? Вот они, номера-то, рядом. Может, в квартирке нуждаетесь?

— А у вас есть на примете? — спросил Федосеев.

— Да есть тут знакомые.

Поднялись на горку, остановились у гостиницы. Напротив, через дорогу, довольно людную, стоял дом с вывеской, и около него тоже, как на вокзальной площади, собралось десятка два извозчиков.

— Это всё из Ямской слободы, — сказал возница. — У них тут и трактир, и биржа. Если в дальнюю дорогу — сюда приходите. Так как же, остановитесь в номерах или везти дальше?

— Везите к вашим знакомым, — сказал Федосеев. — Может быть, договоримся с ними.

— Тогда поедем на Большую Ильинскую. Это недалеко.

Пересекли главную улицу (справа на ней показался златоглавый храм) и стали спускаться под горку вдоль вала, воздвигнутого, наверно, во времена Боголюбского. За валом поодаль вздымался купол старинной церкви. Там, за этим многовековым земляным укреплённом, лежал город владимиро-суздальских князей, и интересно будет посмотреть, что от него осталось. Историку тут есть чем заняться. А что делать здесь революционеру? Ни фабрик, ни единого института. Основное население — губернское чиновничество. Федосеев и Ягодкин молчали. Пять дней они непрестанно говорили, а тут вдруг притихли.

Извозчик свернул вправо и выехал на безлюдную улицу.

— Вот и Большая Ильинская.

Федосеев осмотрелся. Большая? Это же совсем глухая улица.

Только отъехали от главной, и уже настоящее захолустье. Никакого движения. Ни единого высокого здания. Заурядные мещанские домики, деревянные, приподнятые каменными полуэтажами.

А вот гнездо какого-то не очень широкого купчика. Приземистый особнячок. Массивный кирпичный забор — крепостная стена в миниатюре.

Пошевни остановились.

— Ну, забирайте пожитки-то, — сказал извозчик.

— Но надо сначала переговорить с хозяином, — сказал Ягодкин. — Может быть, не пустит.

— Пустит, пустит. — Извозчик провёл приезжих во двор, потом в просторные сени с дверями с той и другой стороны. Поднялись по лесенке на второй этаж, опустили пожитки на пол. Открылась одна из четырёх дверей, и в сени вышел лысый мужчина в овчинной жилетке.

— Вот, господин Латендорф, — сказал извозчик, — гостей привёл.

— Милости просим.

— Хотят на постой остановиться. Которая у вас тут сдаётся-то? Вверху или внизу?

— Вот эта. — Латендорф показал на дверь рядом с той, из которой вышел. — Заходите, посмотрите.

Квартира состояла из двух комнат, достаточно светлых, тёплых, обставленных простенькой мебелью.

— И сколько стоит это жилище? — оглядевшись, спросил Ягодкин, считавший себя несравненно практичнее своего друга.

— Не дороже денег, — сказал Латендорф. — Сойдёмся. Не бойтесь — не оберу.

— Что ж, можно располагаться?

— Вы не все посмотрели. У вас будет ещё кухня. — Хозяин провёл их через сени в дверь напротив. Кухня оказалась просторной, с русской печью, плитой и большим столом. Федосеев подошёл к окну и через крышу домов увидел церковные купола. Извозчик перехватил взгляд приезжего, усмехнулся.

— К обедне ходить будет близко. Церкви рядом.

Целых три. Сергия Преподобного, Ильи Пророка, Иоанна Богослова. Всё под боком.

— Да, церквей тут у вас много, — сказал Федосеев.

— На том стоим Значит, остаётесь?

— Да, остаёмся.

Извозчик вышел в сени, взял тюк и отнёс его в комнаты.

— Ну, я поехал, — сказал он. — Деньги-то есть вас?

Ягодкин дал ему двугривенный. Мужичок покачан головой.

— Да, бедно живёте. Обносились, пообшаркались. А всё-таки видно — господа. Из дворян. Ну, счастливо. Дай вам бог обжиться.

Квартиранты остались одни. Ягодкин развязал постель, кое-как прикрыл ею две кровати и принялся по-своему переставлять мебель. Федосеев стал разбирать и раскладывать книги. Листы и тетради, исписанные в тюрьме, он положил на стол.

Через час друзья привели всё в порядок. Верные арестантской привычке, они, заложив руки за спину, ходили по большой комнате и впервые за эти пять дней думали молча.

Их новая жизнь началась в тот момент, когда они, получив в полиция разрешение остаться на два дня в Петербурге, с удовольствием распрощались с напутствующим директором департамента и вышли на улицу, где их ждала взволнованная Мария Германовна. Выход на свободу был ошеломляющ. Пушкинский морозный солнечный день, лавина людей на гоголевском Невском проспекте, красивые дамы в мехах, сановитые, сияющие пуговицами чиновники министерств и департаментов. Обильные лавки, невиданно роскошные магазины, богатая книжная торговля (пришлось разориться и купить Блюма, Летурно и стокгольмские лекции Ковалевского), сказочная публичная библиотека («кузина» взяла тут две книги для своих подопечных). Потом мрачные кварталы Достоевского, каменные джунгли какого-то огромного дома, тёмный коридор, спуск в какой-то подвал и встреча с близким знакомым Михаила Бруснева (сам Бруснев, с которым так хотелось познакомиться, оказывается, ещё летом уехал в Москву, чтобы связать петербургскую социал-демократическую группу с городами средней России). Потом уютная комната Марии Германовны, настоящий (о блаженство!) домашний чай, чёрный блеск пианино, нежные руки над клавишами. Новая музыка — только что пробившийся в Россию Григ, новые стихи — только что прославившийся Фофанов. Потом вокзал, уплывающая платформа, и на ней, как на оторвавшейся льдине, растерянная Маша. Ускоряющийся бег поезда. Круговерть белых прямоугольных пашен, окружённых тёмными лесами. Мелькающие сиротливые деревеньки, засыпанные снегом. Санные извилистые дороги вдоль железного пути, жалко семенящие лохматые лошадки, порожние дровни, мужики в залатанных ветхих шубёнках. Потом Москва, развязная и хмельная, разодетая и оборванная. Москва, поглощающая уйму мясной и рыбной всячины Охотного ряда, ублажающая свой желудок в дорогих трактирах Тестова и Егорова, пьющая водку и шампанское с квасом, лакомящаяся сластями из магазина Елисеева, жующая

жареные пирожки в булочной Филиппова, пожирающая зелёную требуху на Хитровом рынке. Москва, кишащая нищими и всяким безработным людом. Москва, заливающаяся потом, выбивающаяся из сил, чтобы испечь хлеб на весь город и прилично одеть все упитанные тела. Москва, замышляющая опрокинуть социальный российский порядок и собирающая всех его противников в кружки.

В этой тайной Москве где-то скрывался Михаил Бруснев, которого и тут не удалось увидеть, потому что и здесь, как и в Петербурге, им, выпущенным из «Крестов», запрещено было задерживаться — пришлось поспешить во Владимир.

Федосеев подошёл к окну, посмотрел на домики с белыми крышами, на свежий снег, примятый только посреди улицы, проводил глазами проехавшего водовоза с обледенелой бочкой, повернулся к Ягодкину, глядевшему в другое окно, и хлопнул его по плечу.

— Ничего, Костя! Здесь всё-таки лучше, чем в «Крестах». И не может быть, чтоб мы не нашли тут ни одного нашего.

— Да, но ты мечтал познакомиться с рабочими.

— И рабочих найдём. Не здесь, так по соседству.

Не забывай, мы в губернии текстильщиков. Иваново-Вознесенск, Александров, Шуя, Вязники. Знаменитое Орехово-Зуево. Отыщем участников морозовской стачки! Нот, мы не прогадали. — Николай глянул на подоконник и вдруг смолк: между летней и зимней рамами лежал пласт пожелтевшего мха, и из него высовывалась ссохшаяся головка какого-то лесного цветка, и это щемяще напомнило Анины ромашки, которые остались засыхать в ключищинском флигельке на подоконнике. Вспоминает ли Анна эти «особенные», именно «те» цветы? Как нелепо всё сложилось! Видно, уж никогда её больше не увидеть. Ни её, ни Казани, ни старых друзей. Возможно, не встретиться и с теми, кто остался в «Крестах».

— Ну, что сник? — сказал Ягодкин. — Уговаривал, утешал, а сам голову опустил. Идём, прогуляемся. Да и поесть где-то надо.

Они оделись, вышли из дому и пошли по Большой Ильинской, но не туда, откуда в неё въехали, а в другую сторону. Впереди слева показался пустырь — они свернули вправо, миновали переулок и очутились на главной улице, Нижегородской, около духовной семинарии и трёх церквей, одна из которых стояла прямо на дороге, и люди объезжали и обходили её. Из дверей семинарии вывалила толпа воспитанников. Ягодкин остановил одного и спросил, как пройти к Успенскому собору. Семинарист обрадовался случаю познакомить приезжих с городом.

— Идёмте, покажу. Откуда к нам пожаловали?

— Из Петербурга…

— Из Петербурга?! — Семинарист даже приостановился и придержал за рукав Ягодкина. — Вас выслали? Вот здорово! Знаете, такие люди у нас в почёте. Молодёжь к таким относится с уважением. Идёмте, я всё вам покажу. Вот монастырская стена, а это — дом Столетовых. Дальше — вторая полицейская часть.

— Очень приятно, — усмехнулся Федосеев.

Семинарист продолжал показывать достопримечательности. Он увлёк «петербуржцев» в церковный музей, потом повёл мимо губернаторского дворца к белокаменному Дмитриевскому собору и дальше, мимо длинного здания губернских присутствий, к древнему Успенскому, построенному Андреем Боголюбским. Потащил по Дворянской улице, мимо торговых рядов, мимо банка и церкви Николы Златовратского, к семивековым Золотым воротам и Козлову валу, на Студёную гору, откуда Батый двинул свою орду на осаду княжеских укреплений. Потом семинарист увёл в Ямскую слободу и показал церквушку, знаменитую тем, что в ней венчался Герцен.

Вернулись в город сумерками. На Нижегородской уже горели фонари, и в их жёлтом свете кружились снежные хлопья.

Зашли в дешёвенький трактир, поели. Семинарист проводил почётных знакомых, показал им рукой на домик Златовратского, но улица была темна, домика они не разглядели, а подходить, к нему не стали, поблагодарили проводника и, простившись с ним, пошли спать.

Они проспали до полудня, зато поднялись совершенно свежие, ощутимо здоровые, сильные. Только здесь, в тишине, в просторных комнатах, полных ясного света, они по-настоящему осознали возвращённую свободу. До сих пор они были просто ошеломлены резкой переменой жизни, а теперь пришли в себя и могли всё воспринимать более спокойно и глубоко.

Умывшись на кухне холодной водой, они вернулись в комнаты, и Костя заговорил о том, что надо купить или взять на подержание у хозяев самовар и столовую посуду. Николай подошёл к окну.

— Вот он, домик Златовратского. Посмотри. Вон, наискосок, с белым камедным низом. Очень уютный домик. Уездный, полудеревенский. В таком и должен обитать писатель-народник. Столько в жизни неожиданностей! Зачитывались мы когда-то Златовратским, но разве могли подумать, что будем жить с ним рядом?

Со двора, куда они смотрели, вышел мужчина в чёрном, с белой оторочкой полушубке. Посреди улицы он остановился.

— Это не он, — сказал Ягодкин. — Я представляю его простеньким, мужиковатым, а этот, видать, с гонорком. Посмотри, каким Наполеоном стоит. Кого он ждёт?

Из калитки вышли ещё двое, один молоденький, высокий, другой пожилой, сутуловатый, в старой сборчатой шубе.

— Вот это Златовратский, — сказал Ягодкин. — С сыном, наверно. К нам направляются.

— Как же, только нас и ждали, чтоб засвидетельствовать почтение.

— Но ведь к нам же, к нам идут.

— Может быть, к хозяину! На всякий случай приготовимся к приёму. — Николай поспешно надел новую шерстяную косоворотку, подпоясался ремнём, причесался, провёл пальцами по усикам, для чего-то протёр платочком очки. Ягодкин натянул долго лежавший в тюремном цейхгаузе студенческий сюртук, тоже привёл в порядок свои отросшие, но далеко ещё не прежние, не гоголевские, волосы и тоже протёр очки.

Те трое вошли в сени. Слышно было, как они, топая, сбивая с обуви снег, поднялись по лестнице, миновали первую, хозяйскую дверь и постучали во вторую. Ягодкин кинулся в прихожую встречать. Он помог гостям раздеться, потом провёл их через маленькую комнату в большую. Стали знакомиться. Гордый красивый мужчина назвался Николаевым, юноша — Сергиевским, а тот, кого Ягодкин принял за Николая Златовратского, — Ивановым.

— Говорят, вы из Петербурга? — сказал Николаев, шагая по комнате.

— Да, оттуда, — сказал Ягодкин.

— Что нового в столице?

— Да мы ведь только глянули на неё.

— Понятно. Где сидели? В Петропавловской?

— Нет, в «Крестах».

— Ну, господа, тогда вы ещё не знаете, что такое тюрьма. «Кресты» показывают иностранцам. Пожалуйста, полюбуйтесь, какой образцовый тюремный порядок в России.

— Образцовый порядок? — сказал Федосеев.—

Вот он-то и доводит арестантов до самоубийства. Бросаются с балконов на асфальт, разбивают головы о калориферы, вешаются. Я не желаю вам испытать этот образцовый порядок на себе.

Николаев остановился, качнулся на носках, с усмешкой посмотрел на Федосеева.

— Молодой человек, мы испытали кое-что посерьёзнее ваших «Крестов». — Он повернулся к Иванову. — Николай Иванович, оказывается, мы с вами ничего не видели, ничего не пережили.

Вот они, первые-то мученики. Что вы скажете?

Иванов уже по-хозяйски сидел у стола, сморкался в платок, покрякивал, и видно было, что он и поведёт разговор, ради которого они пришли сюда.

— Чего вы хотите — молодёжь, — сказал он, засунув платок в прорезной карман тёплой блузы. — Наша современная молодёжь. Предшественников и знать не хочет. Прошлое забыто.

— Это в порядке вещей, — сказал Николаев. — Их на каторгу но шлют. Годик-два тюрьмы и высылка в ближайшую губернию. А в Вилюйск не хотели бы? Через «Кресты» идут и уголовники. Герои шли через Шлиссельбург, через Петропавловскую. В Якутию, на карийскую каторгу.

— Героев они нынче не признают. Что им Перовская или какой-нибудь Мышкин? Фантазёры, заговорщики. Дела давно минувших дней. Зачем это помнить? Так ведь, молодые люди?

— Господа, мы никого не забыли, — сказал Федосеев. — Преступно было бы топтать ваше прошлое.

— Приятно слышать, — сказал Иванов. — Извините, если не за тех вас приняли. Тут новые нигилисты появляются. В Самаре, в Казани, в Нижнем, в Москве. Все из молодых. Апологеты капитала.

— Марксята, — сказал Николаев. — Самоуверенные мальчишки.

Федосеев вспыхнул, вскочил со стула, хотел выпалить что-то дерзкое, но не подобрал сразу подходящего слова, прошёлся по комнате и, взяв себя в руки, опять сел.

— Мне кажется, о марксистах вы только слышали, а ведь не мешало бы поближе с ними познакомиться, прежде чем судить о них.

— Познакомиться? — сказал Иванов. — Имели, имели такое счастье. Приезжали сюда. Спасибо, не обошли, не погнушались. Один тут был из Нижнего. Кстати, он, кажется, из бывшей вашей казанской компании. Скворцов. Не припоминаете?

— Помню. И очень хорошо. Что, разве он приезжал сюда?

— А как же, осчастливил, просветил нас, преподал несколько лекций. Фанатик. Кроме своего учителя, никого и ничего не признаёт. Скучно.

— Ну, а самого-то Маркса вы знаете?

— К сожалению, в России он не побывал. *К сожалению.* Надо было ему посмотреть нашу страну. Тогда он понял бы, что его теория чужда России. Неприменима. На Западе, может быть, действительно всё решит пролетариат, а нам надо ждать столетия, чтобы рабочий смог взять в свои руки государство и управлять им. Он не прошёл ни производственной школы, ни

школы демократии. На это нужны века.

— А кто же в России прошёл эти школы? Чиновничество? Оно всегда было рычагом абсолютизма. Интеллигенция? Она шумела только в своих квартирах. Крестьянство? Оно…

— Да, да! — перебил Иванов. — Именно, крестьянство. Оно прошло и ту, и другую школу.

— Когда? Где?

— В своей сельской общине. Она обучила мужика коллективной жизни, и за это он пронёс её в целости от Рюрика до Александра Третьего, который старается погубить и мужика, и его общину.

— Николай Иванович, где же вы узрели вашу общину в целости? От неё уж ничего не осталось.

— Нет, Николай Евграфович, она в опасности, но ещё жива, жива, слава богу. Её не могут доконать ни император, ни его министры, ни Морозовы, ни Мамонтовы. Она глубоко ушла корнями в землю. Дайте ей вдоволь земли, и она накормит весь мир. Ей ничего не надо, кроме земли и свободного труда. И заметьте, прежние правители понимали, что сила русского народа — артельный дух мужика, общинное его нутро. Понимали и поддерживали природную форму крестьянской жизни.

— Да, уже в шестнадцатом веке московские цари начинают подпирать и укреплять общину. Но почему, чёрт возьми, почему? — Федосеев опять вскочил, быстро прошёлся по комнате, переставил стул и сел к столу против Иванова. — И нынешний император тоже юрой за общину. Почему? Потому, что им, правителям, легче собирать подати. Нажми на старосту, и тот выдавит из общинников все соки. Правительство изо всех сил старается сохранить сельскую общину, но тщетно. Она начала разлагаться ещё в недрах крепостничества.

— Разве? — сказал Николаев. Он давно стоял у окна, спиной к спорящим, но тут обернулся. — Ошибаетесь, молодой человек. Наша община не разлагалась, а формировалась и развилась во времена феодализма. — Степенно шагая взад и вперёд, он стал излагать теорию Чичерина.

Доказав государственное происхождение общины тем, что её, древнюю, родовую, до основания перестроили по-своему князья и первые русские цари, Николаев эффектно заключил, что она, такая, какой дошла до современности, представляет собой совершенно оригинальный общественный организм, способный дать новую социальную систему.

— Что же, надо, значит, вернуться назад? — сказал Федосеев. — Прекрасные были времена для крестьянства. Иван Грозный ограничил власть наместников и разрешил общинникам

выбирать старост и целовальников. Пётр Первый посадил мужиков на государственные земли. Екатерина Вторая узаконила своей межевой инструкцией общинное землевладение. Нет, господа! — Федосеев встал и подошёл к Николаеву, который снова отвернулся было к окну. — Нет, ни великие князья, ни прежние цари не перестраивали общину в интересах крестьянства, а каждый из них по-своему вытягивал из неё жилы. Но она всё-таки не погибла, пока не попала под колёса капитала.

— А вы радуетесь, — сказал Иванов. — Приветствуете капитализм. Да понимаете ли вы, что это чудовище, если его не остановить, поломает весь русский уклад, расшатает нравственность, уничтожит народные традиции и обычаи. Погубит наш национальный быт — всё, что мы пронесли через века, что приобрели на своём историческом пути.

— Николай Иванович, — сказал, отойдя от окна, Николаев, — вы думаете, им это дорого?

— Да, дорого! — сказал Федосеев, шагая по комнате. — Гусли, пастуший рожок. «Коси, коса, пока роса». Чудесные русские пословицы, протяжные печальные песни. Замшелая водяная мельница. Всё это нам тоже, как и вам, дорого. И всё это действительно со временем исчезнет, и мы пожалеем, взгрустнём. Не только мы. Найдётся какой-нибудь милый чудак, которому и в середине двадцатого века вздумается вернуть хороводы и девичьи венки из цветов. Он взмолится, возопит: «Люди, давайте восстановим утраченную красоту!» Но современники его не услышат — кругом гул машин. И не поймут, потому что откроют красоту в чём-то другом. Социальный процесс необратим. Назад хода нет. И как ни отмахивайся от капитализма — никуда от него не уйти. Он пронизал всю русскую хозяйственную систему. Он шагает и действительно ломает всё на пути. Нам остаётся только объединиться и принять его вызов. Иначе он всех нас передавит. По одному. Вам пора бы изучить его повадки. Кругом фабрики. Не заглядываете?

Никто не отвечал. Николаев опять стоял у окна, отвернувшись. Иванов задумчиво постукивал карандашом по столу. Ягодкин и Сергиевский сидели на диване и давно уже о чём-то перешёптывались, как будто весь этот спор не задевал ни того, ни другого. Удивительно, как скоро они сблизились. Что их объединило? Сергиевский, свободно откинувшись на спинку дивана и сомкнув руки на колене, играл большими пальцами, улыбался и поглядывал то на Иванова, то на Николаева. Очевидно, он не разделял взглядов своих старших товарищей. Красивый, смуглый, с короткими курчавыми волосами, обтянутый новым серым сюртуком, он смахивал на молоденького офицера из

бедной дворянской семьи.

— Ну что ж, Николай Иванович, — сказал, обернувшись, Николаев. — Идёмте?

— Да, идём, — сказал Иванов, очнувшись от раздумья. — Спасибо, господа, за приём.

— Извините, — сказал Федосеев, — мы ещё тут не обжились.

— Николай, вы остаётесь? — сказал Иванов.

— Да, я посижу, — сказал Сергиевский.

— Дело ваше. До встречи, господа.

Ягодкин проводил гостей до прихожей, помог им одеться и вернулся.

— Как думаете, не обиделись? — спросил он Сергиевского.

— А на что им обижаться? — сказал тот. — Спор был деликатный.

Ягодкин повернулся к Федосееву.

— Оказывается, Николаев-то хорошо знал Чернышевского.

— Да что ты?

— Вот Николай мне сказал.

— Да, это близкий знакомый покойного, — сказал Сергиевский.

— Расскажите, где он с ним встречался, — попросил Федосеев.

— Он ишутинец. Судился по делу Каракозова. Попал в Сибирь. На каторгу. С Чернышевским встретился на Александровском заводе. Вместо там *рабо*тали, потом вместе отбывали ссылку в Вилюйске.

— Интересно было бы с ним поговорить о Николае Гавриловиче, — сказал Федосеев. — Думаете, не обиделись?

— Конечно, не обиделись, — успокоил Сергиевский. — Ещё не раз поговорите. Николай Иванович может вам кое в чём помочь. У него тут широкие связи. Всё знает. И о вас ещё вчера разузнал. Я тоже про вас слышал. Вы ведь люди известные. Когда-то на всю Волгу дело завернули. Хорошую дали закваску. Сейчас многие из ваших разворачиваются.

В Поволжье больше казанцы действуют.

— Расскажите, расскажите, — сказал Ягодкин и, взяв Федосеева за руку, усадил его на диван. — Послушаем, Николай — человек сведущий.

— Вы, значит, тоже Николай? — спросил Федосеев. — Можно запутаться. Всё Николай да Николаевы. Пожалуйста, поведайте, что делается вокруг. Вы, кажется, наш?

Сергиевский начал с себя. Он ведёт владимирский народнический кружок, а сам давно тянется к марксизму, но не к кому присоединиться. О Николае Федосееве он слышал ещё в то

лето, когда вскрылось большое казанское дело. Тогда он, владимирский гимназист, много думал о бывшем казанском гимназисте, который руководил марксистской «организацией. Очень рад он этой неожиданной встрече. Да, он охотно расскажет всё, что знает. В Нижнем действуют марксисты Скворцов, Лалаянц, Григорьев и какая-то Софья Григорьевна (— Соня! — сказал Федосеев, толкнув локтем Ягодкина). В Казани тоже есть сильный кружок, и там часто бывают Лалаянц и Григорьев. В Самаре работают Владимир Ульянов (— Ты слышишь, Костя!), Алексей Попов и Марк Елизаров.

В Москве, в квартире писателя Астырева, куда Сергиевского ввёл Златовратский, собираются видные народники, но там появляется и петербуржец Бруснев, сколачивающий, видимо, социал-демократическую группу (—Прекрасно! — ликовал Федосеев). Во Владимире безраздельно царит народнический дух, но пусть прибывшие марксисты не унывают — и здесь они найдут кое-что интересное: в тот день, когда они выехали из Петербурга, владимирский кружок направил в местечко Никольское Василия Кривошею, который должен будет связаться с ореховскими рабочими. Кривошею удалось пристроить письмоводителем к полицейскому надзирателю, и его появление в рабочем местечке, где интеллигенту просто нечего делать, не вызовет никакого подозрения.

— Блестяще! — сказал Федосеев. — Кто же это придумал?

— Николай Иванович. Он и подыскал Василию службу. Он да Сергей Шестернин, секретарь окружного суда, тоже член нашего кружка.

— А где вы собираетесь? — спросил Ягодкин.

Сергиевский встал, подошёл к окну.

— Чаще всего вот тут, — сказал он, показав пальцем на домик с каменным белёным низом.

— Вон что! — удивился Ягодкин. — Выходит, и Златовратский с вами?

— Нет, он перебрался в Москву. Тут осталась его сестра, у неё и собираемся.

— Чудесно! — сказал Федосеев. — Всё складывается хорошо. В Самаре — Ульянов, в Москве — Бруснев, в Нижнем и Казани — друзья. До Волги далеко, а в Москву когда-нибудь можно будет вырваться. Хоть на денёк. О делах Бруснева мы узнали, Николай, ещё в тюрьме. По выходе хотели встретиться, но увидеться не удалось ни в той, ни в другой столице. А связаться с ним просто необходимо. И с Кривошеей надо познакомиться. Поможете, Николай?.. Отлично! Костя, чаёк, чаёк надо сообразить. Посидим, потолкуем с нашим дорогим гостем. Пора нам пускать кухонное

производство. Каково состояние нашего капитала? Ну-ка, проворь, казначей.

Ягодкин вынул из кармана купленный в Петербурге сафьяновый бумажник и открыл его.

— Да, тонковато, тонковато, — сказал он. — Шесть с полтиной.

— Ничего, — успокоил Федосеев. — Можно начинать производство. Деньги — товар — деньги. Прибавочная стоимость. Кухня у нас великолепна, будем печь пирожки и торговать. Так, что ли? Завтра пойдём искать работу.

— К Иванову надо обратиться, — посоветовал Сергиевский, — Или к Шестернину. Они помогут.

— Вот завтра и пойдём в окружной суд, — сказал Федосеев. — Познакомите пас с Шестерншшм. А сегодня мы займёмся бытом. И отправим друзьям письма. Кухню, Костя, я беру на себя. Пойди закупи харчи. На первый случай — хлеба, чаю и сахару.

— Я схожу, — сказал Сергиевский. — Вы ещё не знаете, где какие лавки. — Он кинулся одеваться, но Николай задержал его.

— Возьмите деньги.

— У меня есть, — сказал Сергиевский.

— Оставьте их в своём кармане. Попросим взаймы, когда понадобится.

Сергиевский взял у Ягодкина полтинную монету и убежал в лавку.

— Вот так, Костя, — сказал Федосеев. — С места в карьер. А мы боялись тишины.

2

Дом Латендорфа на Большой Ильинской оживился. Молодые владимирцы, собиравшиеся у сестры Златовратского, всё чаще пересекали улицу наискосок и забегали к жильцам добродушного немца, а их, этих жильцов, становилось всё больше и больше. Приехала, не выдержав разлуки с «крестовскими» друзьями, Мария Германовна. Приехал, освободившись и уже побывав у отца в Костромской губернии, Алексей Санин. Приехала Софья Григорьевна из Нижнего. Последнюю казанцы встретили как свою юность. Она, волжанка, давно отсидевшая небольшой свой срок и вернувшаяся в родные места, часто встречалась с бывшими студентами, курсистками и гимназистами. Она привезла прошлое, привезла время, отнятое у её друзей одиночными камерами.

С полудня до позднего вечера и поговорить с ней по-настоящему никак не удалось: в квартире толклись семинаристы. Зато ночью, когда из владимирских знакомых остались только Сергиевский и Шестерния и когда Мария Германовна, накрыв в большой комнате выдвинутый на середину стол, пригласила к чаю, все сели в тесный круг и сразу заговорили о прошлом.

— А помните наши казанские чаи? — спросил Костя. — Бедненькие были чаи, но какие горячие! Спорили до предельного накала.

— У Васильева разве бедно было? — сказала Соня.

— Да, Васильев-то всегда принимал солидно.

— Соня, где он теперь? — спросил Николай.

— Вот о нём, дорогие, я ничего не знаю. Говорят, выехал из Казани. К профессору зайти я постеснялась.

— А Плетнева не встречала?

— Видела. Всё такой же щупленький, оборванный и весёлый. Забирают, забирают его и опять выпускают. Говорит, для приманки держат его в Казани.

— Ты, говорит, Сонечка, опасайся меня и писем не пиши — их вскрывают. Ой, братцы, я получила письмо от Жени.

— От Чирикова? Ну как он?

— Пишет, печатается в волжских газетах, надеется прорваться в столичные журналы. В позапрошлом году сидел в казанской тюрьме. По делу Сабунаева.

— Нашёл с кем связаться, — усмехнулся Санин. — С Сабунаевым. Кстати, чем кончил этот авантюрист?

— Упекли его снова в Сибирь, — сказал Шестернин, и все повернули головы к нему, секретарю окружного суда. Он, уже

сдружившийся с Федосеевым и Ягодкиным, совсем не знал ещё остальных приезжих. До чая молча сидел в сторонке и сейчас не вписывался в этот дружеский круг, приткнувшись к углу стола. Он не соединялся как-то и сам с собой: аристократическое сложение, великолепная чёрная визитка, белейшая крахмальная сорочка и мужицкое бородатое лицо. — Упекли, упекли молодца, — сказал он.

— Вы его знаете? — спросил Федосеев.

— Сабунаева-то? Знаю. Бывал он у нас.

— И сюда проник.

— Да, проник. Очень энергичный. Много кружков поналепил. В Саратове, Нижнем, Ярославле, Костроме. Даже в Москве и Воронеже. В Самаре, говорят, Ульянов дал ему отпор. У нас кое-кто клюнул.

Вася Кривошея загорелся, стал подбирать людей. Потом остыл, отказался.

— Отказался, потому что разгромили всех сабунаевцев, — сказал Сергиевский.

— Разбили их наголову, — сказал Шестернин. — И вождя вернули в Сибирь. Через Владимир этапом проследовал.

— Коля, ты не жалеешь, что не пошёл с ним? — спросила Соня. — Он ведь раскрывал перед тобой все свои планы.

— Да, планы у него были наполеоновские, — сказал Николай. — Как там наши нижегородцы, Соня?

— Разворачиваются. Скворцов стал признанным теоретиком. В столичных журналах печатается.

— Мундштук не забросил? — спросил Костя.

— Нет, не забросил. Всё кадит. Кадит и всех высмеивает. Дилетантов, листовочников, ораторов. Ехидный всё-таки человек. Но полезный и этим. При нём не станешь болтать о том, чего не знаешь. А Исаака вы теперь не узнали бы. Французский трибун. Нет, древний пророк. Львиные волосы, библейская чёрная борода. Только очки портят. Что это вы все очки по-нацепляли?

— Как все? — сказал Санин. — Я пока обхожусь без них.

— «Понацепляли», — грустно улыбнулся Федосеев. — Нацепишь…

— Вам-то простительно. Два с половиной года в камерах, в темноте, с книгами. Но Исаак ведь совсем мало сидел.

— Его сразу после нас забрали? — спросил Николай.

— Нет, когда нас забрали, он повёл кружки. Клещева, твоя нолинская землячка, помогала ему. Пылко взялся, и хорошо у него пошло. Потом схватили его, подержали малость в тюрьме и выслали из Казани.

Попал в Нижний и тут соединился с Григорьевым и

Скворцовым.

— Соня, а Пешков тоже в Нижнем?

— Пешков ушёл бродяжить. Да, вы знаете, что его к вашему делу хотели приклеить? Он жил вместо с Сомовым, а Сомова за вами потянули.

— Бедный Сомов, — сказал Николай. — Не могу себе простить, что дал ему денег. Из-за этой нашумевшей денежной истории и пришили его к нам. Гангардт пытался даже представить его вожаком, чтобы дело выглядело более солидно. Мы все были слишком молоды, а у Сомова за плечами лежала большая жизнь. Ссылка, эмиграция. Значит, и Пешкова хотели прицепить? Говоришь, опять подался бродить?

— Прошлой весной ушёл. На юг.

— Не в Царицын?

— Дошёл до Царицына и пошагал дальше. Говорят, уже до Тифлиса добрался.

Николаю хотелось расспросить Соню про Анну, но он терпеливо ждал минуты, когда окажется наедине с волжанкой. И он дождался этой минуты. Вернее, воспользовался подходящим случаем. Когда опорожнили маленький самоварчик (хозяева дали такой на подержание), Мария Германовна бросилась было с ним на кухню, по Сопя задержала её.

— Милая, вы весь день и весь вечер ухаживаете за нами, отдохните. Я давно не раздувала самовар — не лишайте удовольствия.

Мария Германовна отдала самовар. Гостья убежала. И Николай пошёл за ней в кухню.

Соня налила воды в самовар и закрыла его. Николай взял в углу корзину, набросал в трубу углей. Подал лучину.

— Пожалуйста, разжигай, если тебе это приятно.

Соня переломала лучину, обломки сложила в пучок, протянула его к горевшей коптилке, подожгла и сунула в трубу самовара, стоявшего на полу.

— Соня, ты в Царицыне не бывала? — спросил Николай.

— Нет, туда как-то не удаётся. А что?

— Где Анна? Ты о ней что-нибудь слышала?

Соня наклонилась к трубе самовара. Она долго смотрела, как разгораются угли, и лицо её алело, освещённое снизу огнём.

— Соня, что же ты молчишь? Неужели и ты ничего не знаешь? Я многим писал в Казань — никто не отвечает. В чём дело?

Соня разогнулась, жалостно посмотрела на него.

— Коля, никто толком не знает, что с Аней. Доходят какие-то слухи, но как им верить?

— Какие же слухи? Не мучь, пожалуйста, расскажи…

— Говорят, она вышла замуж. За какого-то учителя. И говорят, он страшно ограниченный. Совершенно чужд каких-либо поисков. Серенький человек. Вот этому-то и невозможно поверить, это и опровергает глупую версию. Нелепая выдумка. Ты знаешь Аню лучше, чем кто-либо. Разве она пойдёт за серењким?

— Трудно поверить, но…

— Есть и другая версия. Будто приняла она какой-то революционно-монастырский образ жизни. Отказалась от всего личного, женского. Раз не удалось счастье — нате вам! Я буду мстить. Вам, кто мешает жить, и себе.

— За что себе-то?

— За то, что не прорвалась к тебе через стены. Повенчаться с тобой ей так и не разрешили, и она карает себя за бессилие. Это на неё похоже, и это я по-женски могу понять, этому я верю. Она решительна и упряма. Отрубила всё своё прошлое и никому не подаёт голоса. Может быть, готовит какой-нибудь взрыв. По-моему, она с народовольцами.

— Народовольцы все разгромлены. Их партии давно уже нет.

— Партии нет, а корни остались. Аня нашла какую-нибудь террористическую компанию. Где-то к чему-то готовится. Подождём, может быть, скоро объявится.

Они смолкли и, опустив головы, неподвижно стояли друг против друга, пока не забурлил самовар.

— Пойдём, Коля, к друзьям, — сказала Соня.

Николай сел за стол, но говорить с друзьями не смог. Минут десять сидел молча, досадуя, что всех расстраивает. Мария Германовна но сводила с него тревожного взгляда, беспокойно посматривали и другие, разговор затихал. Компания явно рушилась, и Николай решил спасти её.

— Друзья, — сказал он, — я должен вас оставить. Необходимо срочно написать письмо. Соня вот рассказала об одном человеке, с которым мне немедленно надо связаться. Прошу прощения. Продолжайте, я потом присоединюсь. — Ои встал, подошёл к своему угловому столику, взял бумаги и удалился в маленькую комнату. Через открытую дверь сюда проходил слабый, рассеянный свет. Николай сел за стол и зажёг стеариновую свечу. Ну вот, здесь можно отдаться своим думам. Итак, с Анной, видимо, всё покончено.

Да, это точка. Занавес. Конец драмы. Тяжкий, убийственный конец. Конец в любом случае. И в том, если Анна вышла за этого учителя, и в том, если она отказалась от всего человеческого. Да, она может отказаться от нормальной жизни и стать фанатичкой. На это у неё хватит характера. Упрямая, решительная…

Нет, в ней слишком много жизненных сил, чтобы связать их в один узел. Но так или иначе — она потеряна. И ничем не возместить этой утраты. Ничем. Разве только работой. Она-то не изменит. Она всегда с тобой. Всегда и везде, даже в одиночной камере. Твоя кровная работа — это награда за все твои неудачи и муки.

В комнату вошла Мария Германовна. Она села к столу и так посмотрела на Николая, что стало нестерпимо жалко её.

— Я всё поняла, — сказала она. — Соня убила тебя. Аня вышла замуж. Да?

Он молча смотрел ей в глаза. Они были удивительно большие и тоскливые. Волосы, гладко облегающие голову, блестели, как чёрная лакированная поверхность, и на них, около уха, отражался огонёк свечи. Николай вспомнил Анну, какой она была в Ключищах. Как-то вечером, в освещённом флигельке, он стоял у тёмного окна, она подошла, прижалась к нему виском, увидела на стекле отражение и сказала: «Смотри, волосы-то у нас совсем одинаковые, белесые. Если появится ребёнок, трудно будет определить, на кого он похож».

— Ты всегда говорил о ней хорошо, — сказала Мария Германовна, — и я считала её преданной. Преданной и бесконечно верной тебе. Значит, мы ошиблись. — Она положила руку ему на голову. — Успокойся, Коля. Она не стоит твоих переживаний, если не дождалась. Мелковата.

Он снял её руку.

— Маша, оставь меня.

— Хорошо, Коля, оставлю. — Мария Германовна поднялась и пошла. Он глянул ей в спину и понял, что она уходит, прикусив дрожащую губу. Что он наделал! Так отблагодарил за все её заботы? «Оставь меня». Это жестоко! У него больно заныло сердце.

Он вернулся к дружескому столу, но тут ужо по о распалось. Сергиевский и Шестернин прощались, Мария Германовна уговаривала их ещё посидеть, Соня рассеянно слушала Ягодкина, который что-то рассказывал ей о «Крестах)), а Санин читал в углу книгу.

Гости ушли, женщины, убрав со стола, пожелали мужчинам спокойной ночи (до утра оставалось два-три часа) и заперлись в маленькой комнате.

Так уныло закончился этот дружеский ночной чай. Зато утренний всех взбодрил. Соня без умолку болтала, вспоминая казанские встречи, споры, последнюю вечеринку, безумную пляску Поли, схватку Николая с Березиным, подготовку к большому ключищинскому делу и повальные обыски, аресты.

Многое, что раньше было страшным, теперь казалось смешным, и друзья хохотали, вновь представляя, как Миша Григорьев улепётывает от полиции и как пятилетняя сестрёнка арестованного студента кричит из окна своей подружке: «Подожди, сейчас нас обыскают, и я выйду». Они вторично переживали свою юность, а Мария Германовна вздыхала, сожалея, что у неё такой юности не было, что слишком поздно она, немолодая петербургская курсистка, познакомилась с жизнью этих людей.

После завтрака сразу разошлись. Мария Германовна отправилась в лавки, Санин — к Сергиевскому за книгой, Ягодкин — на поиски уроков, Соня начала убирать в комнатах, а Федосеев сел за свою работу. Работал он в углу, и стоило ему взяться за ручку или открыть какой-нибудь том, как в ту же минуту исчезало для него всё то, что делалось за спиной. Во второй половине дня собиралась молодёжь, спорила, галдела, но он ничего не слышал и ничего не видел. Следуя за русской общиной по её историческому пути, он дошёл до крушения крепостного хозяйства, и тут Сергей Шестернин достал (так кстати!) богатые документы времён реформы, запечатлевшие деятельность губернского комитета и редакционных комиссий. В помещичьих речах, дотошно запротоколированных неведомыми секретарями, Федосеев вскрывал противоречивые дворянские тенденции и обнаруживал причины падения крепостной системы — вторжение товарного производства в экономику русского феодализма. Губернские документы неопровержимо доказывали, что реформа должна была закрепить законами уже сложившиеся обстоятельства социальной действительности.

Федосеев вовлёк в свои исследования и других. Шестернин раскапывал материал во владимирских книгохранилищах. Сергиевский тоже подбирал книги и знакомился с их содержанием, подчёркивая и выписывая нужное. Санин работал отдельно, готовился к какому-то своему научному труду, но и он бросал кое-что в «общий котёл», давая интересные справки. Мария Германовна, чтобы не отвлекать друзей, вела домашнее хозяйство, несколько дней ей помогала нижегородская гостья.

У Федосеева кроме губернских документов, старых журналов, новой литературы и присланного из Казани Гангардтом когда-то отобранного «Капитала» появились летописные списки и писцовые книги, и всё это приковывало к столу.

В начале марта наступила оттепель, и Катя Санина продала в Казани свою шубу. Коммунары получили от неё деньги. Это больно ужалило Николая, и он, прервав на время исследование, пустился на поиски заработка. Шестернин вскоре пристроил его в

окружном суде, и теперь он каждое утро появлялся в здании присутствий, проходил по заполненной безработными писцами швейцарской, здоровался с мелкими чиновниками, приветствовал своего патрона — не Шестернина, а его помощника, присаживался сбоку к его столу и ждал какого-нибудь просителя, а дождавшись, принимался строчить ходатайство. Если просителей долго не было, патрон давал работу от себя.

— Пожалуйста, перепишите этот протокольчик.

И вот это постановленьице.

Шестернин в окружном суде был видной фигурой, и держаться ему надо было солидно, но он удивлял своих коллег тем, что с уважением относился к приходящему писарю.

— Николай Евграфович, не могу я смотреть, на что вы тратите силы. Отдохните. Пойдёмте, вам покажут что-нибудь интересное. — Шестернин повёл Федосеева к «уголовному» секретарю.

— Дмитрий Семёнович, нельзя ли посмотреть то крестьянское дельце?

Дмитрий Семёнович молча открыл шкаф и выложил толстую папку.

— Любопытный реестрик, — сказал Шестернин, открыв папку. — Посмотрите, Николай Евграфович.

Федосеев, наклонившись к столу и опершись на локоть, просмотрел одну страницу, другую, третью, потом перелистал всё дело и задумался. Сотни и сотни крестьян были приговорены к тюремному заключению за оскорбление его императорского величества, Шестернин, перебирая пальцами свою мужицкую бороду, искоса поглядывал на друга, пытаясь понять, какое впечатление произвело на него это дело.

— Ну как, красноречивый документик? — Не дождавшись ответа, он повёл Николая Евграфовича по коридору в межевую канцелярию и познакомил его там с землемером Беллониным. Тот сидел за столом и просматривал земельные карты.

— Господин Беллонин, — сказал Шестернин, — я слышал, вы подыскиваете для своих детей репетитора. Рекомендовал бы вам господина Федосеева.

Землемер окинул незнакомца взглядом и снова уткнулся в карты. Шестернин подвинул к его столу свободный стул, усадил друга, а сам присел к знакомому канцеляристу и стал с ним болтать, изредка взглядывая на друга и мигая ему — не отходи, мол, от землемера.

Перед Беллониным лежали три карты, и он сверял их, переводя взгляд с одной на другую. Федосеев видел, что на всех картах очерчены одни и те же земельные угодья, только по-

разному раскроенные. Вверху каждого плана красовался российский герб, а ниже помещался краткий рукописный текст, указывающий, кому принадлежит земля и когда она межована. Одна карта была составлена во время генерального екатерининского межевания, другая — в царствование Александра Второго, третья — в прошлом году.

Беллонин, задумавшись, смотрел на герб и стучал торцом карандаша по короне, которую огибали отчётливые печатные слова: «Попечением императора Александра III».

— Скажите, — заговорил Федосеев, — последнее межевание вами произведено?

— Что? — сказал, очнувшись, Беллонин. — Вам, собственно, что надо?

Шестернин, чтобы не загубить разговора с землемером, оставил знакомого канцеляриста и, перенеся стул, сел рядом с Федосеевым.

— Это мой друг, — сказал он. — Хочу вас познакомить поближе. Николай Евграфович — хороший педагог.

— Так что вас интересует? — уже мягче сказал Беллонин, всматриваясь в незнакомца.

— Меня интересуют эти владения, — сказал Федосеев, показав пальцем на карту. — Не мельчают ли с течением времени земельные участки?

— Да, в нашей губернии мельчают. В восемнадцатом веке вот этот участок принадлежал одному помещику, в середине девятнадцатого — двум, а в прошлом году я закрепил его межеванием за девятью владельцами.

— Они, конечно, не помещики?

— Понятно, не помещики. Мелкие промышленники, деревенские лавочники, скупщики.

Федосеев посмотрел на Шестернин.

— Понимаете? Даже земельные карты отражают проникновенно капитала в сельское хозяйство. Девять торгашей на земле одного помещика. Новые хозяева.

Они и прикончат общину, задавят окончательно.

— Сергей Павлович, — обратился Беллонин к Шестернину, — вы хотите, чтоб этот человек обучал моих детей? Чему? Марксизму?

— Не бойтесь, — сказал Шестернин, усмехнувшись.

— А я и не боюсь. От времени детей не убережёшь. Как вас — Николай Евграфович? Так?

— Да, так, — сказал Федосеев.

— Вот что, Николай Евграфович, сейчас вы не нужны мне. Если хотите, в мае возьму вас в деревню.

На всё лето. Там вы и займётесь моими детьми. Устраивает?

— Согласен, — поспешно ответил Федосеев.

— Хорошо. Понадобитесь — позову. Всего доброго. Я работаю, джентльмены.

Джентльмены вышли в коридор.

— Это превосходно! — загорелся Федосеев. — Провести лето в деревне! Нет, вы понимаете, что это значит? Это как раз то, что нужно. Мне ещё не хватает живых фактов, живой крестьянской среды. Прекрасно складывается. Только уладит ли землемер с полицией? Могут запретить мне выезд. Гласный надзор — не шутка.

— Ничего, Беллонин всё утрясёт. Я рад, что так удачно получилось. Занимайтесь теперь своим делом. Хватит здесь строчить.

— Но до мая ещё полтора месяца. У нас нет денег, и я должен ходить сюда, всё-таки заработок. Буду строчить. Сегодня, правда, сидеть больше не смогу — такая радостная неожиданность! Слушайте, Сергей Павлович, а как там наш Кривошея?

— Укореняется, уже связался с рабочими, собрал вокруг себя человек десять, читает. Я передал ему ваши книги.

— Мне необходимо с ним познакомиться. Немедленно! Сведите, пожалуйста.

— Нельзя, Николай Евграфович. Нельзя вас подвергать такой опасности. За вами сейчас смотрят во все глаза. Вот попривыкнут, поверят, что не такой уж страшный, ослабят слежку, тогда и свяжем вас с Ореховом. Познакомим с Василием. А пока руководите заочно. Что передать ему?

— Пусть хорошенько всматривается в людей. Не может быть, чтобы на фабрику Морозова не засылали филёров. Ни в коем случае не допускать непроверенных. Осторожность, строжайшая конспирация!.. И пусть не спешит, не заскакивает вперёд.

— Хорошо, всё передам. До вечера.

Проходя по швейцарской, Федосеев увидел среди безработных писарей Алексея Санина. Тот сидел в углу, нагнувшись к книге, положенной на колени. На него больно было смотреть, худого, в потрёпанном студенческом сюртуке. Нет, пожалуй, по сюртук вызывал эту болезненную жалость, даже не худоба, не тонкая длинная шея, а та обречённость, с которой ждал парень случайного заработка. Николай подошёл к другу вплотную, постоял с минуту, потом тронул его за плечо. Алексей вскинул голову.

— Что такое? — сказал он, ещё не поняв, кто перед ним.

Николай улыбнулся.

— А я думал, ты ждёшь просителей.

— Да, жду.

— Так у тебя их отбили коллеги. Ты совсем забыл, где сидишь.

— Книга отвлекла.

— Идём, и больше сюда не ходи. Хватит и того, что я здесь торчу. У меня всё-таки привилегия — у стола сижу. В мае еду в деревню, освобожусь от переписки, а пока буду строчить за двоих.

— Едешь в деревню?

— Да, землемер берёт меня гувернёром.

— Смеёшься?

— Вполне серьёзно.

Швейцар небрежно кинул им на барьер старенькие пальто и шапки и проводил их, *вольных* служащих, презрительным взглядом.

Таял снег, площадь была грязна, и они обходили её, шагая друг за другом вдоль длинного здания губернских присутствий.

— Значит, уезжаешь? — сказал Санин.

— Вероятно, уеду.

— Тогда передашь мне свою привилегированную работу, иначе нам придётся здесь голодать.

— Передам. Проживёте. Ягодкин имеет теперь уроки, и я, может быть, смогу что-нибудь посылать. Землемер, наверно, будет платить мне порядочно.

— Повезло тебе. Увидишь злополучную русскую общину.

У Дмитриевского собора Николай остановился и. стал смотреть на высеченные из камня изображения.

— Глянь, — сказал он, — вот Всеволод с сыном. И преклонённый народ. Не стена, а летопись. Велика цена этому собору. Мы живём среди бесценных памятников древности. Владимир, Боголюбово, Суздаль. Неужели всё это с веками исчезнет?

Санин уже шагал дальше. Федосеев догнал его, и у белого губернаторского дома, где было сухо и чисто, они пошли рядом.

— Видел сейчас одно судебное дело, — сказал Николай. — Сотни и сотни осуждённых крестьян. И за что? За оскорбление его императорского величества. Видимо, уж нет мочи молиться на царей. Столько в народе накопилось злобы, что она вот-вот прорвётся вулканом. Гигантская сила. Думаю, в годы революции придётся даже сдерживать эту злобную силу, чтобы не разрушить то, что необходимо сохранить.

— Что именно? Не соборы ли?

— Да, необходимо сохранить и соборы, и многое другое, что создала трудовая Русь.

— Ну, начинается поэзия. Уволь, братец. Не выношу этой

мишуры.

— Алексей, ты всё заметнее сужаешься. Есть в тебе что-то скворцовское.

— Это я уже слышал, можно не повторять.

С площади они свернули на Нижегородскую и дальше шагали молча.

Обнажившаяся булыжная мостовая гремела под колёсами тяжёлых телег и лёгких пролёток, из-под крыльев летели брызги жидкой грязи. Впереди у каменной монастырской стены стояла партия арестантов, а на другой стороне улицы толпились чем-то поражённые горожане. Друзья, мгновенно забыв свою размолвку, переглянулись и прибавили шагу. Когда они, перебежав улицу, очутились в толпе горожан, к арестантам подъехала телега, и конвойные взвалили на неё человека в сером суконном халате. Собственно, это был уже не человек, а труп, что выразительно изобличала рука, упавшая с телеги. Пересыльная тюрьма, где партию ждал ночной отдых, находилась недалеко за городом, но этот арестант не дошёл до неё. Конвойные, спокойно завалив его в дроги, погнали партию дальше, бодро покрикивая: «Но отставать! Не растягиваться!»

Видеть несчастье страшнее, чем переживать ого. Федосеев сам прошёл тяжелейший полуторамесячный этапный путь, но только сейчас по-настоящему прочувствовал весь ужас арестантских переходов.

Мария Германовна перепугалась, встретив ого в сенях, когда он поднимался по лесенке.

— Что с тобой, Коля? Заболел? Что случилось?

— Ничего. — Он прошёл в дверь, оставив в сенях Алексея.

В большой комнате сидели на одном диване Ягодкин, Сергиевский и незнакомый юноша в студенческом сюртуке. Все трое читали. Сергиевский поднялся и подвёл студента к Федосееву.

— Николай Евграфович, это мой брат. Михаил. Исключён из университета. За беспорядки.

— Поздравляю. — Федосеев пожал Михаилу руку. — Значит, бунтуете?

— Отбунтовал, — ответил за брата Николай. — Выдворен из Москвы. Будет теперь с нами. Примем?

— Разве меня надо спрашивать? — сказал Федосеев.

— А кого же? Болышшство наших к вам перекочевало, остальные — к Иванову. Дом Златовратского опустел. Кстати, нам надо там собираться. Здесь опасно. Иванов разузнал, что квартира ваша под прицелом. Уже идут донесения к Воронову.

— К Воронову? — спросил Ягодкин. — Кто это такой?

Федосеев покачал головой.

— Ах, Костя, Костя! Считаешь себя практичным человеком, а Воронова ещё не знаешь. Это начальник губернского жандармского управления. Наш новый Гангардт. Хорошо, тёзка, будем работать вместе. И если необходимо, давайте собираться у вашей Златовратской. Только я не хочу начальствовать. Никому не позволяйте командовать. Каждый свободно делает то, что ему поручают всё. Я хотел бы взять на себя фабрику Морозова. Понимаете? Очень прошу познакомить меня с Василием.

— Хорошо, — сказал Николай Сергиевский. — Сведём. Чек у вас кончился разговор с Беллониным?

— А вы откуда знаете об этом разговоре?

— Знаю, — сказал Сергиевский. — Шестернин вчера говорил, что познакомят вас сегодня с Беллониным. Берёт вас землемер?

— В мае.

В комнату вошла Мария Германовна.

— Коля, ты уезжаешь? — сказала она.

— Да, Маша, уезжаю, только не сегодня.

Она повернулась и вышла, и Николай опять, как тогда, в ту печальную ночь, в другой комнате, глянул ей в спину и понял, что она прикусила губу.

Он нашёл её на кухне. Она стояла у окна и смотрела через крыши домов на церковные купола. Он стал рядом, положил руку на её плечо.

— Маша, ты огорчена?

Она повернула к нему лицо, ничего не сказала, но он посмотрел ей в глаза, тёмные, печальные, заплывшие слезами, и ему стало ясно, что дружба погибла, что прежней Марии Германовны, сестры, матери, уже не было, а была Маша, сражённая запоздалыми девическими чувствами. Как же он раньше-то не заметил? Теперь уж поздно. Теперь остаётся только разъехаться. Разъехаться? Это невозможно!

Мария Германовна поняла, что он всё понял.

— Прости, Коля, — сказала она. — Я сама этого не ожидала. Хотела только дружбы. Мне без вас теперь не жить. Без тебя, без твоих друзей. Я уже втянулась в ваши дела. Не отталкивайте.

— Маша, ты что говоришь?

— Я ничего от тебя не требую. Ничего. Понимаешь? Только не запрещай мне… Нет, не то, не то говорю. Я по-прежнему буду просто другом. Одного хочу — чтоб всегда можно было с тобой встретиться. Поезжай в деревню, а я — в Самару.

— Зачем в Самару-то?

— Хочу познакомить тебя с Ульяновым. Ты же сам говорил, что это самый надёжный марксист на всей Волге.

— Да, я много слышал о нём в Казани. И тут вот говорят. Соня видела его в Самаре — восхищена. Мне всегда хотелось с ним встретиться, но никак не удавалось и, видимо, не скоро удастся.

— Мне обязательно надо в Самару. Я еду.

— Не раньше чем меня увезут в деревню.

— Но теперь нам будет тяжело в одной квартире. Тяжело обоим. Каждому по-своему.

3

Ничего как будто не изменилось, но, когда они оставались в квартире вдвоём, он чувствовал себя подавленным. За своей работой он не слышал никакого шума, а стоило ей, Маше, сидящей в другой комнате, только пошевелиться, как он уже настораживался, ожидая от неё чего-то такого, что окончательно разрушит их дружбу. Она старалась ничем ему не мешать, боялась, читая книгу, шумно перелистывать страницы, ходила в своей комнате на носках, и это раздражало его. Что за рабское поведение? Может, она и дышать перестанет? Поскорее пришли бы друзья. Что-то часто они стали оставлять их в квартире одних. Не угождают ли? Не хотят ли свадьбы?

Маша ушла на кухню, и Николай сразу забылся, с головой ушёл в объёмные труды редакционных комиссий — в цифры, подсчёты. Перед ним раскрывалась жизнь крепостной России накануне реформы, и он спешил выхватить из ценных исторических документов самые существенные сведения об этой жизни. Но Маша, уже приготовив обед, тихо вошла в комнату и стала у столика.

— Николай Евграфович, — сказала она, — вы проголодались, пойдёмте, я вас покормлю.

«Вы»? «Николай Евграфович»? Что ещё за новость?

— Маша, — сказал Николай, — у нас ведь есть друзья, никогда не приглашай меня к столу одного.

— Но друзья придут, может быть, поздно вечером. Неужели будете ждать их? Пообедайте.

— Не пойду! — резко сказал Николай.

— Извините, я помешала вам. — Маша шагнула от стола, но он вскочил и задержал её, взяв за руку.

— Маша, я обидел тебя. — Он погладил её по волосам, плотно облегающим голову. — Милая, разве можно с тобой так? Прости, родная.

Она не выдержала, обняла его, прижалась, прижалась слишком чувственно, отчаянно — будь что будет.

Она смяла своим трепещущим телом всё то душевное, чистое, что было между ними.

— Не надо, Маша, не надо, — сказал он, разнимая её руки.

Она отошла от него и закрыла лицо руками.

— Что я натворила! Боже, что наделала! — Она убежала в другую комнату и принялась собирать вещи.

Николай стоял в дверях и растерянно смотрел, как она комкает, заталкивая в чемодан свои платья, юбки, блузки,

полотенца, платки и разную мелочь.

— Маша, что ты задумала?

Она молчала. Никогда он не видел, чтоб её смуглое лицо было таким красным.

Собравшись, она оправилась от стыда, успокоилась, остыла и грустно, но отчуждённо посмотрела на Николая.

— Не уговаривай, — сказала она. — Нам надо на время разъехаться. Пускай осядет муть. Я вернусь, когда всё пройдёт. Не будем сейчас говорить. Посмотри, который час?

Он достал из кармана чёрные чугунные часы, открыл их.

— Ровно три.

— Через час идёт поезд в Нижний.

— Ты в Самару?

— Да, в Самару. Проводи, пожалуйста, до вокзала.

Он проводил её и вернулся с невыносимой тоской.

До сих пор не знал он, что так бесконечно любит её.

Но именно потому, что *так* любит, он и сейчас, вернись она, не смог бы ответить на те чувства, которые возникли в ней, когда она прижалась. Может быть, он принял бы её и как жену, если бы не стояла между ними Аня, но та всегда будет стоять между ним и любой женщиной, всегда, даже тогда, когда он убедится, что она замужем или что её нет совсем. Да, как просто было бы переступить брачный порог с Аней и как сложно, нет, не сложно, а совершенно немыслимо перешагнуть тот же порог с Марией Германовной.

Вечером собрались друзья, и всех их ошеломил внезапный отъезд «кузины». Они ни о чём не расспрашивали Николая, догадываясь, что произошло неладное. Сергиевский и Шестернин посидели с полчаса и ушли, оставив расстроенных товарищей одних. И как только они ушли, вскрылась ещё одна неожиданность: Костя Ягодкин признался, что он завтра уезжает в Троицк, что задумал это несколько дней назад, но молчал, потому что боялся, как бы не отговорили друзья, а жить во Владимире у него нет больше сил и он хочет отдохнуть в своей семье, у матери и сестёр.

Друзья молча поужинали на кухне (остался приготовленный Машей и остывший обед), вернулись в свою мужскую комнату, попытались тут поговорить, но это не удалось.

Николай хорошо знал (тюрьма научила), что беду легче переживать в работе. Он сел за столик и стал переводить стокгольмские лекции Максима Ковалевского, исследователя первобытной общины и феодализма. Костя сел за другой стол и занялся письмами. Алексей, сняв сапоги, прилёг с журналом на диван.

Никогда ещё в этой квартире не было так тихо. Кроме скрипа двух перьев и бумажного шелеста, не слышно никаких звуков. Правда, Алексей Санин, привыкший давать всякие справки, и теперь не мог от этого удержаться и изредка подавал голос.

— Послушайте, в нашем стольном граде самая высокая смертность. Пятьдесят человек на тысячу.

Не получив никакого ответа, он продолжал безмолвно читать, но минут через десять опять докладывал:

— Во Владимире самая загрязнённая вода.

Опять никакого отзыва, опять тишина и опять голос Санина:

— Знаете, сколько лет живёт здесь человек?

— Сколько? — заинтересовался Ягодкин.

— Двадцать с половиной лет.

— Неправда!

— Как неправда? Вот, чёрным по белому: «Средняя продолжительность жизни — двадцать и одна вторая года».

— Что ты читаешь? — спросил Федосеев.

— Статью доктора Сычугова.

— Завтра напомни, я просмотрю.

— Зачем тебе просматривать? Я всегда к твоим услугам. Вот останемся вдвоём — возьмёшь меня ассистентом.

— Занимайся своим делом. Ты скорее что-нибудь напишешь. Моя работа затягивается, разрастается.

Не видно ни конца, ни края. История общины привела к истории крепостного хозяйства, а сейчас вот подхожу к развитию капитализма. Хватит ли сил-то?

— У тебя хватит, — сказал Алексей. — Лишь бы опять не засадили в тюрьму. Заехал ты, конечно, далеко. И глубоко. Думаю, у тебя получится что-то вроде общей экономической имтории России.

— Николай, — сказал Костя, — знаешь, что тебе хочет достать Шестернин?

— Что же?

— Скребицкого. «Крестьянское дело в царствование Александра Второго».

— Все тома?

— Да, полностью. Хочет ошеломить тебя неожиданно.

— Господи, как мне в книгах везёт здесь! — сказал Николай.

Они разговорились и просидели почти всю ночь. Потом легли все в одной комнате, как будто в другой ещё оставалась Мария Германовна.

— Будем ждать, когда она вернётся, — сказал, вздохнув, Николай. — А может быть, ещё приедет какая-нибудь гостья. Алёша, позови-ка сюда сестру.

— Не приедет, — сказал Алексей и, скрипнув пружинами дивана, отвернулся от разговоров к стене.

— Да, Катя, пожалуй, не приедет, — сказал Николай. — Я уже звал её — не примчалась. А хотелось бы увидеть дорогую корреспондентку. Как она помогала в «Крестах» своими добрыми письмами! Друзья, что-то Петрусь не отвечает мне ни на одно письмо. Ладно ли там с ним? Хоть бы дотянуть им благополучно срок. Звал я Петруся сюда — молчит. Эх, собраться бы здесь всем казанцам да развернуться по-настоящему!

— Смотрите, — сказал Костя, — вроде, светает?

— Да, окна побелели, — сказал Николай. — Форточку-то я не закрыл.

— Коля! — громко, испуганно прошептал Костя. — Так уж раз было! Помнишь? Ты точно вот так же тогда сказал: «Форточку-то я не закрыл». Помнишь?

— Да, это ведь тоже было в апреле. И светало, и Алексей лежал на диване, и он отвернулся к стене. Удивительно! Просто повторение. Только петух ещё не кричит.

— Слушай, Николай, а блюдо-то помнишь? Тарелку-то с конфетами, а? Кто тогда подходил? Выдрин подходил, брал конфету?

— Кажется, брал.

— Ну вот, он и предал.

— Но и ты опускал руку в блюдо. И, кажется, Сычев. Брось подгонять наше дело под евангельский сюжет. Ты здоров ли? Почему так шепчешь? Кого боишься?

— Нет, я просто поражён совпадением, — сказал Костя полным голосом.

— Выдрин всё-таки не Иуда, — сказал Николай. — Иуда за серебро предавал, а этот из-за трусости. Напугался и начал всё выкладывать.

— Всё равно предатель.

— Троичанин, — сказал Алексей.

— Ты разве не спишь? — сказал Николай.

— Нет, я смеюсь под одеялом над костиной мистикой.

— А что значит «троичанин»? — спросил Костя. — Что ты хотел этим подчеркнуть, Алексей? А? Может, вы считаете и меня предателем, раз я уезжаю?

— Костя, милый, — сказал Николай, — ты что, с ума сошёл? Кто тебя считает предателем? Ты свободен и можешь ехать, куда хочешь. Вернее, куда пустит полиция. Алексей побывал дома, я тоже, будь у меня связь с семьёй, с радостью повидался бы, а почему же тебе нельзя? Погостишь, поправишься и опять возьмёшься за дело. Не обязательно с нами. Хорошо, конечно,

действовать скопом, но неплохо и вширь раздаваться. Посмотри, сколько казанцев в Поволжье. Это наши сеятели.

— Костя, ты не так меня понял, — сказал Алексей. — Выдрин — троичанин, вы знали его в гимназии и могли бы раньше раскусить. Вот что я хотел сказать.

— Попробуй раскуси человека, пока не узнаешь его в беде.

— Ладно, друзья, — сказал Николай, — давайте всё-таки уснём. Работы полно, надо беречь силы.

4

Они остались вдвоём, и ничего трудного в этом не было бы, но Алексей вскоре слёг, подкошенный тяжёлой весенней инфлюэнцей. Николай закрутился волчком. Утром он наскоро топил печи, жарил яичницу, кипятил молоко, потом, сбегав в аптеку, пичкал друга лекарствами, оставлял ему на табуретке возле кровати еду и питьё, забегал к Латендорфу, уговаривал его служанку Авдотью присмотреть за больным, потом нёсся на почту, подавал телеграмму Кате Саниной (ежедневно!), заходил к Сергиевскому, расспрашивал его, как идут дела у Василия Кривошеи, просил передать ему новую книжку для рабочих, потом спешил к Беллонину репетировать его детей, одного из которых он готовил в гимназию, другого — в межевой институт. Землемер, как и обещал, *позвал* Федосеева, подвал в конце марта и сразу же дал денег. А неделю назад, встретив во дворе репетитора и увидев на нём разбитые ботинки, брезгливо поморщился и сказал:

— Как же так, марксист? С капиталом всё время возитесь и не можете вырвать на обувь? — Он сунул под пальто руку, достал бумажник и вынул из него новенькую синюю кредитку. — Ступайте сейчас же к Ионовым и купите шевровые сапоги. Или лаковые.

Федосеев пошёл не в иововский магазин, торгующий на главной улице, а на местную Хитровку, занимающую один угол Торговой площади, и купил там не шевровые и не лаковые, а юфтевые поношенные сапоги, и от беллонинских пяти рублей у него осталось три с полтиной, и сначала он не сообразил, что ещё надо купить, а потом, выйдя на улицу, завернул в картузную лавку, взял тут небольшой картонный ящик, вернулся на торговую площадь и пошёл по съестным рядам. Была пятница, и базар гудел от мужского говора, смешанного с женским крикливым щебетом. В губернии свирепствовал голод, но здесь торжествовало изобилие, прилавки, лотки и корзины ломились от всяческой снеди. — Гречишники, горячие гречишники! — тоненько кричала одна торговка. — Помните великий пост, покупайте гречишники! — кричала другая. Федосеев с них и начал, с этих серых гречневых пирамидок, разрезанных вдоль и смазанных постным маслом. Потом он купил грецких и кедровых орехов, тульских пряников, московских филипповских саек и сушек, кавказского изюма, владимирских засахаренных вишен, горячих пирожков с грибами, тёплую, только что испечённую кулебяку, два фунта кровяной колбасы и фунт дорогих конфет.

Наполнив ящик, он выбрался из рядов, и тут его окружили городские нищие и мужики, выгнанные голодом из деревни. Он опорожнил ящик, вернулся, снова наполнил его той же снедью и тогда, потупив голову, сгорая от стыда, прошёл сквозь толпу голодающих без остановки. Он хотел порадовать больного друга и сам радовался, когда наполнял ящик, а сейчас нёс его перед собой с таким чувством, будто украл это всё у тех оборванных, измождённых людей, которые тянули к нему руки и смотрели на него уже не жалко, не просяще, а жадно, требовательно и злобно.

На Нижегородской, около дома второй полицейской части, он увидел идущую навстречу девицу, весьма странную: она шла в распахнутой тальме, неся под полой баул. Приблизившись, она остановилась. Из всех прохожих она выбрала именно его, может быть, потому, что он слишком пристально смотрел на неё.

— Скажите, пожалуйста, — сказала она, — где Ильинская улица?

— Вы не туда направились, — сказал он. — Идёмте, я покажу. Здесь три Ильинских. Вам какую? Малую, Покатую или Большую?

— Да, Большую, Большую Ильинскую.

Он быстро глянул на неё сбоку.

— Вам дом Латендорфа?

— Да, дом Латендорфа.

— Боже мой! — Он остановился и взял свой ящик под мышку. — Вы Катя Санина?

— Николай Евграфович? — сказала она.

Он поймал под тальмой её свободную, левую руку и поцеловал в перчатку.

— Идёмте, идёмте быстрее! Алексей просто подпрыгнет, и болезнь сразу пройдёт.

Но Алексей не подпрыгнул, даже не приподнялся на кровати, когда она, не раздеваясь, первой вошла в комнату.

— А, Екатерина Алексеевна, — сказал он спокойно, как будто не виделся с ней всего два-три дня. — Здравствуй, сестрица. — Он протянул руку.

Катя упала на колени, обняла его поверх одеяла и заплакала, а он приподнял её снизу и отстранил.

— Дурёха, чего же ты рыдаешь? Ведь живой. И буду жить. Назло всем жандармам. Ты прямо из Казани? К отцу не заезжала?

— Нет, не заезжала, в Казани задержалась, искала денег. Вы, наверно, здесь голодаете?

— Катя, — сказал Николай, — опять? Если не хотите терять с нами дружбы — никаких денег. Подумайте — шубу из-за нас продала! Ещё холодно, а она вон в чём приехала! — Он снял с неё лёгкую тальму, принял шляпу, отнёс на вешалку и вернулся с

картонным ящиком. — Закатим сегодня обед, — сказал он, выложив на стол кулебяку. — Будем пировать. Угостись-ка, Алёша, вот пока что изюмчиком.

— Не выношу сладостей.

— Вот, опять не угодил. Катя, ваш братец просто терроризирует меня, ничего не ест. Алёша, до каких пор ты будешь куражиться? Орехов не хочешь?

— Орехи убивают мысль.

— А пирожков с грибами?

— Давай. И немедленно.

Николай подал пузатый тёплый пакет, но Алексей взял из него только один пирожок,

— Друзья, — сказал Николай, сев на диван рядом с Катей, — я попал сейчас в окружение голодных. Жутко. До чего же докатилась Россия! Земля перестала кормить. Думаю, дело тут не только в засухах, просто разваливается сельское хозяйство. Крестьянин бежит с пашен нищенствовать. Интеллигенция пытается открывать благотворительные столовые, но разве всех насытишь? Где выход? И что должны делать сейчас мы, марксисты? Народники нас обвиняют в том, что мы хотим разорения деревни. Ведь надо додуматься!

— Собака лает, ветер носит, — сказал Санин.

Николай пристально посмотрел на Катю.

— Наконец-то мы вместе, дорогая корреспондентка, — сказал он. — Писал вам и никак не мог высказать даже одной сотой того, что ворошилось в душе. Откладывал до встречи, а сейчас вдруг всё развеялось, не соберёшь. Катя, вы должны связать нас с Казанью. Необходимо нам соединиться с Поволжьем.

С Нижним мы уже связались, там наши друзья. В Самару поехала Мария Германовна, о которой я вам так много писал. В Казань в начале мая поедет наш здешний товарищ, Николай Сергиевский. Он будет там сдавать экзамен на аттестат зрелости и, конечно, попытается найти кого-нибудь из наших. Вы уж помогите ему, Катя. Ну, посидите с Алёшей, а я буду готовить обед. Поговорить мы с вами ещё успеем.

Нет, как раз поговорить-то, так, как хотелось, вдоволь, без помех, им и не удалось. За обедом и после обеда, до глубокой ночи, было много людей, прослышавших о казанской гостье и захотевших узнать, что делается в волжской столице. И назавтра квартира наполнилась народом, и Николай не замедлил этим воспользоваться, сел за свой столик — шум друзей действовал на него в работе так же благотворно, как на некоторых действует шум горной реки, навевающей ощущение вечной жизни. Потом началась серьёзная работа в кружках, которые надо было вывести

из народнических дебрей. А Катя (с ней удавалось поговорить только на ходу) всё сидела у постели брата. Она выходила его и неожиданно увезла к отцу в Костромскую губернию — в подлиповские леса, где он был схвачен когда-то за переводом книги Каутского.

Николай проводил их, поднялся с вокзальной площади на главную улицу и пошёл, пошёл по ней, чтоб развеять тоску, больно сосущую сердце. Он оставил позади Нижегородскую, миновал многолюдную Дворянскую и за белокаменными Золотыми воротами столкнулся с Сергиевским, спустившимся с Летнеперевозинской улицы.

— Откуда, тёзка? — спросил без всякого интереса Николай.

— От Кривошеи.

Николай чуть оживился.

— Он разве здесь?

— Нет, я к матери ходил. Вася приедет к вечеру. Мария Егоровна ждёт.

— Пойдём побродим.

— С удовольствием.

Они прошли Студёную гору, спустились к Ямской слободе и шагали всё дальше, мимо чёрной деревянной кузницы, мимо церквушки, в которой венчался Герцен, мимо крепких ямщицких домиков, мимо собак, хрипло лающих из подворотен.

— А ничего себе живут эти ветераны извоза, — сказал Сергиевский. — Благополучно.

— Не минуют и они краха, — сказал Федосеев. — Капитал поспешно строит железные дороги. Витте разворачивается. Умная бестия. Чует, откуда ветер дует. Витте — это главная фигура капиталистической России. Согласны?

— Да, пожалуй.

— Запомните, он далеко пойдет. Сейчас транспортом заворачивает, потом возьмётся за финансы, а финансам у нас подчинены промышленность и торговля, значит, всё это окажется в его руках. Восходит капитал — восходит и Витте. Его выдвинуло само время.

— Я чувствую, он будет героем вашей книги.

— Да, в будущем мне не обойти его. Эх, Николай Львович, не хватает времени! Подхожу вот к развитию русского капитализма, а история общины остаётся незаконченной. Да и с крепостным хозяйством ещё много возни. Сколько отняла тюрьма! Навёрстывать надо, навёрстывать! — Федосеев ужо оправился от ноющей боли и всё быстрее шагал по просохшей дороге в своих тяжеловатых, но очень удобных юфтевых сапогах.

Когда они оказались далеко за Ямской слободой,

Сергиевский придержал расшагавшегося друга.

— Послушайте, Николай Евграфович, мы так до Москвы дойдём.

Федосеев остановился и огляделся. Этой весной долго держались холода, кое-как сошёл снег, но дней десять назад вдруг нахлынуло с юга такое тепло, что сейчас вот всё подёрнулось зеленью — и земля, пахнущая нагретой молодой травой, и лес, звенящий сотнями птичьих голосов. Николай прислушался, как заливаются пернатые, и ему опять стало до боли грустно: не было рядом ни Алексея и Кати, которых мчал теперь поезд, ни Маши, притаившейся в далёкой Самаре. Добрая, добрая Мария Германовна! Что же она молчит? Обиделась, не хочет и вести подать о себе. Как она там? Нашла ли квартиру, познакомилась ли с Ульяновым?

— Идёмте обратно, — сказал Сергиевский.

— Что?

— Идёмте, говорю, обратно. Наверно, приехал Кривошея. Двигаемся?

— Да, да, возвращаемся. Наконец-то я увижусь с Василием. Долго вы мучили меня. Знаете, эта встреча круто повернёт мою жизнь. Что это за люди? Вон тянутся по дороге.

— Так ведь сегодня пятница, с базара идут.

— Все пешие. Видимо, возить-то в город уж нечего. Подкормиться ходили. Наудачу — авось какой кусок отломится. Вот вам русские крестьяне. Докопает их голод.

— В Приволжье косит холера.

— И сюда доберётся.

Прошли мимо, громко разговаривая, подвыпившие мужики, один в чистой красной рубахе и нанковых штанах, другой в линялой плисовой жилетке, а третий даже в поддёвке. За ними понуро брели по одному те, кому было не до разговора и кто не мог и мечтать о поддёвке.

Подошёл дремучий седой бородач с трубкой в зубах.

— Спички, господа, не найдётся? — спросил он.

Сергиевский, откинув полу сюртука, вынул из брючного кармана коробку.

— Спасибо, барин, — сказал старик. Прикурил, прижал большим пальцем вздувшийся подожжённый табак, отдал коробку, но не отошёл, явно намереваясь поговорить. Он был высушен временем, продублён и обожжён, и расстёгнутая льняная рубаха открывала у плеч, за бородой, шагренево-морщинистую шею.

— Устали, дедушка? — сказал Сергиевский, закурив папиросу.

— Ха, — усмехнулся старик, — я, барин, ещё вёрст двадцать отмахаю. Дело привычное.

— Сколько же вам лет? — спросил Федосеев.

— Мне-то? Восемьдесят семой пошёл.

— О, значит, вам, наверно, барщину пришлось долго тянуть?

— Да уж досталось. До внучат крепостным дожил.

Друзья переглянулись.

— Внучатам-то теперь свободнее жить? — сказал Федосеев.

— А ни кляпа не слободнее. Они вон, почитай, все разбежались от такой слободы. Барин-то хоть малость, да берёг тебя, присматривал, ты ему нужен был. А теперича кому мужик нужен? Сегодня работаешь — ладно, он заплатит тебе, а завтра заболел — проваливай. Ну и бегут мужики.

— А как общество? Не задерживает?

— Попробуй удержи. Подати платить надо? Надо. Чем? Земля-то совсем отошшала, ничего не даёт. Иди на сторону, зарабатывай. Вот и идут. Старики помирать остаются. Да ведь не помрёшь вдруг-то. Меня никакая хворость не берёт. Давно пора к месту — господь бог не принимает. И ему мы не нужны. Никому не нужны. — Старик вздохнул и посмотрел в сторону — на сырую лужайку. — Вот зеленеет, радуется, а придёт лето — всё повыжжет. Опять голод. Прогневали бога. — Он злобно сверкнул глазами из-под вислых бровей. — Вы виноваты, вы! Студенты, дохтора, учителя. Царя-освободителя убили! Холера идёт, кто её пустил? Вы! Ишь, зашшитники нашлись! Мужика они пожалели. Бродят но деревням, зубы заговаривают. Чего шатаетесь? Какого кляпа вам надо? Ступайте, пока целы. — Он пыхнул трубкой, сплюнул и пошёл дальше.

— Вот это поговорили! — сказал Сергиевский.

— Бедный старик, — сказал Федосеев, — всё в нём смешалось. Народ в отчаянье. Надо к рабочим прорываться. Идёмте скорее, Кривошея, вероятно, теперь дома.

Они пришли вовремя. Кривошея, умывшись с дороги, переодевшись, отдохновенно сидел среди своих родных за чаем, чистенький, в белой, с отложным воротником, рубашке, счастливо-молодой, с расчёсанной аристократической бородкой.

— Вася, — сказал Сергиевский, — это вот Николай Евграфович.

— Боже, как я рад! Наконец-то! — Кривошея выскочил из-за стола, схватил обеими руками руку Федосеева. — Садитесь. Снимайте вашу куртку. Будем пить чай. По-русски, до пота! Вот сюда, Николай Евграфович, сюда. Знакомьтесь. Это моя мама, это сёстры. Жены, к счастью, ещё нет.

Мария Егоровна налила гостям чаю, поставила перед ними

чашечки с вареньем.

— Угощайтесь, — сказал Валерий. — Мамино варенье. Знаменитая владимирская вишня.

— Рассказывайте, Василий Васильевич, — сказал Федосеев. — Как вы там?

— Служу, Николай Евграфович, служу. Письмоводитель полицейского надзирателя. Каково звучит, а? Отец был исправником, а я — полицейский писаришка. Прогресс.

— Отец твой был самым гуманным исправником во всей России, — сказала Мария Егоровна. — И всё-таки исправником, а не полицейским письмоводителем. Благодари Иванова — это он тебе удружил, нашёл местечко. Николай Евграфович, вы старше Васи, скажите ему, чтоб оставил свой позорный пост.

— Мама, — сказал Василий, — Николай Евграфович моложе меня на два года.

— Не может быть!

— Да, да, моложе, и ты напрасно взываешь к его летам. И я же говорил тебе, мамочка, что мне необходимо послужить в Никольском. Необходимо. У меня есть там своё дело.

— Такое же, в которое втянул когда-то Сабунаев?

— Нет, мамочка, это дело серьёзное. И спокойное. — Василий тихонько толкнул под столом ногу гостя.

Федосеев понял, что говорить о Никольском деле здесь нельзя, и кое-как дождался того момента, когда можно было подняться и покинуть гостеприимный этот дом, надеясь, что молодой хозяин выйдет следом.

— Ну, Николай Львович, — сказал Федосеев, — пойдёмте. Меня ждут у Беллонина.

Василий встал вместе с друзьями.

— Я провожу вас, — сказал он, надевая сюртук и картуз.

Выйдя из калитки, они медленно пошли по тихому Вознесенскому переулку.

— При маме о всём можно говорить, — сказал Кривошея, — но я не хочу её тревожить. Напугана сабунаевским делом, к которому хотели меня притянуть.

— Василий Васильевич, — сказал Федосеев, — я долго ждал этой встречи. Даже не верится, что иду с вами рядом. Расскажите, как вы там живёте?

— Пишем хорошо, Николай Евграфович. Едва ли можете представить, каких интересных людей нашёл. Я никак не думал, что так выросли русские рабочие. Вот есть у нас ткацкий смотритель Попков. Удивительный человек. Проглотил уйму книг. Правда, читал без разбору, что попадало, но во всём искал ответа на свой вопрос. А его вопрос — как расчистить жизнь? Или

вот слесарь Штиблетов. Светлая и горячая голова. Недавно вступил в кружок разборщик плиса Андреевский. Огромный талант. Изучил Дарвина, Вильгельма Гумбольдта, Спинозу.

— Да что вы?

— Понимаете, это природный философ.

— Интересно, очень интересно. «Коммунистический манифест» получили?

— Получили, спасибо. Читали — сильное впечатление. Просто все загорелись.

Друзья дошли до Вознесенской церкви и тут остановились, потому что дальше, спустившись по Летнеперевозинской улице к Золотым воротам, они попали бы в людской поток.

— Хорошо, — сказал Федосеев. — Всё хорошо. А главное всё-таки впереди. Книги книгами, но пора подумать о практических целях кружка. Что намереваетесь делать в будущем?

— Я считаю, надо как-то вступать в политическую борьбу.

— Николай Львович, как вы думаете — не рано?

— Не знаю обстановки, — сказал Сергиевский.

— Мне кажется — рано, — сказал Федосеев, — Василий Васильевич, я послал вам брошюры по фабричному законодательству. Это надо хорошо изучить. Изучить и приступать к делу. Отстаивать рабочие права, пока хотя бы те, которые узаконены правительством, но нарушаются фабричной администрацией. Вот вам начальная практическая школа. Если даже небольшая группа рабочих пойдёт по этому пути, её сразу не разгромят, и она будет крепнуть, втягивать в борьбу окружающих. У нас в Казани было всего тысяч пять рабочих, а тут в одном Никольском двадцать семь. Двадцать семь тысяч! Подумайте, какая сила! Но её надо организовать. У ореховцев есть опыт Моисеенко и Волкова. Ореховцы в новых условиях могут выступить так организованно, что вслед за ними забастует вся наша текстильная губерния. И забастовка будет беспроигрышной. Правительство окажется припёртым к стенке и вынуждено будет уступить рабочим. Друзья, мы с вамп находимся у самого мощного котла, и у нас есть возможность разогреть его. Николай Львович, может, мне отказаться от деревни?

— Ни в коем случае. Держитесь за Беллонина. Под его прикрытием вам легче действовать. Держитесь за него обеими руками. Идите, вас там ждут.

— Хорошо, я пойду, но нам надо сегодня встретиться. Приходите ко мне.

— Придём, придём. Ступайте.

Раздевшись в прихожей беллонинской квартиры, Николай подошёл к овальному стенному зеркалу и впервые с

гимназической поры внимательно рассмотрел своё лицо. Почему он показался Марии Егоровне старым? Матовая кожа ещё свежа, и на ней нет ни одной морщинки. Бородка и усики ещё жидковаты и мягки, как у юноши. А волосы вот потускнели и стали реже, и их уж не закинешь назад одним взмахом головы, как закидывались когда-то те, юношеские, льняные, густейшие. И глаза изменились — потемнела в них та светлая грусть, которую больше всего любила в нём Аня. Нет, Николай Евграфович, молодость прошла. Тебе скоро двадцать два года. Поразъехались старые друзья, и никто здесь не называет теперь тебя ни Колей, ни даже Николаем.

5

Отцвели городские вишнёвые сады, состоятельные владимирцы перебрались на дачи.

К дому Латендорфа подкатила ямская коляска, Николай Евграфович погрузил в неё книги, сел рядом с Беллониным, и пара рыжих лоснящихся коней умчала их в деревню. Они сняли квартиру у опрятною шевернихинского мужичка, переночевали в горнице с открытыми в сад окнами, поднялись необыкновенно бодрыми, землемер, позавтракав с гувернёром, собрался было в обратный путь, за детьми, но Федосеев пошёл осмотреть Шеверниху и скоро вернулся страшно расстроенным.

— Дизентерия, — сказал он Беллонину. — Дети мрут один за другим. Мы не можем оставаться в стороне от беды.

— Чего же вы хотите от меня? — спросил землемер.

— Скажите ямщику, чтоб свозил меня в Вязники. Надо привезти доктора.

— Да-а, нашёл я репетитора на свою голову. Вы что, будете лечить здешних ребятишек или заниматься с моими?

Николай Евграфович промолчал.

— Ладно, — сказал Беллонин, — едем вместе.

Стояла жара, и землемер не велел поднимать верх, чтоб в коляске не было душно. Он был в белой парусиновой паре и новом картузе, лакированный козырёк которого резко блестел на солнце. Рыжие кони бежали податливой рысью, коляска, пружиня рессорами, мягко покачивала задумавшихся седоков, ветерок обдавал их горячими струями, а ямщик, расплющив на облучке свой мягкий зад, всё помахивал кнутовищем и звучно чмокал губами. Николай Евграфович с тоской смотрел по сторонам. Угрюмые места! Болота, кочки, чёрный ельник и кое-где зелёные пашни, полосами врубленные в хвойные леса. Появится отдельная липовая куртина, промелькнёт худосочный берёзник, сверкнёт из зарослей ивняка речушка и опять идут насупившиеся ели, болота и кочки. Да, невесёлая природа. И невесёлые деревни. Осматривая Шеверниху, Федосеев побывал в четырёх избах и ни в одной не увидел ничего отрадного — во всех нужда, больные дети и безрадостная надомная работа, полученная от вязниковских фабрикантов.

А вот и Вязники, дымящие десятком высоких труб. Старинный промышленный городок. Сияющие церковные главы и чёрные фабричные корпуса. Низкие избы и двухэтажные дома. Грохочущий под коляской мост, перекинутый через Войнюшу, которая впадает тут в Клязьму. Опять избёнки и дома. И вывески.

Приходская школа. Трактир. Дом дворянского собрания (ишь ты!). Аптека. Земская больница. Стоп! Ямщик осаживает лошадей, Федосеев выпрыгивает из коляски, а Беллонин, сказав, что подождёт в уездной земской управе, едет дальше.

Николай Евграфович вошёл в больничный коридор, увидел сидящих на скамьях вдоль стен больных, ожидающих приёма, и понял, что доктора в деревню не залучить. Да, доктор заявил, что он не справляется и с теми больными, которые одолевают его здесь, выписал лекарства против дизентерии, посоветовал, как надо лечить эту болезнь, и пожал на прощание руку. — Благословляю, молодой человек, на доброе дело.

Дело, конечно, было доброе и необходимое, и Николай Евграфович отдался ему без рассуждения о том, принесёт ли оно какую-либо пользу. Рано утром, выпив стакан крепкого чая, он брал свою аптечку, оставлял уютную, чистую квартиру и на весь день уходил в заразные избы. Он не только лечил своих маленьких пациентов, но за некоторыми и ухаживал, если матерям было некогда. Он никого не расспрашивал, не изучал деревенскую жизнь, потому что она сама, втянув его в мужицкие беды, открывала все свои язвы, от которых саднило душу. Засуха не касалась здешних сырых земель, но крестьяне всё равно ели хлеб с лебедой: они почти забросили свои пашни и работали на вязниковских текстильных королей — рубили лес для паровых котлов, пряли и сучили нитки, изготовляли даже простую хлопчатобумажную ткань и сдавали её в Вязниках на склады. Были в уезде общественные хлебные магазины, но их запасы числились в недоимках, которые невозможно было собрать: община потеряла власть над мужиками, готовыми в любой момент покинуть (а некоторые уже покинули) свои наделы. Заброшенную землю прибирали к рукам новые ухватистые хозяйчики, вроде опрятного Тимофея Емельяновича, предоставившего землемеру просторную горницу с окнами в сад. Тимофеи Емельяновичи, однако, ещё не настолько окрепли, чтобы снабдить Россию хлебом.

Николай Евграфович, возвращаясь к ночи в уютную горницу, открывал окна и под шелест вишнёвой листвы записывал свои мысли о развитии капитализма в России. Потом открывал том Скребицкого (Шестернин достал все тома этого социолога) и уходил в прошлое — в крестьянскую жизнь времён Александра Второго.

Беллонин, пережидавший, видимо, дизентерию, приехал со своими сыновьями только через две недели. Николай Евграфович встретил его у ворот, Землемер тяжело вылез из коляски, стряхнул с парусиновой куртки пыль и подал руку репетитору.

— Ну, как вы тут, доктор? — сказал он. — Пойдёмте, я кое-что привёз для вас, — В горнице он снял куртку, вынул из кармана бумажник и достал из него сложенный вдвое конверт. — Из Самары. Я заходил к Латендорфу. — Потом подал две кредитки.

— А это что? — спросил Федосеев.

— Жалованье.

— Но я же полмесяца не занимался.

— Не ваше дело, — буркнул землемер, сел на диван и, расстегнув ворог рубашки, отвалился на спинку.

Николай Евграфович сунул деньги в карман, торопливо и нервно разорвал конверт. Читал он стоя, волнуясь, но тревога скоро сменилась радостью: Мария Германовна, как он понял по первым же строкам, не покинула его. Письмо её было спокойно-нежное.

Она уже обжила Самару, сняла квартирку, нашла хороших друзей, которые на днях познакомят её с Владимиром Ильичем — так величают там Ульянова, человека, привлёкшего внимание всех лучших самарцев. Она звала Николая Евграфовича (всё-таки не Колю) на Волгу, туда, к людям, объединяемым Владимиром Ильичем. В конце письма она сообщала самарские новости. Недавно побывал там Витте. Он осмотрел все госпитали и больницы, видел больных холерой, а потом, вернувшись на вокзал, в царские комнаты, где он остановился, долго лежал в ванне, в тёплой воде с сулемой. Маша видела, как он, большой, втянув маленькую голову в широкие плечи и задумчиво пощипывая бородку, медленно поднимался на пароход, а сзади следовала губернская свита. провожающая министра в низовье Волги, где он должен был обследовать водные пути и холерные госпитали и бараки.

Николай Евграфович прочитал письмо, вложил его в конверт и спрятал в карман куртки.

— Что нового в нашей губернской столице? — сказал он, присев на стул против землемера.

— Что нового? — Беллонин вытер платком вспотевшую шею. — Появилась приятная гостья. Холера.

— Уже добралась?!

— Да, добралась. Умер купец Бункин. Приехал с Касимовской ярмарки, лёг на кровать, скорчился и отдал богу душу. Умрёт, наверно, и приказчик. В Орехово произошло любопытное событие. — Землемер глянул на Федосеева и усмехнулся, выжидая.

— Ну-ну, что там произошло? — спросил Николай Евграфович.

— Ага, встревожило? Я ведь всё знаю про ваши Никольские дела. Не беспокойтесь, Кривошея ещё цел. Правда, у нею нашли какое-то письмишко, но это пустяки. Иванов говорит, что письмо невинное. Из Казани, от Сергиевского, А произошло в Орехово нечто для вас неожиданное. — Вошли сыновья, но отец попросил их побыть ещё минутку во дворе. — Да, совершенно неожиданное, — сказал он, когда они вышли. — Рабочие задолжались, забрали много харчей. Ворчат, что безбожно высчитывают. Надвигается холера, народ нервничает, злобствует. Ну, управление Никольской мануфактуры взяло да и скинуло двадцать пять процентов с долгов. Ткачи сразу растрогались, собрали денег и отслужили молебен о здравии хозяев. Послали депутацию на дачу к Савве Морозову, преподнесли ему просвиру. Теперь растрогался Савва. Приказал выдать всем никольским жителям по тридцать копеек на харчи. Сейчас все ликуют. Вот вам и ореховские ткачи. Напрасно на них рассчитываете. Вообще, чего вы хотите? Революции? Ничего не будет. Хозяева в любую минуту повёрнут рабочих куда угодно. Кинут им по рублю — и вы останетесь с носом.

В горницу опять вошли сыновья Беллонина.

— Ну, — сказал отец, — довольны? Неплохая дачка, правда?

— Деревня какая-то заморённая, — сказал старший.

Николай Евграфович спохватился, что ему надо бежать к больному ребёнку, к единственному сынишке вдовы Прохоровой. Этого трёхлетнего белоголового мальчика он лечил уже две недели и никак не мог его выходить.

Маланья Прохорова встретила «доктора» у калитки.

— Отошёл, — сказала она, — помер сыночек-то. — Она уже наревелась, наплакалась и сейчас была безжизненно спокойна, жёлтая, с мокрыми красными глазами. — Оставил меня одну. Хоронить надо, а не на что. Ни гробик сделать, ни могилку выкопать. Родня поразъехалась.

Николай Евграфович нашёл в кармане куртки смятые беллонинские кредитки и молча подал их Маланье. Она не сразу поняла, что это деньги, а когда поняла, тихонько заплакала.

— Пошли тебе царица небесная, — сказала она. — Дай бог тебе счастья.

6

За три месяца в деревне Николай Евграфович постарел на три года. Он вернулся в губернский город с тяжёлыми чувствами, хотя его будущее складывалось теперь хорошо: землемер предлагал ему не только постоянную работу, но и квартиру, а Маша звала на Волгу, так что он мог даже выбирать — поехать ли в Самару и присоединиться к кружку Владимира Ильича или остаться здесь и сойтись с ореховскими рабочими. Переночевав у Беллонина, он побежал утром в Вознесенский переулок, к матери Кривошеи. Марию Егоровну нашёл он в садике, под вишнями, под густой листвой, в которую уже вкрапливался осенний багрянец.

— Вася у Сергиевских, — сказала старушка, выйдя из-под листвы и воткнув в землю лопату, — Его ведь уволили.

— Да что вы?

— Как же, уволили, уволили. Ещё в нюне. Я рада, что избавился от позорной должности. Успокойте его, пожалуйста. Всё хорошо себя чувствовал, посмеивался, а в последние дни стал что-то нервничать. Сегодня чуть свет умчался к Сергиевским. Может быть, сходите к ним? Знаете, где они живут? Улица Ременники…

— Знаю, знаю, Мария Егоровна.

Николай Евграфович кинулся на Дворянскую, остановил извозчика, вскочил в кузовок фаэтона, но тут кто-то окликнул его. Он оглянулся, увидел Кривошею и Сергиевского и спрыгнул.

— Куда это наладились? — спросил Сергиевский.

— Хотел к вам.

— А мы вас разыскиваем, — сказал Кривошея. — Хорошо, что приехали. Мы тут такое заварили — не знаем, что и делать. Надо обсудить. Пойдёмте в сад.

Они торопливо и молча пошли по улице. Миновали Золотые ворота, свернули вправо, прошли вдоль Козлова вала до церкви Николая Чудотворца и, оставив её в стороне, углубились в сад. У самого обрыва стояла на столбиках некрашеная изрезанная скамейка, и они сели на неё.

— Итак, что же вы тут заварили? — спросил Николай Евграфович.

— Рассказывай, Вася, — сказал Сергиевский.

Кривошея, облокотившись одной рукой на колено и забрав в горсть бороду, болезненно сморщился. Он долго смотрел вниз, на Клязьму. И всё морщился,

— Василий Васильевич, — сказал Федосеев, — чем вы так расстроены? Не терзайтесь, рассказывайте.

Кривошея снял картуз и положил его на колени.

— Не знаю, с чего и начать, — сказал он. — Понимаете, Николай послал мне из Казани письмо. Оно, видимо, попало в департамент полиции, а оттуда — в губернию. И вот в Никольское нагрянуло начальство. Проверка, обыск. У меня ничего не нашли, но с должности я всё-таки слетел. Неблагонадёжен.

— Николай Львович, — сказал Федосеев, — о чём вы писали?

Сергиевский, всегда такой прямой, по-офицерски бравый, сейчас сидел сутуло и расслабленно.

— Письмо, конечно, было неосторожное, — сказал он. — Я писал о казанской интеллигенции, о её настроении, о тамошних кружках.

— Напрасно так доверяете почте, — сказал Федосеев. — Значит, связь с рабочими у нас оборвалась?

— Нет, Николай Евграфович, не оборвалась, — сказал Кривошея. — В том-то и дело, что не оборвалась. Помните, вы говорили о котле? Так вот, мы разогрели этот котёл. И кажется, перестарались. На фабриках и без того было тревожно. Начиналась холера, ткачи получали письма из деревень, голодающие семьи просили помощи, а тут администрация готовила осеннее снижение расценок. Рабочие кипели злобой. И вот недавно мы бросили в эту бурлящую массу прокламации.

— Вы?

— Одна была брошена московскими народниками. Астырев её написал, друг нашего Златовратского. Другую сочинил я. Отредактировал Иванов. «От рабочих-социалистов». Так мы назвали эту прокламацию. Размножили на машинке. Приехал из Никольского Штиблетов. Помните, я говорил вам о слесаре? Он стал нашим связным. Забрал все экземпляры, увёз в Орехово и распространил. Не знаю, что сейчас там делается. А ну как поднимется бунт?

— Но вы же к этому не призывали?

— Я-то не призывал. Вас тут не было, пришлось обратиться к Иванову, а он, кажется, внёс в эту прокламацию что-то бунтарское. И астыревское «Письмо к голодающим» тоже, по-моему, бунтарское. Я после-то одумался и просто перепугался. Что теперь делать?

— Да, действительно заварили, — сказал Федосеев.

Минуту все трое молчали. Прошумел, прошёлся по липам ветер, несколько жухлых бледно-зелёных листьев упало на траву около скамейки, а один, жёлтый, совсем осенний, опустился на волосы Кривошеи.

Николай Евграфович встал, обошёл вокруг скамейку,

остановился и, напряжённо раздумывая, потёр ладонями виски.

— Ехать надо, — сказал он, — немедленно ехать в Орехово. Мы должны предотвратить бессмысленный бунт. Разгромят рабочих. Надо отвести их от удара.

А если они уже поднялись, поможем организовать дружную стачку. Стачку, а не бунт! Понимаете? Медлить нельзя. Едем?

— Николай Евграфович, — сказал Сергиевский, — я собрался в Казань, весной не добил экзамена, хотел закончить сейчас. Отложить?

— Нет, раз собрались, поезжайте в Казань. Познакомьтесь там поближе с марксистами, наладьте хорошие связи, только не доверяйте больше почте.

С Катей Саниной весной встречались? Помогала она?

— Да, помогала. Мы жили с ней на одной улице.

— На какой?

— На Засыпкиной.

— Боже, это улица моей юности! О многом хотелось бы с вами поговорить, но сейчас некогда. Вернётесь — наговоримся. Василий Васильевич, едем?

— Да, едем. Только мне надо забежать домой. Мама будет волноваться. Успокою её, скажу, что еду в гости.

— Хорошо, я зайду к Латендорфу, буду вас там ждать. Кстати, заверну в окружной суд, повидаюсь с Сергеем Павловичем.

Шестернин встретил Николая Евграфовича с бурной радостью. Потом вышел с ним на площадь.

— Ну, как пожилось в деревне? — сказал он, взяв Федосеева под руку.

— Страшные впечатления, но поговорим об этом после. Я еду в Орехово.

— В Орехово? Вы что? — Шестернин остановился. — Орехово наводнено сейчас шпионами. Ожидается бунт, местечко Никольское в центре жандармского внимания. Вас там сразу заметят. Думаете, эти юфтевые сапоги и простенькая куртка скроют вашу интеллигентность? А очки? А куда вы денете своя байроновские грустные глаза? Нет, Николай Евграфович, я вас не отпущу.

— Я не могу оставаться здесь. Назревает дикое событие. В опасности тысячи человеческих жизней.

Шестернин задумался, потеребил свою мужицкую бороду.

— Послушайте, Николай Евграфович, — сказал он, — события вам не остановить, если оно назрело. Вы же марксист и хорошо знаете, что один человек ничего не в силах изменить.

— Да, я марксист, потому-то и не хочу оставаться наблюдателем. Стихия ещё не разыгралась, и её можно направить

в русло. Бунт давно изжил себя. Это ваш Иванов бросил в порох огонь. Я еду к рабочим, которые вполне могут понять, как надо ныне действовать. Всего доброго, Сергей Павлович. Спешу.

— Ну что ж, прощайте. Прошу вас, будьте осторожны.

— Постараюсь.

Николай Евграфович пересёк площадь и оглянулся. Шестернин смотрел ему вслед. Откинув полы сюртука и засунув руки в карманы брюк, он стоял у здания губернских присутствий в печальном раздумье. Федосеев махнул ему фуражкой и быстро пошёл по главной улице на Большую Ильинскую.

В доме Латендорфа было необыкновенно тихо. Служанка Авдотья мыла в сенях пол. Она поспешно одёрнула юбку, разогнулась и смущённо улыбнулась.

— Приехали?

— Да, приехал, Авдотья Ивановна.

— Ну и слава богу, а то без вас тут стало тоскливо.

Николай Евграфович вошёл в опустевшие комнаты, и они щемяще напомнили ему минувшую шумную жизнь и старых друзей — беспредельно добрую Машу, милого Костю, наигранно грубоватого Алексея, его чудную сестру и весёлую нижегородскую гостью Соню. Посидеть бы сейчас с ними за чаем и высказать им всё, что накопилось за это время. Ах, жизнь, жизнь! Зачем же она разбрасывает даже самых близких? Неуютно устроен человеческий мир. Всегда в нём чего-то не хватает. И всегда много лишнего.

И люди блуждают, расходятся, разъезжаются. Ладно, не надо так грустно думать. Расстояния но разъединяют людей, если они крепко связаны общими целями. Человечество придёт когда-нибудь к великому объединению. И счастлив тот, кто работает ради этого объединения. Что будет с тобой, Федосеев, если тебя лишить работы? Даже страшно подумать. До сих пор она нигде тебя не покидала. Настоящая работа — всегда борьба, а час борьбы стоит года жизни. Не терять ни одной минуты.

Николай Евграфович собрал книги и вещички, остававшиеся в этой когда-то шумной, а теперь невыносимо тихой квартире, в которой невозможно и суток скоротать. Надо перебираться к Беллонину или в Самару. Вернуться из Орехова и перебраться.

Он приготовил всё к переезду и стал ждать Кривошею. Сперва ходил по тоскливо пустым комнатам, прислушиваясь к своим гулким шагам, Потом открыл окно и облокотился на подоконник. Долго смотрел в ту сторону безлюдной улицы, откуда должен был появиться Василий Васильевич. Тот всё не появлялся.

Что с ним? Может быть, не отпускает Мария Егоровна? Бедная старушка, не уберечь ей сына. Неужели не придёт?

Одному в местечке Никольском нечего делать. Можно, конечно, разыскать, скажем, слесаря Штиблетова, но он и говорить не станет с незнакомым. Вася, Вася! Ведь всё полетит. Вырывайся.

Ага, вот он!

Николай Евграфович захлопнул оконные створки и выбежал на улицу.

— Готов, Василий Васильевич?

— Да, готов.

Они ринулись на вокзал, но дневного московского поезда не захватили, и как ни досадно было, а пришлось ждать ночного.

— Выпьем по чашке чаю, — предложил Кривошея. — Посидим, потолкуем, как жить дальше.

Они зашли в буфет, но сразу же повернули обратно, увидев Иванова и Николаева, сидевших в углу за столиком.

— Вот он, патриарх владимирских народников, — сказал Николай Евграфович. — Бросил в порох огонь и спокойненько ждёт взрыва. Сидят, пьют чай, мирно беседуют. А там, может быть, уже громят рабочих… Куда же нам податься?

— Не знаю, — сказал Кривошея.

Они стояли на вокзальной площади и обдумывали, где пробыть до ночи, чтоб никто из тайных наблюдателей не засёк их вместе.

Пошли за город, в лес. Вернулись они оттуда поздно вечером. Зашли в маленький захудалый трактир, поужинали, потом побродили по тёмным окраинным улицам и — на поезд. В вагоне они не говорили, сидели на скамьях друг против друга и думали только о том, что будет завтра в Никольском, а там их ждало что-то очень значительное, и к этому значительному не подходили никакие слова — всё казались слишком мелкими. Тускло светила лампа с чёрным закопчённым стеклом, дремали на скамьях люди, а за окнами простиралась огромная темень, в которой изредка возникали и пропадали какие-то далёкие нездешние огни — из «Одиссеи», сказала бы Аня, как она говорила в ту давнюю казанскую ночь, когда, возвращаясь с вечеринки, увидела под горой, на дальней окраине, чьи-то ещё не погасшие окна.

Поезд, лязгнув буферами, резко остановился.

— Приехали, — сказал Кривошея.

— Что, уже Орехово?

— Да, Орехово-Зуево.

Они прыгнули с подножек на платформу, в рассветную белёсую мглу, в прохладу, заставляющую передёргивать плечами, уже пахнущую осенью.

— Рано приехали, — сказал Кривошея, — никого сейчас не найдём.

— Может быть, пойдём сразу в местечко? — сказал Федосеев.

— О, вы не знаете, что такое фабричное местечко.

В такую рань нас даже сторож может задержать. Пойдём потихоньку в Орехово. Рассветёт — завернём в гостиницу.

Гостиница была ещё заперта, по Кривошея, которого тут знали как полицейского письмоводителя, требовательно постучал в дверь, и она открылась. Ои провёл друга в чайную, нашёл там знакомую повариху и упросил её подать на стол чаю, сахару и сушек.

Они сидели за столом, пока не опорожнили пузатый медный чайник, на красных начищенных боках которого вдруг вспыхнуло ворвавшееся в окна солнце. Покинув гостиницу, они пошли но улице. Было воскресенье, звонили колокола, из калиток выходили приодетые ореховцы, почтительно кланявшиеся Кривошее, элегантному, в изящном чёрном сюртуке, в недоступно белой сорочке и сияющих ботинках. Василий Васильевич держался достойно, как и должен держаться полицейский письмоводитель, к тому же дворянин, пускай бедный, но всё-таки дворянин, хотя живёт он сейчас на пенсии, получаемой матерью за отца, умершего исправником, но здесь-то этого никто не знает.

— Знаете что, — сказал Кривошея, — зайдёмте в церковь. Надо засвидетельствовать своё благочестие. И может быть, там встретимся с Алекторским. Зайдём?

— Хорошо, зайдём, — сказал Федосеев.

В церкви они стояли с полчаса, Кривошея всё время озирался, но Алекторского не увидел, дёрнул Федосеева за рукав и кивнул в сторону выхода. Потихоньку выбрались они из тесной толпы, потом продолжили прогулку по городу. Пересекли Орехово, перешли по мосту через Клязьму и очутились в Московской губернии, в Зуеве. По узким запутанным улочкам дошли до деревянной лачужки. Кривошея попросил Федосеева подождать у ворот, а сам вошёл во дворик. Скоро он вернулся.

— И дома его нет, — сказал он.

— Кого вы ищете? — спросил Федосеев.

— Да всё того же Алекторского. Отдохнём. Посидим вот на лавочке.

Они сели.

— Работает-то он в Никольском? — спросил Федосеев.

— Работает в Никольском, а живёт здесь. В казарме ему тошно. Душа-то крестьянская, хочется иметь свой уголок и клочок земли. Тут у него огородик. Куда он пропал?

— Что же, никого из рабочих сегодня не увидим?

— Увидим. Вечерком. Ночевать будем у братьев Предтеченских. Они в Никольском живут. Один — учитель,

другой — санитарный врач, студент Московского университета. Я вас на часок там оставлю и схожу к своему бывшему патрону. К полицейскому надзирателю. Благочестие своё мы засвидетельствовали, теперь надо засвидетельствовать благонадёжность.

— Василий Васильевич, я не могу ждать вечера.

Не могу! Может быть, завтра утром разразится бунт. Необходимо предотвратить его. Надо действовать. Неужели никого нельзя днём разыскать?

— Разыскать можно, Николай Евграфович. Это легче всего. Но встречаться с рабочими у всех на виду крайне опасно. Вы интеллигент, в Никольском будете выглядеть белой вороной, а я уволен полицейским надзирателем за политическую неблагонадёжность. Вот какие мы птицы. Нельзя рисковать.

Не спешите. Хотите посмотреть исторические места?

— Да, сидеть просто нестерпимо, ведите куда-нибудь.

Кривошея повёл его по тем местам, которые считал будущими памятниками истории. Он показал в Зуеве тот погребок, где в разгар знаменитой стачки заседал штаб Моисеенко и Волкова и откуда они, услыхав, что какие-то босяки вломились в магазины, бросились в Орехово, чтобы остановить грабёж и спасти рабочих от разгрома. Показал трактир на Песках, где ткачи обсуждали план забастовки. Потом привёл в Никольское и показал корпуса морозовских фабрик.

— Целый город, — сказал он. — Закрытый фабричный город. Туда нам не проникнуть. Идёмте к казармам.

— К рабочим?!

— О, уже загорелись. Нет, Николай Евграфович, не к рабочим. С ними я сведу вас, когда стемнеет. Приготовьтесь. Вам долго придётся говорить. Если они настроились на бунт, не вдруг их повернёшь в другую сторону. Воя в той казарме квартира Предтеченских. Посидим у них до сумерек.

Братья Предтеченские как раз обедали. Они приняли гостей очень радушно и сразу усадили их за стол.

— Всё-таки тянет вас сюда, Василий Васильевич, — сказал учитель. — Надолго?

— Нет, — сказал Кривошея, — завернул проездом из Москвы. Искал там работы, познакомился вот с Николаем Васильевичем и решил показать ваше местечко. Он изучает фабричную жизнь. Думаю, и вы не откажетесь помочь ему.

— С великим удовольствием, — сказал учитель. — Я-то на фабриках почти не бываю, а брат завтра может провести во все отделения.

— А вас что, собственно, интересует, Николай Васильевич? —

спросил врач. — Техника?

— И техника, и санитария, — сказал Николай Евграфович. — И быт рабочих.

— Что ж, пожалуйста. Могу познакомить вас со всем морозовским царством. Это ведь действительно царство. Совершенно обособленный мир. Всё хозяйское. Абсолютно всё. Фабрики, казармы, лавки, пекарни. И школа, и больница. И люди. Администрация, рабочие. И мы с братом. Так сказать, интеллигенция. Вы не студент?

Федосеев совсем не умел лгать, но тут уже принудили его к этому, и теперь надо было напрягаться, чтобы не запутаться, и он решил, что лучше всего, как на следствии, держаться поближе к правде, но осторожно обходить её.

— Нет, я не студент, — сказал он.

— Да, в Московском университете я вас не видел, — сказал врач. — Я там учусь. Там помаленьку бунтую, а тут служу самому матёрому капиталисту. Савве. Любопытный, знаете, человек. Читает революционные брошюры и неподдельно загорается. Поносит царя, ругает правительство. Сочувствует рабочим, но жмёт на них — не дай бог. И оправдывается. Я, говорит, первый революционер. Раскаляю пролетариат, вызываю чувство протеста, вываривaю мужика в фабричном котле. Каков, каналья, а? Вы народник? Наверно, пишете что-нибудь для «Русского богатства»? Хотите показать пагубное влияние капитала на мужика? Угадал?

— Нет, — сказал Федосеев, — своего мнения о капитале я пока ещё не составил. Хочу изучить его.

— Вот и хорошо. Завтра увидите, какая у него симпатичная физиономия. Это чудовище. Страшное чудовище!

Федосеев вышел из-за стола.

— Вы что это? — сказал учитель. — Совсем почти ничего не ели. Братуха, ты напугал гостя своим разговором. Человек, видимо, к этому ещё не привык. Да, Николай Васильевич?

— Нет, я с удовольствием послушал бы, — сказал Николай Евграфович, — только вот не могу как-то сосредоточиться. Перегрузился впечатлениями.

— Может, отдохнёте с дороги-то? Пройдите вон в ту комнату, полежите на диване.

— Я бы хотел написать письмо.

— Пожалуйста, пройдите туда. Бумага и чернила там на письменном столе.

— А я схожу пока к своему хозяину, — сказал Кривошея. — Надо повидаться.

— Вот какие у нас гости-то, — сказал врач. — Благонамеренные, выдержанные. Скучно на этом свете, господа.

Николай Евграфович прошёл в другую комнату и сел за письменный стол. В окно он увидел фабричные корпуса, мрачные и мертвенно-пустынные в этот воскресный день. Завтра туда хлынут толпы рабочих, и было бы очень хорошо, если бы те люди, с которыми сегодня придётся говорить, внесли утром в эти корпуса, в свою среду, новое настроение — готовность к постоянной организованной борьбе, а не к бунту. Николай Евграфович волновался. Ему предстояло впервые выступить перед рабочими. И перед какими! Перед знаменитыми ореховскими ткачами! Он положил перед собой два листа бумаги (только два, потому что должен был строго себя ограничить и всё изложить предельно коротко и ясно), взял ручку, обмакнул стальное перо в чёрные чернила, и крупные отчётливые слова торопливо побежали по странице.

…Он дописывал последнюю, четвёртую страницу, когда в комнату вошёл Кривошея.

— Повидались? — спросил Федосеев, продолжая писать.

— Повидался, — сказал Кривошея и подчёркнуто повторил: — *Повидался.*

Николай Евграфович обернулся, они переглянулись и поняли друг друга.

— Прогуляемся? — сказал Николай Евграфович.

— Да, надо побродить.

Братья Предтеченские тоже захотели погулять. Кривошея посмотрел на друга и едва заметно пожал плечами.

— Хорошо, — сказал он, — собирайтесь, мы обождём вас во дворе.

Во дворе было сумеречно. Кривошея взял Федосеева под руку, отвёл от крыльца.

— Ничего, вывернемся, — сказал он. — Дойдём до полицейского надзирателя, и я позову всех к нему, а Предтеченские ненавидят Парийского, вернутся.

Братья спустились с крыльца, оба в шляпах и в тёмных плащах.

Пошли парами: впереди — Кривошея с врачом, позади — Федосеев с учителем. Учитель что-то говорил, но Николай Евграфович не слышал его, нетерпеливо ожидая встречи с рабочими и досадуя, что она может не состояться.

— Николай Васильевич, — сказал, оглянувшись, Кривошея, — давайте зайдём к Парейскому. Он приглашал на чай. Доктор вот сопротивляется, но я не могу обижать моего бывшего патрона. Зайдёмте все.

— Нет уж, увольте, — сказал врач. — Я с полицейскими не якшаюсь. Этого ещё не хватало! Идите, а мы вернёмся.

— Обидится на вас Парийский.

— Чёрт с ним, пускай обижается.

Братья вернулись. Учитель, отойдя на десяток шагов, оглянулся.

— Долго-то не сидите у него. Мы вас ждать будем.

— Василий Васильевич, — сказал Федосеев, — они же узнают, что у Парийского мы не были.

— Скажем — раздумали. Доктор, мол, прав, но стоит якшаться с полицейскими.

Они постояли, обождали, пока братья скрылись во мгле, и тоже вернулись. Подошли к деревянной двухэтажной казарме, и Кривошея попросил постоять у входа, а сам юркнул в тёмную пасть открытой двери, Николай Евграфович послушал, как удалялись по лестнице шаги, и почему-то подумал, что надо хорошенько запомнить, в каком часу приехали в Орехово, когда встретились с Предтеченскими, когда разошлись с ними, когда подошли вот к этой казарме. Он достал часы, открыл их, приблизился к свету, падавшему из окна, но свет оказался слишком слабым, чтобы можно было разглядеть стрелки. Николай Евграфович положил часы в кармашек и усмехнулся. А для чего же запоминать-то? Ты что, уже готовишься к допросам?

Он посмотрел в окно и увидел семейный угол, занавешенный позади цветастым пологом. Косматая женщина в грязной нижней рубахе, вывалив дряблую длинную грудь, кормила ребёнка.

В коридоре, на деревянной лестнице, послышались торопливые шаги, из чёрного проёма вынырнули Кривошея и молодой рабочий с интеллигентской бородкой.

— Познакомьтесь, Иван Кузьмич, — сказал Кривошея.

Рабочий подошёл к Федосееву, подал руку.

— Штиблетов. Рад вас видеть, Николай Васильевич. Москвич? Надолго к нам?

Николай Евграфович мог бы остаться здесь и на целый месяц, но Кривошея ещё дорогой сказал, что больше суток в Орехове не позволит ему шататься.

— Завтра я должен быть в Москве, — сказал Федосеев.

Штиблетов посмотрел на Кривошею.

— Тогда надо сегодня всех собрать. Так?

— А это возможно? — спросил Василий Васильевич.

— Нет, весь кружок, конечно, не соберёшь. Зайду сейчас к Попкову. Обождите тут, только отойдите от света. — Штиблетов пошёл в соседнюю казарму.

— Вот это и есть слесарь Штиблетов, — сказал Кривошея. — Чистейший пролетарий. Потомственный. А Попков — ткацкий смотритель. Это про него я говорил, что глотает книги. Всё до

истины хочет добраться.

— И читает Спинозу?

— Нет, Спинозу читает другой, Андреевский. Разборщик плиса. Ну, тот настоящий философ. Между прочим, толстовец. Ходил пешком в Ясную Поляну. Лев Николаевич дал ему свою рукопись. Изложение евангелия.

Штиблетов вскоре вернулся и привёл Попкова. Николай Евграфович не мог во мгле хорошо рассмотреть ткацкого смотрителя, но но голосу и по модным усикам, черневшим под носом, понял, что ото энергичный мужчина лет тридцати. Яков Леонтьевич (так назвался, знакомясь, Попков) ни о чём не спросил приезжих и сразу приступил к делу.

— Значит, так, — сказал он, — в Никольском собираться сейчас не у кого. Пойдём в лес, к даче Зимина. По дороге прихватим зуевских. Здешних-то мигом соберём. Ваня, забежишь к Андреевскому, а я — к Клюеву.

— Клюев? — спросил Кривошея. — Кто это такой?

— Кузнец, — сказал Попков. — Надёжный мужик. Подождите тут, мы скоренько. Ваня, идём.

Рабочие торопливо зашагали к ближним казармам, там разделились, Попков вошёл в одну, Штиблетов — в другую, и вскоре они вышли с товарищами, и их стало теперь, насколько можно было разглядеть в темноте, пятеро. Они соединились у следующих казарм, постояли с минуту и опять разошлись, а через полчаса, прихватив других, собрались поодаль в кучу, и эта куча, смутно черневшая в темноте, стала приближаться — двигалась она молча, обходя освещённые окнами места.

Когда рабочие подошли вплотную, Попков выдвинулся вперёд.

— Знакомьтесь, Николай Васильевич, — сказал он.

Рабочие обступили приезжих, начали расспрашивать «москвича», кто он, когда приехал и надолго ли.

— Ладно, говорить будем после, — сказал Попков. — Двигаемся в Зуево. Надо разбиться, толпой идти ни к чему.

Николай Евграфович шёл сзади с Попковым и Штиблетовым. Потом присоединились ещё двое — Андреевский и Клюев. Андреевский несколько минут шагал с краю молча, прислушиваясь к разговору, затем переместился поближе к приезжему.

— Николай Васильевич, — сказал он, — вы «Исповедь» Толстого читали?

— Да, читал, — сказал Федосеев.

— Вот там есть слова. Понимаете, запали в голову, второй год бьюсь и никак не могу разобраться. Лев Николаевич говорит,

что для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. А вот если рабочие организуются для самозащиты — это тоже дела?

— Конечно, дела, — сказал Федосеев. — Настоящая самозащита рабочих — это постоянная и хорошо организованная работа.

— Выходит, и нам не избежать насилия? Но насилием мир не исправишь. Тот же Лев Николаевич говорит, что человек должен трудиться, смиряться и быть милостивым.

— Чушь! — сказал Штиблетов. — Кто терпит, тот погибает.

— А по-моему, погибает тот, кто бросается в драку, — сказал Андреевский.

Навстречу по тускло освещённой улице шла молодая компания с гармошкой, уже разминувшаяся с теми рабочими, которые шли двумя группами впереди.

— Тут кругом люди, — сказал Попков, — давайте осторожнее. Болтайте пока о пустяках.

Болтать никому не хотелось, и все шагали молча, пока не миновали Орехова, а за мостом Андреевский вернулся к начатому разговору.

— Николай Васильевич, вы в Москве, наверно, встречаетесь с разными людьми. Скажите, как там понимают Толстого?

— А мне хотелось бы знать, как вы его понимаете, — сказал Николай Евграфович.

— Знаете, я видел Льва Николаевича. Необъятный человек. Мне трудно понять его. Насчёт терпения не могу с ним согласиться. Я вижу жизнь и понимаю, что её надо перевернуть, но как бы сделать это без крови?

— «Коммунистический манифест» не читали?

— Да, брал у Василия Васильевича, читал.

— И как?

— Хорошая книжка, захватывает.

— Дорогой друг, это не просто книжка. Это ваша рабочая программа.

— Леонтьевич! — крикнул где-то в темноте Кривошея.

— Оу! — отозвался Попков.

— Догоняйте!

— Идём быстрее, братцы, — сказал Попков.

Рабочие, шедшие впереди, остановились и ждали в узеньком проулке. Николай Евграфович, подойдя к ним, осмотрелся и узнал ту лачужку, около которой сидел утром на лавочке с Василием Васильевичем (неужели это было сегодня?). Хибарка светилась одиноким окошком, и там, за этим ничем не задёрнутым окошком, стоял, застёгивая косоворотку, пожилой

мужчина.

— Вот он, кого мы утром искали, — сказал Кривошея. — Алекторский. А это его жена.

Жена, маленькая, сутулая, ходила вокруг мужа, махала и всплёскивала руками. Она, видимо, ругалась, но Алекторский не обращал на неё внимания и, оттопырив рыжую бороду, застёгивал на шее пуговицы. Потом он снял со стены пиджак, надел его, что-то стёр ладонью с лацкана, повернулся и, нагнувшись, нырнул в двери, а вскоре вышел из калитки.

— Здравствуйте-ка, — сказал он, подойдя к рабочим. — Чего это собрались? А, и Василий Васильевич здесь! Здравствуйте-ка.

— Здравствуйте, Алексей Фёдорович. Гость вот из Москвы приехал. Яков Леонтьевич, ведите.

Попков повёл дальше.

Пока пробирались по селу, ещё три раза останавливались и стучали в окошки, но к собравшейся компании присоединился кроме Алекторского только один человек.

— Ну, больше тут некого вызывать, — сказал Попков.

Андреевский опять оказался рядом с Федосеевым.

— Значит, Толстого вы не признаёте? — спросил он.

— Как же его. не признаешь? — сказал Николай Евграфович. — Писатель, крупнее которого сейчас нет во всём мире.

— Нет, я не про это, а про терпение.

— Видите, Толстой сам не терпит. Он стыдит, протестует, грозит. Толстой, призывающий к смирению, сам-то вот никак не может смириться. Не перестаёт нападать на существующие порядки. Я думаю, русским рабочим стоило бы даже поучиться у него настойчивости. Но идея непротивления для пролетариата неприемлема. Неприемлема и губительна. Русский пролетариат только-только вступает в борьбу, но уже кое-чего достиг.

— А чего мы достигли? — сказал кто-то впереди. — Ни хрена не достигли. Как жили, так и живём.

— Будем терпеть, так ещё сто лет ничего не добьёмся, — заметил Штиблетов.

— Правильно, — сказал кто-то сзади. — Давно надо было разнести эти фабрики, а мы всё терпим. Сейчас самое время поднять бунт. Читали прокламации-то?

— А что тебе даст этот бунт? — спросил Штиблетов.

— Ясно, ничего не даст, — сказал Алекторский. — Без мужика, ребята, нам ничего не сделать. Мужика надо поднимать.

Вышли за село, и Попков, шагавший впереди, остановился.

— Братцы, а чего нам шагать к даче Зимина? Может, здесь причалим? Ночь вон какая тёмная, никто нас не увидит.

— Нет, ребята, — сказал Алекторский, — надо хоть немного отойти. Сюда парни приводят девок вон в кусты. Наткнутся на нас.

Прошли ещё с полверсты, потом свернули в мелкий лесок, пробрались сквозь сырые кусты на какую-то лужайку и сели прямо на мокрую, росистую отаву.

— Ну, так чего же мы достигли, Николай Васильевич? — сказал Андреевский.

Федосеев, волновавшийся перед встречей с рабочими и долго обдумывавший, о чём и как с ними говорить, сейчас понял, что нужный разговор завязался и совершенно определился ещё дорогой и теперь остаётся только продолжить его.

— Спрашиваете, чего достигли? В восемьдесят пятом году прогремела ваша ореховская стачка. Вы, конечно, знаете её последствия.

— Посадили зачинщиков, — сказал Алекторский.

— Да, их посадили, но Моисеенко и Волков продолжали бороться и на суде. Они раскрыли чудовищные условия, в которых работали ткачи. Правительство вынуждено было внести некоторые изменения в фабричное законодательство. Так что ореховцы на какую-то долю улучшили жизнь русских рабочих. У вас здесь рабочий день короче, чем на других фабриках Владимирской губернии. Может быть, Савва Морозов более человечен, чем его коллеги? Нет, просто Никольские ткачи в восемьдесят пятом году показали свою силу, и их теперь побаиваются.

— Да, как же, побоятся, — сказал Алекторский. — День укоротили, зато стали безбожно снижать расценки.

— Верно. Таков закон капитала. Если фабрикант теряет на одном, он сразу же начинает искать прибыль в другом. Но рабочие должны его осаживать.

— Попробуй осади, — сказал Алекторский.

— Алексей Фёдорович, — сказал Попков, — ты ведь знаешь, что наше управление хотело снизить расценки, а губернское начальство заставило пока воздержаться. Почему? Потому что побоялось стачки. И управление тоже растерялось.

— Громить их надо, пока не опомнились, — предложил кто-то.

— Вот этого вы не должны допускать, — сказал Николай Евграфович. — Бунт — слепая стихия. Бунт теперь подавляют мгновенно, а рабочие расплачиваются за него годами тюрьмы. Вас в Орехове двадцать семь тысяч, да ещё зуевские рабочие, да ещё Собинка под боком. Вы можете объединиться, и тогда ваша стачка окажется непобедимой. Вас поддержат тогда Шуя, Иваново-

Вознесенск, Ковров. В губернии сто четырнадцать тысяч рабочих. Это армия! На Западе рабочий класс наступает на капитал огромными союзами. Русские рабочие ещё не поняли, что улучшить своё положение они могут только тогда, когда объединятся в большой постоянный союз. Восставая против хозяев сразу, не подготовившись, не выработав ясных целей, наши рабочие громят фабрики и лавки, избивают полицию и директоров, но всегда терпят поражение, правительство жестоко с ними расправляется. И если наш пролетариат ещё но достиг в своей борьбе значительных результатов, то это потому, что рабочие объединяются только временно, чтобы провести стачку, когда уж невозможно становится терпеть. — Николай Евграфович смутно видел сидящих вокруг людей, но чувствовал, с каким вниманием они слушают, и это подогревало его, и он говорил всё увлеченнее, призывая рабочих к борьбе, средства и цели которой были определены «Манифестом Коммунистической партии».

Вспыхивала спичка и на мгновение освещала рабочих, а когда она гасла, все вмиг исчезали в чёрной тьме, и только через две-три минуты снова неясно обозначались фигуры слушающих. Спички зажигал кузнец Клюев. У него, видимо, отсырела махорка, трубка никак не разгоралась, а ему хотелось непременно её разжечь, и он, чиркнув спичкой, усиленно чмокал губами и смотрел поверх огонька на людей, смотрел виновато, потому что они щурились и досадливо морщились.

7

Дорогой все виделись эти по-рембрандтовски освещённые лица, вспоминались подробности вчерашнего вечера, слышались голоса рабочих, а стук вагонных колёс навязывал какие-то бессмысленные слова — ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Мысли бежали вразброд, и не хотелось приводить их в порядок. Кривошея остался ещё на сутки в Орехове. Взял конспект вчерашнего выступления. Как бы там не попался. Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Наступает осень, желтеют берёзы, на осинах горят багряные листья. Надо взять у Шестернина ружьё да забраться дня на три в лес. Помнишь, дружище, как опьянил тебя запах вскрывшейся Невы? Ты мечтал тогда об охоте, а вот уж восьмой месяц живёшь на свободе и ни разу не взял в руки ружья. Весной можно было ходить на тягу. Вальдшнепов ты видел только в детстве, в родных вятских местах, в окрестностях забытого Нолинска. Вальдшнепы. Может быть, их уже нет в русских лесах? Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Жизнь проходит мимо, как проплывают вот эти рощи, перелески и пашни. Женщина с серпом на плече глядит на пролетающий поезд. Что ты смотришь с тоской на дорогу? Дожинаешь свою полоску, а снопов-то и не видно. Ни снопов, ни суслонов, ни скирд на полях. Опять неурожай? Опять голод? Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Убегает назад земля со своими лесами, пашнями и селе-пнями. Как ты мало знаешь её, поднадзорный! Тебе нельзя свободно ходить по этой земле, куда хочется. Ты остаёшься связанным. Да, жизнь по-прежнему идёт мимо. Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Всё проходит мимо тебя. Все? А Орехово? Нет, не так уж плохо. Ты теперь с рабочими. И с какими! Штиблетов, Попков, Андреевский. Это новое, ищущее поколение. Оно втягивает в свою среду и таких тёртых людей, как Алекторский, бывший крепостцой крестьянин, в котором клокочет ненависть ко всем хозяевам. С такими ткачами, вооружи их марксистской наукой, можно поднять на борьбу всю орехово-зуевскую армию, грозную тридцатитысячную армию. В неё вольются потом отряды других фабрик. Может быть, не переезжать в Самару-то? Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Всё меньше лесов, всё больше голых мест. Поезд идёт уже по Владимирскому уезду. Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Владимирская губерния — центр московской промышленной: области. Зачем перебираться в Самару, когда здесь открываются такие возможности? Да, но там Владимир Ильич, там Мария Германовна. Там Волга, а на Волге сейчас

собрались сильнейшие марксисты. Там много старых друзей, воспитанников казанских марксистских кружков. Так-то так, но зато здесь Москва, а через Москву можно связаться с Петербургом. Не хочется отсюда уезжать. И туда непреодолимо тянет.

От Самары недалеко и до Царицына. Ах вот что! Ты всё ещё надеешься встретиться с Анной. Что ж, может быть, и найдёшь её. Свободы, свободы — вот чего тебе не хватает. Сел бы вот так в вагон и поехал в любую сторону. Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт.

— Витте — министр финансов.

— Что? — Николай Евграфович отвернулся от окна и увидел перед собой Иванова, сидевшего на противоположной скамейке с газетой.

— Витте назначен министром финансов, — сказал Николай Иванович, свернув газету в трубочку.

Откуда он взялся? Видимо, перешёл из другого вагона. На его месте сидела женщина с ребёнком.

— Далеко ездили? — сказал с усмешечкой Иванов. — В Орехово, наверно?

— Нет, просто захотелось проветриться.

— Надо, надо. Вы так задумались, что не заметили, как я подсел. Плохо проветрились, если не развеяли дум. Значит, можно вас поздравить?

— С чем?

— Да с повышением Витте. Поднялся на самый верх. Забрал в руки самое важное министерство.

Финансы, торговлю, промышленность. Торжествуйте. Он ведь ваш союзник. Главный покровитель капитала.

Спорить с Ивановым не хотелось. К чему? Его всё равно не переубедишь. Пускай считает марксистов союзниками Витте. Хорошо бы, если и министерство внутренних дел так заблуждалось. Но, к сожалению, Дурново, кажется, начинает понимать марксистов.

— Что же вы не радуетесь? — усмехнулся Иванов. — Событие для вас весьма отрадное.

— Видимо, ещё не осознал его значения. Вы сейчас из Москвы?

— Да, из столицы.

Ага, ездил, вероятно, к писателю Астыреву. Не надейтесь, господа, на свои прокламации. Бунта не будет. Никольский рабочий кружок сегодня уже разъясняет ткачам, на каком пути их ждут провалы и на каком — победы.

Поезд подходил к сияющему куполами Владимиру. Николай

Евграфович любезно попрощался с Ивановым и вышел в тамбур. Ритм колёсного стука замедлялся. Ты да Декарт, ты да Декарт, ты да Декарт. Господи, откуда взялись эти нелепые слова?

Они, эти странные слова, вобравшие стук вагонных колёс, преследовали его ещё несколько дней, пока он, пытаясь возобновить прерванную работу, сидел в тихом доме Латендорфа и раздумывал, куда ему перебраться — к Беллонину или в Самару.

Всё-таки он решил уехать в Самару. Перевёз от Беллонина книги, упаковал их, сложил в чемодан вещи, а постель увязал в свой старый, ещё из Нолинска, портплед, купленный матерью в то лето, когда она снаряжала в Казань своего любимого сына, от которого потом отреклась. Приготовив всё к отъезду, Николай Евграфович положил в сумку буханку хлеба, пошёл к Сергею Шестернину, взял у него тульскую двустволку и отправился в лес. Нижегородская улица вывела его на жёсткую щебёночную дорогу — знаменитую Владимирку, унёсшую тысячи арестантских жизней. Он дошёл до Рахманова перевоза, переправился на правый берег Клязьмы, спустился версты на две вниз, потом, упёршись в лесной ручей, повернул вправо и углубился в лесную чащу. Только начиналась осень, но недавние заморозки, слишком ранние для средней России, уже прихватили листву, и она, ярко расцвеченная, остро пахла увяданием.

Николай Евграфович пробирался узкой тропинкой вдоль ручья, ветви скользили по лицу, глаза залепляла паутина. Справа где-то с шумом сорвался с места тетерев, но охотник не встрепенулся. Потом слева тоже фыркнула птица, и он опять остался спокойным. Вряд ли он был сейчас охотником. Пожалуй, и ружьё-то взял только для того, чтобы оправдать перед собой эту прогулку. Ему просто хотелось накануне новой жизни подумать в осеннем лесу. Если уж по-настоящему охотиться, так надо было взять у Шестернина и собаку. Осенью без собаки лесную птицу не возьмёшь. Попробуй-ка подними вальдшнепа. Броди хоть целую неделю — он не покажется. Нет, вальдшнепов до весны не увидеть. Интересно, охотится ли Владимир Ильич? Вероятно, в Кокушкине-то охотился. Вот с ним можно и встретить будущую весну. На тяге.

Ручей привёл к озеру. Николай Евграфович остановился на берегу и долго смотрел на огромную голубую подкову, брошенную в пылающие осенние леса, оранжево-красные, только местами зелёные. Он обошёл кругом озеро и, когда стало темнеть, развёл на берегу костёр.

Собранные гнилые пеньки горели до рассвета. Николай Евграфович, привалившись спиной к толстому стволу осины,

смотрел на танцующее пламя, слушал его весёлый шёпот, временами доставал из кармана куртки книжечку и записывал какую-нибудь вспыхнувшую мысль. Всю ночь диковато и жалобно кричала какая-то птица. Ему хотелось узнать, что это за существо, и было обидно, что он, прирождённый охотник, оказался отлучённым от природы и до сих пор не познал её, не вкусил и она остаётся далёкой и недоступной.

Утром, оставив на берегу потухшие и подёрнувшиеся белым пеплом головешки, он простился с туманным озером и пошёл по какой-то заросшей тропе на северо-восток, надеясь выйти к Клязьме в том месте, где в неё впадает Нерль. Опять справа и слева, шумно хлопая крыльями, взлетали тяжёлые, ожиревшие тетерева, но он не вскидывал двустволки, только приостанавливался и, проследив за полётом, шагал дальше, хлюпая по мочажинкам.

К полудню он вышел к реке и увидел поодаль на горке, на другой стороне, скопище церквей, сверкающих золотыми крестами. Внизу белел знаменитый храм Покров-на-Нерли. Николай Евграфович переправился на пароме через Клязьму, осмотрел белокаменный храм, потом поднялся в Боголюбово, зашёл в резиденцию Андрея, посидел во дворе, подумал о трагической гибели князя и пошагал во Владимир. Набежала тучка, пошёл мелкий дождь, дорога запахла смоченной пылью. Федосеев ускорил шаг.

Он занёс Шестернину двустволку (Сергей Павлович ещё не вернулся из окружного суда), вышел на Нижегородскую и тут, около ямского трактира, где теснились коляски и тележки, нашёл простые дроги, хозяин которых охотно согласился перебросить пожитки. Дождик перестал. Николай Евграфович перевёз вещи и книги на вокзал, сдал их в багажный склад, потом купил проездной билет, пообедал в буфете и отправился к приставу второй полицейской части.

Пристав встретил его с необычайной радостью.

— А, господин Федосеев! Прошу! Прошу! Садитесь. Чем могу служить?

Николай Евграфович устало опустился на стул.

— Я хочу переехать в Самару, — сказал он. — Мне запрещено пребывать в столичных, университетских и больших промышленных городах. Самара, как вам известно, не относится ни к одной из этих категорий. Надеюсь, мой переезд не вызовет никаких препятствий. По-моему, вам даже лучше, если у вас будет одним поднадзорным меньше.

— Ну что ж, Николай Евграфович, — сказал пристав, — надо подумать, посоветоваться с полицмейстером. Кстати, он просил

доставить вас к нему.

— Доставить к нему? Зачем?

— Не могу знать. Вы нужны ему но какому-то делу. — Пристав вышел из-за стола, надел картуз, натянул перчатки. — Прошу, нас ждёт запряжённый фаэтон. Я как раз туда и собрался.

Фаэтон скрипнул и перекосился, когда на его двухместное сиденье взлезли двое неравных — один небольшой, сухощавый, другой огромный и такой тучный, что мундир мог в любую минуту лопнуть, не выдержав напора могучего тела. Белая лошадь величавым шагом вышла за ворота и, едва кучер тронул её вожжой, пустилась в лёгкую рысь, звонко цокая по булыжной мостовой, смоченной прошедшим дождиком.

Николай Евграфович, встревоженный, успокаивал себя предположением, что его везут, чтобы выяснить то недоразумение, по поводу которого уже вызывали как-то в полицейскую часть. Его хотели уличить в том, что он два года назад, сбежав из тюрьмы, проживал некоторое время во Владимире. Николай Евграфович посоветовал тогда вот этому приставу обратиться с письмом к ныне ещё здравствующему Сабо и спросить, не отлучался ли арестант Федосеев из «Крестов», пока отбывал там срок. Потом, вернувшись в дом Латендорфа, он долго раздумывал, чем же был вызван этот допрос. Позднее, когда Кривошея рассказал, как, в каком году и в каком месяце появился во Владимире Сабунаев, Николай Евграфович понял, что предприимчивый народовольческий вождь, объяснявшийся с ним в казанской комнатушке, вовсе не револьвер сунул тогда в карман клетчатого пиджака, я похищенный со стола паспорт, с которым вскоре и приехал во Владимир. Сабунаев теперь в Сибири, и хоть он неприятный человек и ничего, конечно, к его наказанию не прибавится, но не стоит всё-таки ссылаться на него в полиции — и без того можно легко доказать, что арестант Федосеев за два с половиной года тюремного заключения никуда не отлучался.

— Ну вот, прокатились, — сказал пристав, слезая с фаэтона. — Сейчас побеседуете с полицмейстером, и я отвезу вас на квартиру.

Полицмейстер оказался далеко не таким радушным, каким был его подчинённый. Он даже не пошевелился за своим огромным столом.

— Ага, объявились? — сказал он, не разомкнув рук, лежавших на красном сукне. — Поохотились? Теперь к делу. Есть распоряжение начальника губернского жандармского управления. Позвольте объявить вам, что вы арестованы.

8

Он не считал проходивших дней, не глядел часами сквозь решётку на вольную жизнь (к чему травить чувства?), но и не терял, как первое время в «Крестах», ощущения реальности. Он боролся. Площадка его жилища (в камере ничего не было, кроме нар и параши) стала для него полем битвы. С утра до позднего вечера он шагал по этой площадке, разрабатывая план сражения, и при малейшей возможности без промедления бил в цель. Продолжать свою исследовательскую работу здесь он пока не мог, потому что ему не давали ни книг, ни бумаги, ни карандаша, и прежде всего надо было отвоевать именно это необходимейшее оружие. Но была и другая, не менее, а может быть, более важная задача — выиграть схватку в ходе дознания. Своих противников, прокурора и начальника жандармского управления, он видел всего несколько раз. Только дважды допросив его, они больше не вызывали, но он продолжал с ними бороться, посылая им заявления, которые писал в тюремной конторе, куда прорывался благодаря своей неимоверной настойчивости. Он вёл бой, как шахматист ведёт сложнейшую заочную партию, не видя и не зная противника и изучая его характер по приёмам игры. Но арестанту надо было стоять одному против целой армии — губернского начальства, московской судебной палаты и петербургского департамента полиции.

И вся эта армия, от филёра до министра внутренних дел, действовала совершенно скрыто.

Непрестанно меряя камеру (шесть шагов туда, шесть — обратно), Николай Евграфович напряжённо думал, разгадывая дальнейшие возможные ходы своих противников. Поездку в Никольское, как ни отрицал он её, опровергнуть не удалось, потому что Кривошея, арестованный гремя днями раньше и захваченный врасплох, уже сказал, что ездил в Орехово с неким Николаем Федосеевым. Правда, потом, очнувшись от внезапного удара, он решил исправить свою ошибку и на очной ставке не признал в друге своего спутника, и арестованные рабочие тоже не опознали того «москвича», который говорил с ними и оставил «программу действия», переданную им Василием Васильевичем. Ошибка Кривошеи стала было выправляться, но вот вызвали братьев Предтеченских, и те, перепугавшись, сразу признались, что да, у них ночевал вот этот самый человек, белокурый, в очках, в простенькой серой куртке.

Отказаться от «программы действия» Николаю Евграфовичу не удалось, зато, опираясь на этот антибунтарский документ, он

легко опрокинул другое обвинение — отверг приписываемое ему авторство двух прокламаций, призывающих к бунту. Теперь, признав поездку в Орехово, он доказывал, что приезжал туда только для того, чтобы познакомиться с бытом ткачей, но кто-то из них попросил его рассказать, как живут рабочие в других городах, а рассказывать ему было некогда, поэтому, переночевав у Предтеченских, он оставил там письмо. Больше того, он доказывал, что его письмо действовало против прокламаций, хотя он этой цели и не преследовал, ничего не зная о брошенных в рабочую среду воззваниях. Объясняя, почему он сразу не признал поездки в Орехово, Николай Евграфович обвинял полицию в страшном произволе, который и заставляет людей скрывать свои самые невинные поступки во избежание всяких неприятностей.

Дознание, столкнувшись с сильной волей одного из обвиняемых, двигалось очень медленно, а полковник Воронов, подстёгиваемый сверху, торопился как-нибудь запершить дело. Николай Евграфович, анализируя мельчайшие подробности скудных допросов, проникал в тайны следовательской работы и всё больше убеждался, что работа эта примитивна и груба, что аляповатое дело вернётся из судебной палаты на доследование. Он ждал нового наступления и готовился к отпору.

У времени не было никаких препятствий, и оно размеренно шло к своей бесцельной цели, не ведая, хотят ли этого люди, подвигаются ли человеческие дела, задерживаются ли какие-то там дознания. Оголился и посерел лес, видневшийся поодаль. Потом задымила кудлатыми столбиками Солдатская слобода, крайние домики которой, полукругом обступив тюрьму, но опасаясь подойти поближе, скорбно смотрели на неё маленькими окнами. Потом замелькали за решёткой снежинки, побелели слободские горбатые крыши. Потом появился на стекле первый ледяной рисунок, и как раз в этот морозный день впервые вывели на прогулку. Он, Федосеев, сломил чудовищное сопротивление полковника Воронова, и тот наконец разрешил ему и прогулки, и свидания, и всё остальное, чего он долго был лишён и чем пользовались другие заключённые. Он получил книги, бумагу, ручку и пузырёк с чернилами. И приступил к работе. О, когда же закончит он свой разросшийся труд? И закончит ли? Из тюрьмы теперь скоро не выбраться. Сколько сил вложено в это исследование, и вдруг вся кипа бумаги погибнет где-нибудь в этапе! Нет, этого допустить нельзя. Надо попросить друзей, чтоб они размножили законченные главы. Батенька, да ведь можно их не только размножить, но и пустить по кружкам! Арестант Федосеев, ты ещё не обезоружен. За тебя на воле отныне будет действовать всё то, что ты написал и напишешь. Хорошо, что

уговорил письмом Марию Германовну но переезжать во Владимир. Здесь у тебя есть друзья, обойдёшься и без её помощи, а там она уже познакомилась с кружком Владимира Ильича и может дать на обсуждение всю твою работу. Или хотя бы вот эти главы, над которыми сейчас сидишь.

Надзиратели, заглядывая в камеру Федосеева, видели, как арестант, раньше непрестанно шагавший из угла в угол, сидит на нарах и, положив на колени книгу, а на книгу — лист бумаги, всё что-то пишет и пишет. Скоро они поняли, что этот необыкновенно добрый, но до остервенения упорный человек рождён для каких-то больших и хороших дел, и стали ему помогать. Сговорившись между собой, они передавали его письма друзьям, приносили от них книги и записки, устраивали тайные свидания, впускали в его камеру ореховских арестантов. Николай Евграфович сдружился с теми ткачами, с которыми так бегло познакомился на тёмной улице в Никольском и в зуевском лесу. От них-то он и узнал, что происходило в Никольском после его отъезда. Оказывается, оставленный конспект выступления действительно был принят кружком как программа, и ткачи без промедления принялись за дело — организовали на случай забастовки кассу взаимопомощи, подыскали *штабную* квартиру, задумали связаться с рабочими других городов, для чего Алекторский собрался было выехать на работу в Богородск, а Попков — в Ярославль.

Сблизившись с Никольскими вожаками, Николай Евграфович увидел в них будущих Бебелей. Он понял, что русские рабочие настолько политически выросли, что могут бороться не только за улучшение своей жизни, но и за полное освобождение класса, если их поведут за собой марксисты. Эти новые мысли и высказал он в своём первом письме Владимиру Ильичу.

Вернулось из Москвы неумело сколоченное Вороновым дело, и опять заскрипело дознание, зацепившее новых свидетелей — землемера Беллонина, мещанина Латендорфа, его служанку Авдотью и народовольца Иванова, удравшего из Владимира в Саратов. Свидетели ничем не помогли полковнику, но он всё-таки что-то мастерил там в своём кабинете. А Николай Евграфович работал, уже не обращая внимания на ход следствия и не замечая, как бегут дни, недели и месяцы.

Он сидел поперёк нар, поставив ноги в шерстяных носках на край, упёршись спиной в стену и положив на колени большую книгу, заменявшую письменный стол. Он не слышал, как открылась дверь и вошёл надзиратель.

— Николай Евграфович, — сказал тюремный служитель, — жалко отрывать вас, а придётся. На прогулочку.

— Уже? — Федосеев отбросил книгу, подвинулся и, опустив с

нар ноги, обул сапоги. Тяжеловатые юфтевые сапоги. Беда и выручка. Не для лёгкой жизни они сшиты, на званый обед не пойдёшь в них, зато на охоте и в походе незаменимы. Впереди ещё много невольных походов. Ну, пойдёмте, погуляем, сапоги.

Выходят в коридор арестанты из других камер.

— Приветствую вас! — кричит, улыбаясь, Штиблетов, довольный, что вырвался на полчаса из своей пещеры.

— Добрый день, Николай Евграфович, — сдержанно здоровается Андреевский, спокойный, легко переносящий заключение.

— Здравствуйте-ка, — по-стариковски говорит суровый Алекторский — у него это «здравствуйте-ка» всем да звучит неожиданно мягко.

А Попков, задумавшись, молча жмёт руку.

Ореховцы окружают Федосеева, выходят во двор, в апрельскую волнующую сырость, и вместе гуляют по утрамбованной подсыхающей площадке, отделившись от других. В губернской тюрьме режим гораздо слабее, чем в «Крестах», и надзиратели (сопровождают только двое) не заставляют ходить цепочкой, не запрещают говорить.

— Как здоровье Василия Васильевича? — спросил Штиблетов.

— Всё болеет, — сказал Федосеев. — Человек он хрупкий, нежный, тяжело ему здесь. Тоскует по матери. Любит её необычайно. Горюет, что заставил страдать.

— Николай Евграфович, — сказал Андреевский, — вы Генри Джорджа читали?

— Приходилось.

—. Знаете, пожалуй, он прав. Насчёт налога-то. Такой налог приведёт людей к равенству. К справедливости.

— Послушайте, Андрей Андреевич, Генри Джордж говорит о едином земельном налоге. *Земельном.* Он думает, достаточно лишить землевладельца ренты, как сразу кончится эксплуатация.

— Да, кончится.

— Ну хорошо, допустим, обложили этого землевладельца налогом, равным ренте. Допустим, он оказался добрым, сговорчивым, отрёкся от своего дохода и перестал паразитировать. А как быть с капиталистом?

— Вот-вот! — Андреевский, смотревший себе под ноги, вдруг вскинул голову. — Вот об этом я и хотел! Надо дополнить Джорджа. Надо обложить и капиталиста таким налогом, чтоб у него оставалось только на еду да на скромный костюм.

— Андрей Андреевич, это утопия. Вы напоминаете мне Тимофея Бондарева. Есть в Сибири такой писатель. Мужик. Лев Толстой от него в восторге. И не только Толстой. Михайловский,

Златовратский, Успенский. Глеб Иванович когда-то много писал об этом крестьянине. В «Русской мысли» печаталось. Так вот, Бондарев хотел бы ввести обязательный для всех *хлебный труд*. Каждый должен добывать себе хлеб. Это, мол, в природе человека, и нарушение этого природного закона ведёт общество к гибели. Бондарев думает навести в мире порядок хлебным трудом, а вы с Генри Джорджем — налогом. Нет, Андрей Андреевич, капиталисты, землевладельцы и чиновники никогда но возьмутся за соху. И налога вашего не примут. Они не допустят такого правительства, которое вздумало бы провести ваш закон. Добровольно своих благ они не отдадут.

— Придёт время — раскошелятся.

— Держи карман шире, — сказал Алекторский. — Они, сволочи, совсем обнаглели. На одних штрафах сколько наживают. Ерунду говоришь, Андрей. Они копейки лишней не упустят, а ты хочешь, чтоб всё отдали.

— Припрём к стене — отдадут, — вставил Штиблетов.

— Это дело другое, — сказал Федосеев. — Русский пролетариат уже настолько силён, что может наступать на самые основы капитала.

— Силён-то силён, да плохо организован, — сказал Попков, задумчиво покручивая свои модные усики. — Вот только начали дело — и провалились.

— Ничего, это урок, — сказал Федосеев. — По-моему, нас выдал Клюев. Помните, как он зажигал спички? Надо учиться распознавать Клюевых. — Он увидел впереди перед собой какое-то перо и, быстро нагнувшись, поднял его. Оно было бурое, с коричневатыми пятнами, похожими на ржавчинки. Николай Евграфович, остановившись, с минуту разглядывал его, потом поднял голову, посмотрел через каменную стену на край голубого неба и показал туда рукой.

— Там ведь лес недалеко? — сказал он.

— Да, совсем близко. А что?

Николай Евграфович больше ничего не сказал и до конца прогулки, шагая рядом с товарищами, рассматривал перо. Вернувшись в камеру, он положил его в книгу, подошёл к окошку, взялся обеими руками за решётку и, приподнявшись на носки, посмотрел вдаль, влево, на голый, серый лес. Кромка этого леса примыкала к дубовой роще, подступающей к военному воксалу, а это увеселительное офицерское место, не видимое из окошка, было совсем близко от тюрьмы, почти рядом. Значит, вальдшнепы тянули по этой дугообразной кромке леса и пролетали над тюрьмой!

Николай Евграфович отошёл от окошка и зашагал по камере.

Чёрт возьми, вальдшнепы над тюрьмой! Они летают совсем близко, но остаются недоступными. Да, вальдшнепы недоступны. Недоступны земные радости. Недоступна обычная человеческая жизнь. Недоступны библиотеки, театры. Недоступно искусство. Недоступно счастье быть вместе с любимой. А что тебе доступно? Одна работа? Работа и борьба. Что ж, не так уж мало. Ты борешься, а это дано не каждому. Твой труд уже действует. Его читают, о нём говорят и спорят. Одни главы пошли в Самару, в кружок Владимира Ильича, другие — в Нижний, твоим казанским друзьям, третьи Шестернин увёз в Москву, чтобы познакомить с ними столичную революционную молодёжь. Так что, если и не удаётся тебе издать свою работу, она всё-таки не останется неизвестной и чем-то обогатит русскую марксистскую мысль.

Николай Евграфович, спохватившись, поспешно вынул из кармана часы, нажал на кнопку — резко откинулась чёрная крышка. Было двадцать шесть минут четвёртого. Через четыре минуты должна была выйти Мария Германовна, давно уже переехавшая во Владимир и поселившаяся в Солдатской слободе, против тюрьмы. Николай Евграфович подошёл к окошку, опять ухватился обеими руками за решётку и приподнялся на носки. Вон он, низенький, крепенький домик. До него каких-нибудь сто шагов, а не доберёшься. Доброе наивное жилище. Весёлые, с голубыми рамами, оконца. Простенькие резные наличники. Уютный маленький дворик. Сейчас выйдет Маша. Вот она! Милая, никогда не опаздывает.

Мария Германовна, стройная, издали совсем молодая, в чёрном пальто, в чёрной шляпе, с чёрной лакированной сумкой, сияющей на солнце, отошла на несколько шагов от калитки, остановилась и помахала перчаткой. Николай Евграфович, хотя и знал, что она не видит его, тоже помахал рукой. Маша, опасаясь начальнического глаза, постояла всего десяток секунд. И пошла тихонько к городу. Николай Евграфович кинулся к нарам, достал из-под соломенного тюфяка три приготовленных письма (одно Маше, другое Шестернину, третье Сергиевскому), завернул их в бумагу и постучал в дверь, и в двери открылось смотровое окошечко.

— Что, вышла? — спросил надзиратель.

— Да, вышла, — сказал Федосеев и просунул свёрточек в окошко. — Скажите, пожалуйста, Марии Германовне, чтоб захватила «Анти-Дюринга», когда пойдёт на свидание.

— Анти… Господи, я и не выговорю. Анти… Как дальше то?

— «Анти-Дюринг».

— Книжка, что ли?

— Да, книга.

— Опять, поди, французская? Или английская?

— Нет, эта на немецком. Не забудьте — «Анти-Дюринг».

— Ладно, растолмачу как-нибудь. — Надзиратель захлопнул окошко и быстро зашагал по коридору. Николай Евграфович знал, что сейчас он догонит Марию Германовну на городской улице и, проходя мимо, незаметно сунет ей в руку бумажный комок. Нет, на этот раз ему придётся приостановиться, чтобы «растолмачить». Добрые попались надзиратели. Просто помощники. Хорошо пошла работа в этом замке. И время летит гораздо быстрее, чем на воле. Не успеешь оглянуться, как подкатит осень.

9

Осень действительно подкатила незаметно, но сентябрь пошёл медленно, а в конце месяца выпал такой мучительный день, каких в жизни не бывало. Дознание давным-давно закончилось, дело лежало в московской судебной палате, ожидая решения. Шестерых из десяти обвиняемых освободили из-под стражи впредь до особого распоряжения, а Федосеев, Кривошея, Попков и Алекторский остались взаперти и не знали, сколько ещё им сидеть. Николай Евграфович изнурил свой организм беспощадной работой, дошёл до нервного истощения и, встревожившись, что может совсем выйти из строя, опять принялся слать во все концы заявления, требуя временного освобождения. Мария Германовна, Сергиевский и Шестернин тоже били в набат. Наконец пришла из Петербурга бумага — департамент полиции по согласованию с министерством юстиции признал возможным, ввиду расстроенного здоровья Федосеева, освободить его из-под стражи, заменив назначенную ему при дознании меру пресечения впредь до разрешения о нём дела особым надзором полиции. Бумага эта была зачитана Николаю Евграфовичу, и он сразу дал знать о ней Марии Германовне, а она тут же послала телеграмму в Петербург, и вот сегодня должен был появиться Владимир Ильич, недавно переехавший из Самары в столицу. Маша, прорвавшись в тюрьму, второй час сидела в конторе, но там, видимо, что-то затёрло, не прокручивается какое-то колесо, машина не двигается, не выбрасывает уже отработанного арестанта. О дьявольщина! Как мучительно ждать! Николай Евграфович подошёл к решётке и глянул на дорогу — нет, Маша ещё не вышла. Вдали оранжево горела кромка леса, залитого светом бабьего лета. За тюрьмой, на военном вокзале, играл духовой оркестр. Федосеев стиснул зубы от щемящей боли. Неужели сегодня праздник? Может быть, Маша не найдёт никак начальства? Николай Евграфович отпрянул от окошка и опять заметался по камере. Боже, как тяжело! Сегодня дежурит новый надзиратель, от него ничего не узнаешь, остаётся только ждать. Но сколько можно терпеть! Сорвать вот с нар доску и бить в дверь, пока не выпустят. Нет, только не это, только не это. Успокойся. Думай о чем-нибудь другом.

Да, Владимир Ильич переехал в Питер. И правильно сделал. Его место именно там, в столице.

А вот на Волге будет теперь тише. Но ничего, в Самаре ведь остались его друзья. Остался и перебравшийся туда Исаак Лалаянц. Он казанец, а казанская закалка оказалась довольно

крепкой. Не сдаются ребята. Григорьев и Скворцов — в Нижнем. Санин закончил в своих подлиповских лесах перевод книги Энгельса и выехал в Саратов. Ягодкин пока отдыхает у матери, но тоже готовится к работе в каком-нибудь волжском городе. Многие идут, не сбиваясь, по той дороге, которую выбрали в Казани. Некоторые, правда, где-то затерялись, но, возможно, ещё найдутся. Объявился же вот Петрусь Маслов. Оказывается, он подался из «Крестов» прямо на Урал, в родные места, а всё-таки стосковался по Волге, стал туда писать, нашёл старых друзей, потом завязал переписку с Ульяновым и теперь хочет поселиться в Самаре. Нет, Волга не затихнет. Вырваться бы из этих стен! Почему не выпускают? Может быть, из Петербурга пришла следом другая бумага и прихлопнула первую? Неужели Маша всё ещё сидит в конторе?

Николай Евграфович подошёл к стене и, глянув в окошко, увидел на дороге Марию Германовну.

— Что, освобождают? — не выдержав, крикнул он.

Мария Германовна махнула отрицательно головой. Потом показала рукой в сторону города. Федосеев понял её.

— Иди к нему! — крикнул он.

Она постояла ещё с минуту и тихо пошла в город, ссутулившаяся, пронзительно жалкая, потерпевшая в своих хлопотах полную неудачу.

Николай Евграфович отвернулся от решётки, устало сел на нары. Вот так, арестант. Не выпустили. Встреча не состоялась. Владимир Ильич уже здесь. Сейчас поговорит с Машей и уедет. А ты не скоро выберешься из этой камеры. Теперь уже не выпустят.

Его освободили назавтра к вечеру. Мария Германовна встретила друга у ворот тюрьмы. Они сложили книги и папки с рукописями и извозчичью тележку, сели рядом в лубяной кузов, молоденький ямщик вскочил на облучок, взмахнул кнутовищем, дрожки мягко покатились по пыльной дороге, и тюрьма осталась позади. Николай Евграфович не очень радовался временной свободе. Об отъезде Ульянова он узнал вчера вечером, за ночь успел успокоиться, а к полудню принялся за работу, но только разошёлся, заставили собирать вещи. У него уже всё перегорело, и он выходил на волю равнодушно.

— Значит, не дождался Владимир Ильич? — сказал он, когда дрожки загремели по булыжной мостовой города.

— Нельзя было ему оставаться, — сказала Мария Германовна. — И мы не знали, что тебя сегодня освободят. Вчера ни Воронов, ни начальник тюрьмы не хотели со мной говорить.

— Маша, я же не упрекаю. Сам не ожидал. Ненадолго эта свобода. Надо готовиться к этапному походу. Погонят, может

быть, вот по этой дороге. По Владимирке. В Сибирь. Тучки небесные, вечные странники! Маша, куда ты везёшь меня?

— Туда, где ждал тебя Владимир Ильич. Квартирка совсем крохотная, по уютная. Полная тишина. В тюрьме тебя военный воксал беспокоил. И пьяные слободские песни. Господи, какие они тоскливые! Я всегда от них просыпалась и всегда думала, что вот и ты сейчас проснулся. Тебе надо отдохнуть, Коля.

— Да, не мешало бы.

— Оставь хоть на неделю работу.

— А шумный всё-таки наш стольный град. После одиночки-то. Смотри — коляска за коляской. Катаются люди. Когда же мы с тобой заведём выездной экипаж?

— Ты хотел бы?

— Нет, мне хочется пешком побродить. Был у нас в Казани интересный булочник. Помнишь, я рассказывал?

— Помню. Пешков?

— Да. Он теперь, вероятно, обошёл уже всю Россию. Завидую.

— Ничего, и мы обойдём.

— Под конвоем?

Извозчик свернул с Дворянской на Ерофеевский спуск, промчал с ветерком под гору, с грохотом пролетел по деревянному мостику через мутную Лыбедь, поднялся на бугор, выехал на площадь и остановился у деревянного домика.

— Вот ты и дома, Коля, — сказала Мария Германовна, поднимаясь и придерживая подол платья, чтобы слезть с тележки.

Квартира оказалась действительно крохотной, но уютной. Это был мезонин с итальянским окном во двор. Чистая светлая комнатка. У окна стоял письменной стол, а на нём — бронзовый чернильный прибор, стопка книг и фаянсовая вазочка с букетом белых астр. Николай Евграфович, оглядевшись, подошёл к Маше и обнял её. Она охватила руками его голову, прижалась щекой к виску, и они замерли, счастливые, бесконечно родные.

— Милая, я люблю тебя, — сказал Николай.

— Да, да, я понимаю, — сказала Маша. — И я теперь люблю так же, как ты. И как это хорошо! У нас с тобой совсем не то, что бывает у других. Правда? И это надо сохранить. Я останусь там, в слободе.

— Нет, Маша, ты переедешь сюда.

— Не уговаривай. Будем жить отдельно. Так лучше. Днём я всегда буду с тобой. — Она разняла его руки. — Прибери пока книги, а я пойду к хозяйке за чаем.

На стене висела на толстых витых шнурах пустая полка. Николай Евграфович разместил на её двух этажах книги, папки сложил на подоконник. Управившись, он сел к окну у стола.

Маша принесла на подносе большущий фарфоровый чайник, чашки, хлебницу с миндальными булочками и сахарницу с рафинадом.

— Ну, дорогая «кузина», — сказал Николай, — рассказывай, о чём здесь говорили с Ульяновым.

— Знаешь, он сразу заспешил, как узнал, что тебя не выпустили. Сергиевский тут с ним сидел. Он и встречал его на вокзале.

— Расскажи, какой он теперь стал?

— Небольшой, меньше тебя, но гораздо крепче, плотнее. Одет аккуратно, чисто. Волосы короткие, чуть-чуть вьются. Намечается лысина. Носит бородку, усики. Что ещё? Олимпийский смех. Смеётся иногда радостно, иногда убийственно зло.

— Да, сильно изменился, — сказал Николай Евграфович. До сих пор ему всё виделся сосредоточенный, молчаливый юноша, омрачённый гибелью брата, а теперь вот отчётливо вырисовывался мужественный и дерзновенный человек.

— Коля, чай-то стынет. — Маша пододвинула к нему чашку. — Владимир Ильич шутит и веселится, но нередко бывает остро ироничным. Не дай бог попасть под его уничтожительный смех. А вот ты, Коля, совсем не умеешь смеяться. Поучился бы у него. Помнишь, в одном письме он подшучивал и над твоей статьёй, считал её малоубедительной, но, когда я ему сказала, что это только глава из большого труда, он вдруг опечалился. Почему же, говорит, вы раньше-то не объяснили? Вообще, потом он очень высоко оценил твою работу, предложил изучать её в кружках. Что ты задумался?

— Досадно, что не встретились.

— Успокойся, ещё встретитесь. Я в это верю. Пей чай, не грусти хоть сегодня-то. Разве ты не рад нашей встрече?

Николай улыбнулся.

— Рад, Машенька, рад! О, какой душистый чай! Давно такого не пил.

— Ой, я забыла! — Маша убежала за чем-то к хозяйке.

Николай взял вазу и поднёс к лицу белый букет. Ах, госпожа Гопфенгауз! До чего же ты чутка! Знаешь, что «кузен» твой неравнодушен к цветам и ставишь их на стол к его приходу. Это не Анины летние ромашки, от чувственного запаха которых кружится голова, а твои осенние астры, пахнущие спокойно, тонко и немного печально. Чем же тебя благодарить? Вот твои миндальные булочки. Точно такие, какие два года назад принесла ты незнакомому арестанту в «Кресты». И булочки эти тоже не случайны тут на столе, как и белые астры.

Маша вернулась с фарфоровым блюдцем, наполненным

чёрными владимирскими вишнями. Николай ещё раз втянул запах астр. Подвинулся к Маше и поцеловал её. У неё навернулись слёзы. Он поспешно сдёрнул очки, протёр их платочком.

— Как деликатны наши друзья, — сказал он. — Никто не идёт. Хотят, чтоб мы провели вечер одни.

10

До самого снега Николай Евграфович жил как-то элегично, с грустным ощущением кратковременной свободы, и в новых главах его труда стала проклёвываться неожиданная грусть по уходящей русской общине, из далёкого прошлого которой до него временами доносились давно заглохшие звуки вечевого колокола. Но унылое настроение разом развеяло «Русское богатство». В октябрьской книжке этого народнического журнала появился очередной очерк Михайловского, продолжавшего поносить марксистов. Николай Евграфович читал очерк друзьям вечером в своём мезонинчике. Едва дочитав до конца, он швырнул журнал на стол, вскочил и зашагал по комнате.

— Это клевета! — крикнул он. — Бессовестная клевета! Марксисты, видите ли, прямо настаивают на разорении деревни! Наглая ложь! Надо осадить старика. И вообще, пора открыть огонь по этим измельчавшим властителям дум.

— Но как с ними воевать? — сказал Сергиевский. — У них свой журнал, свои газеты, а нас и близко не подпустит никакая редакция.

— Ничего, прорвёмся. Пошлём Михайловскому письмо. Если в нём осталась хоть капля порядочности, он опубликует наши возражения, прежде чем разбивать их. Мы заставим его принять бой. Давайте действовать. Мы что-то притихли, а сейчас ни в коем случае нельзя складывать оружия. Сергей Павлович, вы собрались в Иваново?

— Да, переезжаю, — сказал Шестернин. — Расстаюсь с окружным судом. Кончился мой кандидатский срок. Я уже ивановский городской судья.

— Прежде всего вы наш посол в Иваново-Вознесенске. Не так ли?

— Не забываю.

— У вас рядом будет сильнейшая рабочая армия. Вы с местными марксистами можете готовить её к наступлению. А Николай Львович продолжит дело Кривошеи. Сегодня у нас восьмое? Вот в конце месяца встретимся здесь с Андреевским. Он уже отходит от утопических идей и при нашей поддержке сумеет руководить рабочим кружком. Николай Львович, я оставляю этого талантливого человека на ваше попечение.

— Вы что, уже прощаетесь? — сказал Сергиевский. — Может быть, вас ещё оправдают и оставят во Владимире.

— Вы плохо знаете русскую юстицию. А у вас ведь была возможность получить консультацию у одного юриста.

— У Владимира Ильича? Мы о другом здесь толковали.

— Что он всё-таки говорил о петербургских делах? — спросил Шестернин.

— Ага, так он сразу всё и выложит. Мало рассказал. Но я понял, что он уже нашёл там надёжных марксистов. И кажется, большое дело они там начинают. Владимир Ильич настроен очень оптимистично. Знаете, я тут присмотрелся к нему и сразу почувствовал его силу. Вот вы, Николай Евграфович, идёте как-то слишком открыто. Можете сломать так свою незащищённую голову, а он скорее сломает голову врагу. Я думаю, он и возглавит там социал-демократическую организацию.

— Затишье скоро кончится, друзья, — сказал Николай Евграфович. — Социал-демократы всё ближе подходят к рабочим. Не взрывы народовольцев потрясут теперь Россию, а мощные стачки. Вот-вот тронется лёд. Очень хочется, чтоб вы тут не проспали. — Он подошёл к столу, взял журнал и прочитал снова несколько строк Михайловского.

Друзья поднялись, стали одеваться, а Николай Евграфович, не дождавшись, пока они выйдут, сел за стол, подвинул поближе лампу, привернул фитиль и взялся за ручку. Шестернин, одевшись, вернулся от двери и встал у него за спиной.

— Николай Евграфович, теперь ведь долго но увидимся.

Федосеев вскочил со стула.

— Разве вы больше не зайдёте?

— Утром выезжаю.

— Боже мой, тогда надо посидеть, поговорить. Скоро придёт Мария Германовна, приготовит ужин.

— Нет, Николай Евграфович, пишите письмо, пока не остыли.

— Ну что ж, Сергей Павлович, желаю вам по-настоящему развернуться в Иваново-Вознесенске. Надеюсь услышать о ваших делах. Меня ищите через Марию Германовну. Не будем терять связь, — Николай Евграфович обнял друга, поцеловал, проводил его, не одевшись, за ворота, ещё раз обнял и поцеловал, йотом вернулся в мезонин, походил в раздумье по комнате и опять сел за стол.

Статья Михайловского, обвиняющая русских марксистов в том, что они хотят полной пролетаризации крестьянства и разорения деревни, была до нелепости несправедлива, и Федосеев не стал её перечитывать, чтобы не разжигать приостывшего гнева и избежать в своём письме оскорбительных слов.

«Милостивый государь, Николай Константинович!»— написал он и погнал, погнал иронические строки, уличая противника в экономической безграмотности и разбивая его наивные позиции.

Он сражался с тем прославленным идеологом, которому сам в ранней юности поклонялся. Что ж, приходилось драться и с уважаемыми отцами, раз они становились поперёк пути. Чем дальше он писал, тем отчётливее понимал, что это только начало полемики с патриархом народничества.

Закончив свою отповедь, он хорошо разрядился и хотел написать дружеское письмо Андреевскому, но тут пришла Маша, и он поспешил прочесть ей послание Михайловскому.

А ореховскому другу он отправил назавтра коротенькую записку, напомнив ему, что ждёт его в условленное время во Владимире.

Они должны были встретиться двадцать четвёртого ноября, но уже шестнадцатого Николая Евграфовича вели под конвоем в губернскую тюрьму. Он шёл по свежему снегу тихими заречными улочками и озирался, надеясь на случайную встречу с Машей, которая в это время вела где-то здесь частные уроки. На мосту, переброшенном через Лыбедь, теперь замёрзшую, он остановился, обернулся, но мрачный полицейский офицер не дал ему постоять и осмотреть оставшиеся позади переулки.

— Шагайте, шагайте!

Часть третья

1

Его уже три зимы везли куда-то по санным и железным дорогам. Менялись конвойные унтер-офицеры. Одни сдавали его вместе с вещами начальству и, получив квитанцию, возвращались домой, другие принимали и везли дальше, покупая в пути ему еду и занося расходы в шнуровую тетрадь. На ночь загоняли его в этапную избу, где всегда встречал сумасшедший Макар. Сегодня, подходя к двери, Федосеев подумал, что умалишённого в избе нет, но тот всё-таки встретил у порога.

— Ваше императорское величество, занимайте вот эти нары, — сказал Макар.

— Господа, прибыл спаситель! — объявил он, и на нарах поднялись из-под шуб заспанные невольники. Короленко громко зевнул и принялся расчёсывать гребёнкой густую бороду. Юхоцкий, заросший от ушей до шеи чёрной щетиной, протёр глаза, слез с нар и подошёл к прибывшему.

— А, голубчик, опять попался? Ну, мы тебя доконаем. Братва, тряхнём этого аристократика?

— Не трогайте его! — заступился Моисеенко. — Николай Евграфович, идите сюда, мы не дадим вас в обиду. Садитесь, — Моисеенко, представлявшимся великаном, оказался маленьким и щупленьким. — Знакомьтесь, Николай Евграфович. Это Старков, из «Союза борьбы», друг Владимира Ильича.

— Братцы, погибаю! — закричал Макар и, вскочив на нары, нал на колени перед Короленко. — Верни меня из сна, Галактионыч, сними чары, сними-и-и-и! — завыл он. А в избу вошёл мальчик-подросток, сын этапщика.

— Кто тут Федосеев? — спросил он. — Вам письмо из Архангельска. Марию Германовну арестовали, — Мальчик протянул распечатанный конверт. Федосеев схватил письмо, прочитал. Да, Машу снова посадили. О, только этого ещё не хватало! Никогда теперь её не увидеть… Нет, это сон, надо проснуться! Не хватает сил. Друзья, помогите, толкните, встряхните. Ага, сон сам исчез. Маша сидит ещё во Владимире, в соседней камере. Её высылают. Завтра отправляют в Архангельск. Надо прорваться к ней, успокоить. Почему так изменились владимирские надзиратели? Почему не пускают в соседнюю камеру? Маруся, родная, крепись! Нет, она не слышит. Притихла за стеной. Что, если наложила на себя руки? Господи, да ведь её давно отправили в Архангельск. И ты не во Владимире. Это тоже сон. Напрягись, сбрось его.

Федосеев напрягся, дёрнулся всем телом, очнулся.

Запутанный бесконечными дорогами и бесчисленными остановками, он не сразу понял, где находится. Приподнялся, глянул на оконные зарешечённые проёмы и по величине и форме мутно белевших прямоугольников установил, что он не в этапной избе, затерянной в вологодских лесах, не в сольвычегодской квартире, в которой около трёх лет прожил под надзором, не в губернском владимирском замке, куда его вернули из Вологодской губернии и где он второй раз сидел одновременно с Машей по новому делу, не и пересыльной бутырской башне, а в бараке красноярской тюрьмы.

Сон странно переплёл всё то, что было пережито в действительности. Только с Короленко и Моисеенко никогда не приходилось встречаться, но они ведь тоже проходили по вологодской этапной дороге и, конечно, бывали в той избе, где он, Федосеев, ночевал с сумасшедшим Макаром. Старков из «Союза борьбы» тоже реально существует. Вот он, рядом. Спит, свернувшись под шинелью. К сожалению, и Юхоцкий не призрак. И этот мальчик. Он живёт в вологодской деревне. И это ведь не во сне, а наяву принёс он в этапную избу письмо от Маши. Доброе, милое письмо, а не такое ужасное, какое приснилось. Бедная Маша, неужели и впрямь с ней что-то случилось в Архангельске? Почти на каждом этапе его встречали её письма, а в Красноярск до сих пор ни одно не пришло.

В бараке светлело. Николай Евграфович поднялся, оделся и тихонько, чтоб не разбудить товарищей, стал ходить по длинному проходу между коек. Какую тоску навеял этот жуткий сон! Что с Машей? Как она там живёт? Есть ли у неё хорошие знакомые? Поддерживают ли её старые друзья? Как они сами-то поживают? Сергиевский всё ещё держится во Владимире и, вероятно, не теряет связи с Ореховом. Шестернин, оказывается, побывал в Петербурге, познакомился с Владимиром Ильичем и его друзьями.

В Иваново-Вознесенске организован «Рабочий союз», который уже успел возглавить одну крупную стачку, и тут, конечно, не обошлось без помощи городского судьи. Маслов, Санин и Григорьев ухитрились выпускать в Самаре марксистскую легальную газету. Привет вам, дорогие друзья казанцы! Григорьев, говорят, арестован. Арестован и Скворцов в Нижнем. Ничего, всех не пересажают! Обнаружился Мотовилов! Выяснилось, что он перебрался из Пензы в Ростов-на-Дону и всё это время руководил рабочими кружками. Разворачиваются, разворачиваются русские марксисты. Прогремела тридцатитысячная петербургская стачка. Это была первая пролетарская гроза в России. Её раскаты услышал весь трудовой

мир. А ты, Федосеев, сидел в эти горячие годы в глухом Сольвычегодске и в тюрьме. Что ты сделал? Только продвинул на несколько шагов вперёд свой исследовательский труд, который можно было бы уже закончить, если бы не постиг тебя литературный голод и не прекратился приток жизненной фактуры. Отстал, отстал, невольник. Но, пожалуй, ты чересчур скромничаешь. Разве твои письма в Нижний, в Самару, в Казань и Владимир не помогали друзьям-марксистам в работе? А полемика с Михайловским? Это была политико-философская битва. Твои письма главному вождю народничества шли не только к нему, но и в марксистские кружки — на вооружение товарищей по борьбе. Твоя революционная работа не обрывалась и в глухом Сольвычегодске. Ты скрывал это от следователей, но почему же перед собой-то не признаться?

— Доброе утро, — сказал Старков, который лежал теперь на спине, закинув руки за голову.

Федосеев подошёл к его койке.

— Доброго здоровья, Василий Васильевич. Выспались?

— А я уже давно за вами наблюдаю. Что так рано задумались?

— Сон плохой видел.

— Ну, это ерунда. Садитесь, поговорим. — Старков привстал, подобрал шинель, и Федосеев сел на край узкой железной кровати.

Проснулся на соседней койке Цедербаум. Едва приподнявшись, он сунул руку под подушку, достал обшарпанный плисовый кисет и начал скручивать цигарку.

— Вы ведь материалист, Николай Евграфович, — сказал Старков. — Неужели придаёте какое-то значение снам?

— А почему бы и нет? — сказал Цедербаум. Он подвинулся к спинке кровати, запихнул подушку под поясницу, откинулся и пустил вверх струю дыма. — Природа сновидений ещё не исследована. Вполне возможно, что человек, когда засыпает и выключается из настоящего, прощупывает каким-то чувством будущее. В нашей психике много тайн, и марксисты не должны от них отмахиваться. Маркс открыл экономические законы, рассмотрел нашу вещественную среду. Теперь очередь великого психиатра, который изучит человека изнутри.

— Юлий Осипович, — сказал Старков, — вы опять уходите вдаль. Поговорим о более простых вещах. Что делать с компанией Юхоцкого? Она ведь совсем обнаглела.

— Что делать? Презирать. Молча презирать. Николай Евграфович, не обращайте внимания на эти глупые сплетни. Юхоцкий просто завидует. Ему никогда не достичь вашей

образованности, никогда не подняться до вашей мысли, — вот он и злится. Пытается столкнуть вас с занятой высоты. Но это ему не под силу.

— Я не занимал никакой высоты и не боюсь её потерять. Хочу только вернуться из ссылки чистым, чтобы снова взяться за дело. А Юхоцкий опорочит меня.

— Чем? В чём он обвиняет вас? В аристократизме? В том, что везёте в ссылку двадцать пудов книг? Экое преступление!

— Вы же знаете, что он пустил слух, будто я присвоил в дороге общие арестантские деньги.

— Этому никто не верит, — сказал Старков.

Проснулась, зашевелилась, закашляла и заговорила компания Юхоцкого в дальнем углу. Поднялся и её атаман. Шлёпая калошами, он прошёл в кальсонах и нижней рубахе к параше, а на обратном пути остановился около койки Цедербаума и попросил табаку. Юлий Осипович подал ему кисет. Юхоцкий свернул цигарку и закурил. Почесал заросшие чёрной щетиной щёки, посмотрел на Николая Евграфовича, усмехнулся.

— Ну что, староста? Не спится? Думаете, как накормить семейку?

— Нет, — сказал Федосеев, — размышляю, куда девать деньги.

— Это какие же?

— А те, что присвоил. Расскажите вот товарищам, в чём вы ещё уличили меня?

— Вы торопитесь, господин Федосеев. Пока у нас есть только предположение. Надо как следует проверить.

— Слушайте, Юхоцкий, — сказал Старков, — оставьте эту мышиную возню. Что за деньги вы ещё раскопали? Те тридцать рублей, которые Николай Евграфович получил в Бутырке? Но это друзья ему передали. Лично ему. И вы знаете, что он и эти деньги пустил на общий котёл.

— Знаем, знаем. И вполне оцениваем благородную щедрость. К сожалению, нам, рабочим, никто таких капиталов не подносит. Тридцать рублей — не шутка. Покорно благодарим за них господина Федосеева. Но всплывает ещё некая сумма. Куда более солидная.

Тут вскочил с койки пылкий Кржижановский.

— Прекратите, Иван Александрович! — крикнул он.

— Извините, господа, — сказал Юхоцкий. — Вам, конечно, тяжело с нашим братом. Мы всё о хлебе насущном, а вам парить надо. Мешаем мыслит!». Прошу прощения. — Он насмешливо поклонился и пошёл в свой дальний угол, шлёпая калошами.

— До чего хитёр, подлец, — сказал Кржижановский,

торопливо одеваясь. — Прикрывается именем рабочего.

— Друзья, учитесь презирать мелочи, — сказал Цедербаум. Он всё ещё сидел на койке, беспечно откинувшись на железную спинку. — Не растрачивайте энергии на пустяки. Глеб Максимилианович, вернёмся лучше к вчерашнему спору. Я всё-таки не согласен с вашей оценкой Милля. Вас возмущает его основное положение, что общественное мнение может быть ложно. Но ведь действительно господствующее общественное мнение часто ошибается. Разве не бывает так, что верования одного поколения начисто отметаются другим поколением? Мнения рождаются и умирают. Верные сегодня, завтра они становятся не только ложными, но и абсурдными. Возьмите идею террора. Когда-то в неё верили такие корифеи революции, как Желябов, Плеханов, Засулич, Кравчинский. А ныне всякому юнцу понятно, что террором ничего не изменишь,

Кржижановский оделся, заправил койку и зашагал по проходу между кроватями.

— Юлий Осипович, Милль никогда не поднимался выше обычного буржуазного субъективизма. Его утверждение, что общественное мнение может быть ложным, в каком-то смысле верно. Но посмотрите, куда оно заводит. Основываясь на нём, философ отрицает всякое идеологическое принуждение.

— А вы за такое принуждение?

— Подождите, подождите! — Кржижановский уже разгорячился и всё быстрее шагал взад и вперёд. — Милль считает, что ни народ, ни всё человечество не имеют права подчинить общему мнению даже одного человека, который остаётся несогласным. Это апология индивидуализма. Это, как говорит старик, сентиментально-мещанский вздор.

Питерцы, споря между собой, часто упоминали старика — так они называли Ульянова. Владимир Ильич прибыл в Сибирь отдельно от своих товарищей и теперь, ожидая отправки на место ссылки, жил в Красноярске, где-то совсем близко, но Николай Евграфович и на этот раз не мог с ним встретиться.

Днём, когда ссыльных вывели из барака на прогулку, к Федосееву подошёл петербуржец Ванеев. Он взял друга под руку и, отбив его от компании, повёл по тюремному двору.

— Весна, весна, Николай Евграфович, снег дотаивает.

— Да, опять весна, — вздохнул Николай Евграфович. — Наверно, уж вальдшнепы прилетели.

— Вы охотник?

— К несчастью, родился охотником. Вальдшнепов с детства не удаётся увидеть… А жизнь уже проходит.

— Что вы, Николай Евграфович! Ещё всё впереди.

— Нет, дорогой друг, у меня уже всё позади. Ничего не удаётся сделать.

— Вы много сделали и ещё больше сделаете. Подумайте, всё время в тюрьме да в ссылке и всё-таки не отстаёте от других. По работе вас можно сравнить только с Плехановым и Ульяновым.

— Не шутите, Анатолий Александрович.

— Нисколько не шучу. Вы разрабатываете те жо проблемы, которыми заняты и они. И в битве с народниками идёте рядом с ними. Унывать нет никаких причин. В Бутырке вы поддерживали и взбадривали нас, а тут вдруг сами сдали. Плюньте на этого Юхоцкого. Берегите себя для работы. Скоро вот встретитесь с нашим стариком.

— Нет, теперь уж нам не встретиться.

— Вы думаете? Постойте-ка. — Ванеев придержал Николая Евграфовича, оглянулся и позвал рукой друзей. Подошли Старков, Кржижановский и Цедербаум. — Ну что, друзья, откроемся? — сказал Ванеев. — Юлий Осипович, всё продумано?

— Да, план готов. Во всех подробностях.

— Расскажи Николаю Евграфовичу.

Цедербаум затянулся цигаркой, выдохнул клуб дыма — Ванеев закашлялся, отвернулся. Юлий Осипович бросил окурок в грязь и замахал рукой, отгоняя дым.

— Извини, Анатолий Александрович. Всё забываю.

— Ничего, ничего. Рассказывай.

— План таков, Николай Евграфович. Лепешинского оставили в Енисейской губернии. Отправили в село Казачинское. Значит, и всех питерцев дальше не погонят. Вероятно, нам дадут пожить несколько дней в Красноярске. Так сказать, свободно… Да! Я вспомнил, как определяется бунт у Маркса и Энгельса. Бунт — это высвобождение меня из существующего. Удивительно точное определение. Это из «Немецкой идеологии».

— Юлий, не. отвлекайся, — сказал Ванеев.

— Так вот. На днях нас освободят. Мы выходим из тюрьмы, а вещи оставляем здесь, в цейхгаузе. Идём искать подводу. Находим, едем сюда. Вместо ямщика у нас — старик. Подъезжаем к складу, начинаем разбирать наши пожитки, чего-то не хватает — поднимаем шум и просим вызвать старосту. Ну, а дальше вам всё понятно, Николай Евграфович.

— Вношу поправку, — сказал Ванеев. — Старик наш за ямщика никак не сойдёт. Ему легче разыграть какого-нибудь полуинтеллигента. Может быть, извозопромышленника?

— Да, замечание существенное, — сказал Кржижановский. — А вообще план, по-моему, вполне приемлем. Как, Николай Евграфович?

Федосеев радостно улыбнулся.

— Спасибо, друзья. Большое спасибо. Я не очень верю в удачу этого предприятия, но, может быть, что-нибудь и выйдет.

2

Питерцы прощались с Николаем Евграфовичем. Первым подал руку Ванеев, больной, бледный и грустный. В его глазах блестели слёзы.

— Ну, милый, держитесь, — сказал он и обнял друга. — Верю в ваши силы.

Потом подошёл Кржижановский. Этот порывисто схватил Федосеева под пояс и приподнял.

— До свидания, дорогой! Надеюсь, встретимся. Заканчивайте работу и присылайте — будем продвигать в печать.

Цедербаум только пожал руку.

— Я не прощаюсь, — сказал он. — Понимаете?

Николай Евграфович проводил питерцев до двери, вернулся к своей койке и бросился к решётке. Он видел, как надзиратель вёл их через двор к выходу, как они разом обернулись у ворот и помахали руками. Только два месяца назад он встретил этих людей в Бутырской тюрьме, но как много за это время вместе пережито!.. Они, сильнейшие марксисты, столичные социал-демократы, друзья Ульянова, раскрыли перед ним события, о которых в далёкий Сольвычегодск доходили только глухие слухи. Петербургский «Союз борьбы», подготовивший крупнейшую стачку, соединил марксистов с рабочими и вплотную подошёл к организации социал-демократической партии, программу которой написал Ульянов. Минувшим летом Россия окончательно вскрыла свои могучие силы и смертельные слабости. Нижегородская выставка показала торжество русского капитала, а коронация молодого царя кончилась нелепой ходынской трагедией и забастовкой питерских ткачей. Полковник Романов, надев корону, начал разваливать империю сверху, а рабочие — взрывать её изнутри. Давно замолкли взрывы «Народной воли», и теперь послышались первые толчки кипящей пролетарской лавы.

Из отдельного тюремного корпуса выгнали на прогулку духоборов. Николай Евграфович читал о них в лондонских «Летучих листках», чудом попавших в глухой Сольвычегодск, и вот тут, в дороге, узнал, что этих кавказских изгнанников гонят сейчас в Восточную Сибирь, куда скоро погонят и его, политического ссыльного. Он смотрел на гуляющих но двору духоборов и думал, что, может быть, ему придётся жить с ними вместе где-нибудь в Якутии или в верховьях Лены. Пятилетняя ссылка. Удастся ля выбраться? Здоровье отнято тюрьмами. Ещё во Владимире врачи обнаружили двустороннее поражение лёгких.

— Что, господин Федосеев, тоскливо? — сказал сзади

Юхоцкий.

Николай Евграфович обернулся и увидел, что окружён врагами, которые выползли из своего угла и заняли освободившиеся койки.

— Да, скучновато будет без друзей-то, — с усмешкой сказал маленький безбородый Оленин. Он сидел на кровати Старкова, по-азиатски подобрав ноги, и потирал руки, как будто умывал их. — Хорошие были друзья. Защищали, горой стояли.

— Как же, — сказал Юхоцкий, — дворяне. Ворон ворону глаз не выклюет.

— Ну, хоть не все дворяне. Еврей-то не дворянин.

— Значит, буржуй. Один чёрт. — Юхоцкий медленно расхаживал между койками, курил трубку, изредка вынимал её изо рта и картинно держал на отлёте. Николай Евграфович только сейчас заметил, какой низкий лоб у этого человека. Юхоцкий старательно зачёсывал чёрные жёсткие волосы вверх, но лоб всё-таки не увеличивался, и его можно было закрыть двумя пальцами. А Ивану Александровичу, считавшему себя умнее всех, хотелось и внешне выглядеть мудрым. Он рвался в вожаки. В Федосееве, появившемся зимой в Часовой башне Бутырской тюрьмы, он сразу увидел незаурядного человека и решил привлечь его к себе как поклонника. Он пытался поразить видного марксиста своей одарённостью. Но Федосеев, учуяв в нём авантюриста и стяжателя славы, не преклонился перед ним, и тогда назойливый друг обернулся страшным врагом.

— Иван Александрович, — заискивающе сказал Оленин, — может, сейчас разберём дельце-то?

— Не будем спешить, — сказал Юхоцкий. — Разобраться успеем, до Якутии ещё далеко. Правда, господин Федосеев?

Николай Евграфович, ничего не сказав, повернулся к окну.

Он глядел на шагающих по двору духоборов, а когда их загнали в корпус, стал смотреть на ворота, в которые давеча вывели питерцев. Он не верил, что друзьям удастся провести в складской двор Ульянова и вызвать туда старосту, но всё-таки с нетерпением ждал минуты, когда они вернутся за своими пожитками. Ждал и всё смотрел на ворота, как будто мог увидеть сквозь них тот цейхгауз, где хранились вещи ссыльных.

Шло время, настал час тюремного обеда, надзиратели внесли в барак два больших бака, и Николай Евграфович отошёл от окна. Он взял черпак, разлил по мискам похлёбку, раздал кашу, всех накормил и поел сам. Потом посмотрел ещё с полчаса в окно и понял, что встреча с Ульяновым конечно же не состоится. Нечего было разжигать несбыточной надежды. Он сел на койку, снял сапоги, осмотрел их. Да, в России умеют делать прочные вещи.

Юфтевые сапоги оказались неизносимыми. Сколько грязи ими перемешано, сколько пола потёрто в поднадзорных квартирах и тюрьмах, а они всё ещё целы, только сносились каблуки да посточились местами крепчайшие спиртовые подошвы. А эта прославленная русская юфть ещё лета два будет служить. Он поставил сапоги под койку, лёг и взял оставленный питерцами журнал «Новое слово». Отыскал рассказ о пекаре и начал его перечитывать. Знакомые строки долго не вызывали никаких ощущений, но на какой-то странице вдруг ясно запахло кислым тестом и горячим хлебом, и открылась подвальная пекарня с огромным ларём и мучными мешками, и возник в свете коптилки потный волосатый Коновалов, перекидывающий с ладони на ладонь вынутый из печи каравай, и появился подручный Пешков, нескладный задумчивый парень, и вспомнилась молодая волжская братва, разбросанная потом по всей России, и послышался голос Ани («Когда-нибудь мы, старенькие, пройдём по местам нашей молодости…»), и так свежо дохнуло озеро Кабан, так повеяло летней Казанью, такой густой запах хлынул из городских оврагов, заросших крапивой и лебедой, что Федосеев захлебнулся всем этим ожившим прошлым и не смог больше читать. Он положил журнал на грудь и уставился в потолок. Спасибо тебе, дорогой Пешков, что вернул ты потерянную за это тяжёлое время юношескую Казань. Ты уже не булочник, разносящий в корзине сдобу, записки и брошюры, и даже не Иегудиил Хламида, печатающий в «Самарской газете» злые фельетоны, а Максим Горький, большой писатель, взлетевший выше Евгения Чирикова, тоже проникшего в столичные журналы — в «Мир божий» и «Северный вестник». Растёте, друзья, всё растёте, но ты, булочник, поднялся выше всех. Прошлогодняя Нижегородская выставка выдвинула тебя как совесть народную.

Николай Евграфович приподнялся и достал из-под подушки комплект «Нижегородского листка». Эту сшитую пачку газет, присланную в Сольвычегодск друзьями из Нижнего, ему удалось провезти через все пересыльные пункты, как и десяток номеров марксистского «Самарского вестника», полученного от Маслова. Он начал перелистывать «Нижегородский листок», нашёл меж заметок Горького с прошлогодней выставки его статью «Среди металла» и принялся её читать, наверно, уже в сотый раз. «Когда, поутру, войдёшь в машинный отдел — это царство стали, меди, железа, — увидишь спокойный, неподвижный и холодно блестящий металл, разнообразно изогнутый, щегольски чистый, красиво размещённый, присмотришься ко всем сложным организмам, каждый член которых создан человеческим умом и сработан его рукой, — чувствуешь гордость за человека,

удивляешься его силе, радуешься его победе над бездушным железом, холодной сталью и блестящей медью…» Барак, переполненный говором, руганью и шумом, исчезает, и вместо него возникает безмолвный и стройный мир машин. Но вскоре люди приводят этот мир в движение, а сами, грязные, жалкие, ничтожные, оказываются рабами ожившего металла. Крохотный очерк, но он схватывает самую сущность современного человеческого устройства. Дальше идёт большая статья о русской индустрии, и в ней Горький измеряет гигантские шаги капитала и обнажает его гибельные противоречия. Потом бывший булочник разбирает современное искусство, блестяще вскрывает огромный талант вопленицы Федосовой, даёт свою оценку капелле Славянского, воскрешающей старинные песни, и доходит до живописи Врубеля. И вот тут-то, в определении кисти Врубеля, *судия*, кажется, начинает ломать дрова, обвиняя художника в декадентстве, манерничанье и безвкусице. Но может быть, писатель прав? Почему ты, вечный арестант и ссыльный, усомнился в правоте Пешкова, ставшего знаменитым Горьким? У тебя отняты все музеи мира, а он-то, наверно, уже побывал и в Петербурге, и в Москве и, конечно, видел шедевры живописи. Так почему же у тебя возникло недоверие? Интуиция? Нет, не интуиция. Панно забраковано академическим жюри, а академики очень часто ошибаются и упускают дарования. Произведения Врубеля купил Савва Морозов, а этот умный, образованный капиталист едва ли может прогадать. Врубеля защищают в прессе талантливые художники. У них-то, конечно, было больше возможности отточить свой вкус, чем у молодого писателя, только что вырвавшегося из самых низов. Странно, что Горький, всех удививший необычайностью и новизной своих рассказов, вдруг выступил против нового искусства. Но ничего, у него ещё есть время, он разберётся. У этого человека, кажется, великий путь.

Николай Евграфович положил комплект «Нижегородского листка» под подушку и достал оттуда номера «Самарского вестника». Развернув их, он увидел свой маленький исторический очерк, посвящённый временам подготовки к реформе. Он решил просмотреть эту статью, спешно написанную в первую ночь сольвычегодского ареста, в полицейской канцелярии, куда его заперли.

Открылась дверь, и в барак вошёл помощник начальника тюрьмы.

— Староста! — крикнул он. — На выход.

Федосеев торопливо сунул газету под тюфяк, натянул сапоги, накинул пальто и, забыв надеть шапку, пошёл к двери.

Помощник шагал по двору чуть впереди, не оглядываясь. У ворот он остановился и пропустил ссыльного в другой двор, где у открытого склада стояла белая лошадь, запряжённая в телегу, на которой сидел подросток-ямщик. А рядом нетерпеливо топтался небольшой человек в сером пальто и меховой шапке, с рыжеватой бородкой клинышком. Николай Евграфович напряг все силы, чтобы сдержать себя, не прибавить шагу, не улыбнуться и ничем не выдать своего волнения.

— Это вы староста? — спросил человек в сером пальто. — Подводу задерживаете.

Из склада, в котором галдели питерцы, выскочил Цедербаум.

— Господа, явился виновник! Староста, почему вы не проверили ушедшую партию?

— А что случилось? — спросил Федосеев, входя следом за помощником начальника в склад.

— Вещей недосчитываемся, — сказал Кржижановский. — Подозреваем — присвоила ушедшая партия.

— Исчез мой саквояж! — кричал Цедербаум. — Безобразие!

— Надо вызвать начальника! — подхватил Старков.

— Господа, не шумите, — сказал Федосеев, досадливо морщась. — Никуда ваши вещи не денутся. Ищите.

— Как не денутся, когда их нет?

— Где тут найдёшь их?

— Всё перепутано, перевёрнуто.

— Начальника!

Федосеев махнул рукой, вышел из цейхгауза, оглянулся и, убедившись, что помощник начальника остался там, быстро подбежал к «извозопромышленнику».

— Владимир Ильич, наконец-то!

— Здравствуйте, здравствуйте, Николай Евграфович. Счастлив вас видеть, дорогой казанец. Как себя чувствуете?

— Неплохо, Владимир Ильич. Рад, что судьба всё-таки свела. В Москве видел ваших сестёр. Пришли на вокзал проводить нас. Анна Ильинична оказалась права. Обязательно, говорит, встретитесь в Красноярске.

— Я всё ходил в фотографию Каппеля. Прелюбопытнейшая, знаете, фотография. Снимает по договору с тюрьмой пересыльных. Каппель скопил коллекцию портретов. Чернышевский, Мышкин, Алексеев. Сотни русских революционеров. Не фотография, а музей сибирской ссылки. Хотел там встретиться с вами, но вас всё не ведут.

Николай Евграфович обернулся, глянул в тёмный дверной проём цейхгауза — там шла шумная перепалка питерцев с помощником начальника.

— Удачно у нас получилось, — сказал Владимир Ильич. — Николай Евграфович, в Иркутске ждёт пересылки наш хороший товарищ, член союза. Яков Ляховский. Надеюсь, вы с ним встретитесь. Держитесь к нему поближе. И берегите нервы. Заканчивайте поскорее ваш исторический труд. Я жду его с нетерпением. Переправим в Женеву, там напечатают. Читал в «Самарском вестнике» вашу «Историческую справку». Превосходна. Убедительна. Кстати, виделся в Самаре с вашим другом.

— С Петрусем Масловым?

— Да, он встретил меня на пути в Сибирь.

— Боже, как это хорошо!

— Мария Германовна в Архангельске?

— В Архангельске. Хлопочет, чтоб послали её в Сибирь. Ко мне.

— Одобряю. И вы хлопочите. Вам надо быть вместе, и вы будете вместе. Непременно. Я в это верю. Пишите мне в Минусинский уезд. Меня туда, кажется, посылают. Напишу вам оттуда сразу же, как узнаю, где вас поселят. Не надо нам теряться. Нас ждёт революция, дорогой друг!

Питерцы начали носить вещи на телегу, из склада вышел помощник начальника.

— Чёрт, как вы задержали меня! — заворчал и нервно зашагал взад и вперёд «извозопромышленник». — Пошёл на уступку, выделил подводу, а у них тут вон что!

Николай Евграфович услышал далёкий крик летящих гусей, поднял голову, отыскал в небесной синеве мерцающий пунктирный треугольник и улыбнулся.

— Не сердитесь, хозяин, — сказал он, — Слышите? Весна.

Владимир Ильич тоже запрокинул голову.

— Гуси?.. Да, весна, весна!

— Вальдшнепы, наверно, давно прилетели.

— Должно быть. Вы охотник?

— К сожалению, в детстве пристрастился. Теперь лишняя тоска.

— Не изнуряйте себя, не тоскуйте. Будут и вальдшнепы, и многое другое.

Питерцы погрузили вещи на подводу, но ещё что-то возились около телеги, оттягивая время.

— Выезжай, — приказал помощник начальника ямщику, и тот взялся за вожжи.

Владимир Ильич резко повернулся к Федосееву и пожал ему руку.

— До новой встречи, Николай Евграфович!

— Это ещё что там? — зарычал тюремщик.

— Ничего, ничего, господин начальник, — сказал Владимир Ильич. — Староста-то оказался хорошим человеком. Успокоил меня. Видно, и среди ссыльных есть добрые люди. — Он обернулся и помахал рукой.

3

И снова тяжёлый этапный путь — дальше на восток, в Иркутскую губернию. У Канска железная дорога обрывается, и партия ссыльных, высадившись, тянется сбоку вдоль трассы, на которой кишат строители — сибирские мужики с тачками, лопатами и ломами. Растут насыпи, выравнивается полотно, настилаются шпалы и рельсы. Дорога строится спешно, лихорадочно. Она позарез нужна империи, её правительству, особенно всемогущему министру Витте, ищущему широкий рынок для русского капитала, и Николаю Второму, который яростно рвётся на Тихий океан, где он наверняка сломает себе голову, столкнувшись с Японией.

Партия, то удаляясь от трассы, то приближаясь, медленно двигалась через тайгу по старой конной дороге, сворачивая в сторону от бесшабашных почтовых троек, от обозных телег, опасно перекашивающихся и скрипящих на ухабах, тяжело нагруженных бочками с байкальским омулем, мешками с читинским хлебом, ящиками с китайским чаем и прочими товарами. В одном месте охрана загнала ссыльных прямо в лес и запретила смотреть на дорогу, но Николай Евграфович, чуть повернув голову и скосив глаза, всё-таки разглядел необычный обоз: на каждой телеге сидел сзади, в кабинке, конвойный с ружьём, а между ним и ямщиком, помещавшимся в передке, лежали окованные железом деревянные колодки. Нетрудно было догадаться, что это шёл караван с золотом.

Федосеев с интересом следил за проходящими обозами, расспрашивал ямщиков, что они везут, и по движению грузов пытался установить, какова сила проникшего в Сибирь капитала. Пытливый экономист и здесь, в дороге, не переставал работать, подбирая материалы для своего исследования и размышляя над тем, что видел. Иногда к нему подходили духоборы и, шагая рядом, затевали разговор о боге и человеке. Кавказские изгнанники крепко привязались к Федосееву, и Юхоцкий, по вечерам писавший в этапных сараях «обвинительный акт», внёс в него новый пункт, разоблачающий преступную дружбу революционера с сектантами. Но Николай Евграфович, взбодрённый красноярской встречей с Ульяновым, уже не обращал внимания на сплетни своих врагов и всё пристальнее всматривался в жизнь, открывавшуюся ему в этой большой дороге.

Остался позади губернский Иркутск. Партия с двумя десятками подвод, на которых везли впереди женщин и вещи,

двигалась степной полосой по Якутскому тракту к верховью Лены, ночуя в сёлах о русскими и бурятскими названиями — Жердонка, Оек, Усть-Орда, Ользоны, Баяндай, Манзурка (тут стопная полоса сузилась и вонзилась в тайгу), Хорбатово.

В Хорбатове, на последней трактовой остановке, в огромной избе с маленькими зарешечёнными окнами, Юхоцкий собрал вокруг себя на нарах всех политических и зачитал свои законченный «обвинительный акт» с двадцатью пространными пунктами, Николай Евграфович был свергнут с поста старосты как дворянин, чуждый революции. Да, Юхоцкий судил его от имени революции!

4

В Качуге партию погрузили в паузок. Шестеро ссыльных сели в нос за вёсла, все остальные разместились на вещах в открытом прямоугольном «трюме». Паузок отчалил от пристани и двинулся вниз по Лене.

Николай Евграфович сидел на своих книжных тюках у борта и задумчиво смотрел по сторонам. Справа к самой реке подступали красные скалы, слева тянулась грядой лесистая крутая гора, на вершине которой виднелись, как заплаты, чёрные и светло-зелёные полоски пашен. Крупному землевладельцу здесь негде было разгуляться.

— Да, тесновато тут жить мужику, — заметил кто-то.

— Как тесновато? — сказал духобор Малахов. — Столько простора.

— Одни горы.

— Ну и что, что горы? И в горах можно жить. — Малахов осмотрелся кругом и вздохнул. — Господи, велик твой мир! А человеку и правда тесно. Потому что он, человек-то, не понимает, что всё царство божье в нём. Душа была ещё до сотворения вот этого мира. — Малахов показал рукой на горы. — Душа наша нала ещё тогда, когда нас не было, потому мы и не помним, кем были прежде, до прихода в этот мир.

— Значит, человеку так и суждено жить падшим? — сказал Федосеев. — Не подняться ему, раз он таким и пришёл сюда. Так?

— Нет, Николай Евграфович. Человеку мешает его плоть. Она не даёт вспомнить, кем он был раньше. Кто победит свою плоть, тот просветлит память и вспомнит, кем был. И поднимется.

— Поняли, господин Федосеев? — вмешался Юхоцкий. — Революция-то, выходит, совсем не нужна. А вы в «Крестах» сидели. Сглупили в молодости. Теперь вот раскаиваетесь. Не так ли?

Николай Евграфович посмотрел на него, на его жену, приехавшую в Сибирь добровольно, на милую дочку, нежно прижавшуюся к отцу, посмотрел, ничего не сказал, только отвернулся и, облокотившись на борт, опять стал смотреть на горы, успокаивая себя тем, что скоро (остаётся какой-нибудь час) он высадится в Верхоленске и расстанется с этим злобным и хитрым одесситом.

Он не знал, что жена Юхоцкого, прибыв в Иркутск, выхлопотала, чтоб её мужа, которому была назначена ссылка в Якутск, оставили в Верхоленске. Это выяснилось внезапно при высадке.

Николай Евграфович, выгрузив из паузка свои книжные тюки и сложив их в кучу, заметался по берегу, ошеломлённый неожиданной неприятностью. Стиснув зубы и вцепившись обеими руками в поясной свой ремень, он нервно шагал взад и вперёд, а верхоленские ссыльные, пришедшие встречать новичков, недоуменно стояли в стороне, не решаясь к нему приблизиться. Но один из них, коренастый, на вид похожий на рабочего, всё-таки потом подошёл.

— Что с вами? — сказал он. — Успокоитесь. Верхоленск не так уж страшен. Поглядите-ка. Прекрасные места.

Федосеев осмотрелся. Та заречная гора, которая зелёной грядой тянулась слева, тут обрывалась, и из-за её мыса выходила к Лене цепь деревень. А уездный Верхоленск протянулся длинной кривой линией по правому берегу. За улицами поднималась крутая сосновая гора с укромным распадком, уходящим в глубь тайги.

— Что ж, места неплохие, — сказал Николай Евграфович. — Но дело не в местах.

— А в чём же? В людях? И люди здесь хорошие. Обживётесь. — Незнакомец протянул руку. — Лежава. А вас мы уже знаем. Слух пришёл раньше вашей партии. Мы рады видеть здесь настоящего марксиста. Идёмте, представлю вам наших. — Лежава подвёл Федосеева к своим друзьям.

5

Здесь надо отбыть пять лет. В труде эти годы прошли бы незаметно. Но вот шли дни и недели, а работа не двигалась. Мешал Юхоцкий. Он размножал свой «обвинительный акт» и ежедневно посылал один экземпляр в какую-нибудь сибирскую колонию ссыльных. Николай Евграфович вскоре стал получать злые письма и угрожающие анонимки. Сначала он жил в шестистенной избе, в той её половине, где столовались политические, а потом ему показалось, что его новые знакомые, сбитые с толку сплетней, в самом деле в чём-то его подозревают, и он нашёл на этой же набережной улице отдельную избушку во дворе крестьянина и поселился в ней, хотя завтракать и обедать ходил в столовую колонии.

За русской печью была отгорожена спаленка, едва вмещавшая небольшую деревянную кровать, которая ночами казнила ссыльного, не давая ему успокоиться и забыть оскорбительные анонимки. Но однажды его растревожило не какое-нибудь ядовитое послание, а милое и бесконечно доброе письмо Марии Германовны. В этом письме Маша клялась своему другу, что, как бы ни сопротивлялось начальство, она добьётся разрешения на брак и приедет в Верхоленск.

Оголтело кричали во дворах петухи. Федосеев натянул на голову одеяло и всё ещё пытался заснуть, но наконец понял, что это ему не удастся, и встал. Над кроватью, чуть в стороне, светлело слуховое окошко, совсем маленькое, меньше тюремного. Он подошёл к нему и посмотрел на сосновую гору, затянутую клочьями поднимающегося тумана. В распадке тоже белел туман, но там он лежал молочным озером. Да, Маша полюбила бы эти места. А Аня, пожалуй, вскрикнула бы от изумления, глянув на это белое озеро в сосновых горах. Но Аня окончательно потеряна. Ей здесь не бывать.

Николай Евграфович надел брюки, натянул юфтевые сапоги, вышел из закутка. Взял со стола архангельское письмо, перечитал его и принялся шагать по широченным жёлтым половицам, вчера старательно выскобленным и вымытым молодой хозяйкой. Да, Мария Германовна приедет. Обязательно приедет. И что же тогда делать? Жениться? Но это будет кощунством. Кощунством над святой дружбой. Боже, как всё сложно. Ведь ты любишь Машу и всё-таки не можешь переступить с ней брачного порога.

Он надел косоворотку, взял полотенце и мыло, сбежал с крутого, без перил, крылечка, прошёл по сонному двору и открыл калитку. Улица была почти по-ночному тиха, ни одна хозяйка

ещё не подоила коров и не выгнала скотину за ворота. Он свернул в проулок и направился к реке. Задумавшись, глядя себе под ноги, он спустился с берегового откоса, прошёл десяток шагов по гремящей под сапогами гальке, потом поднял голову и резко остановился, увидев перед собой голую женщину. Она стояла по колена в воде и тёрла мылом голову, и длинные распущенные волосы падали мокрыми прядями на спину. Её розовое тело, полное, но стройное, с выгнутой спиной, было невинно прекрасно, и Николай Евграфович, не ощутив в первое мгновение никакого смущения, не сразу смог отвести взгляд от скульптурно красивых бёдер, на которых висели клочья мыльной пены, напоминавшие меховой набедренник.

Он уже шагнул в сторону, но женщина обернулась и остановила его.

— Что убегаете? Купайтесь. Я не съем вас.

Она смотрела на него, не испытывая никакого стыда, как сама природа, обнажившая свои красоты. Но он всё-таки ушёл отсюда. Удаляясь и не оглядываясь, он всё ещё видел её, красивую, не безгрешную, конечно, но целомудренную в своей простоте. Аню тоже легко представить обнажённой. А вот Марию Германовну страшно увидеть раздетой. Почему? Может быть, интеллигенция запуталась в созданных ею сложностях? Может быть, надо проще смотреть на жизнь?

Он поднялся далеко вверх по берегу, там выкупался и вернулся в свою избушку освежённым и бодрым. Ещё раз прочитал письмо Маши. И впервые здесь сел за работу.

6

Юхоцкий недавно снял квартиру в другом конце села, зажил своей семьёй и перестал ходить в *политическую* столовую, и Николай Евграфович, не видя его и не получая больше письменных проклятий, мог спокойно работать. Но случай всё-таки столкнул их. Как-то раз вся колония засиделась после обеда в столовой, и Юхоцкий, пришедший навестить хозяйку и, наверно, что-нибудь выведать, нарвался на сборище. На мгновение опешив, он скоро овладел собой и пошёл по кругу, пожимая всем руки. С Николаем Евграфовичем он поздоровался с ехидной учтивостью.

— Беседуем? — сказал он и опустился на стул посреди избы, тогда как все другие сидели на лавках около стен. — Надо, надо и побеседовать. Недружно как-то живём.

— Кто же виноват? — сказал Лежава.

— Да вы как-то всё сторонитесь.

— Вся рота идёт вразнобой, только один Сидоров — в ногу, — усмехнулся старый народоволец Гедеоновский.

— Что ж, Сидоров имеет право не подчиняться, если вся рота идёт неправильно. Вы господина Федосеева поддерживаете, а я не могу попуститься своей совестью.

Тут вмешался доктор Ляховский, недавно прибывший в верхоленскую ссыльную колонию.

— Иван Александрович, — сказал он, — я читал ваш акт. Это, простите, чепуха! Именно чепуха. Чего вы только не собрали! В вашем обвинении фигурирует даже вырванный из журнала листок. Журнал, видите ли, был пожертвован всем, а староста вырвал лист. Даже чистка сапог не ускользнула от вашего внимания.

— А что, это пустяк? Революционер наставляет рабочего чистить свои сапоги. Спрашивается, что это революционер?

— Лжёте! — крикнул Федосеев и вскочил с лавки. — Никого я не заставлял чистить свои сапоги.

— Ну хорошо, хорошо. Допустим, это пустяки и неправда. Но скажите, пожалуйста, господин Федосеев, куда вы девали двести рублей? Я сам видел на вокзале, как москвичи вручили вам эти деньги, Куда они делись?

— Это вам знать не следует. Не следует, понимаете?

— Нет, я заставлю отчитаться.

— Юхоцкий, — сказал Лежава, — мы призываем вас к порядку.

— Ах, к порядку? Посмотрим, кто кого призовёт! — Юхоцкий

встал и гордо вышел из столовой.

— Друзья, — сказал Федосеев, — я но могу больше терпеть этой наглой клеветы. Не могу! Выберите комиссию и расследуйте. Можете собрать обо мне полные сведения.

— Никола-а-й Евграфович! — с укором сказал старик Гедеоновский. — Подумайте, что вы говорите? Какая комиссия? Какие сведения? Неужели кто-нибудь верит Юхоцкому?

— Да, люди верят. У меня целая папка проклятий. Если вы не разберёте это грязное дело, я вызову подлеца на дуэль.

Доктор Ляховский поднялся с лавки, подошёл к Федосееву и положил на его плечо руку.

— Николай Евграфович, успокойтесь. Пойдёмте немного развеемся. — Он взял Федосеева под руку и вывел через сени во двор, потом на улицу.

Они вышли узеньким проулком на берег, спустились к реке и сели на перевёрнутую лодку, недавно просмолённую, но уже просохшую под жарким солнцем.

Городок дугой огибал пологое колено реки, и отсюда был виден нижний конец длиннущей улицы, примыкающей к пристани. Чуть повыше пристани медленно двигался поперёк Лены маленький паром с кучкой людей и двумя лошадками, запряжёнными в крестьянские телеги. Федосееву хотелось переправиться на ту сторону и пройти по деревням, но такое путешествие было опасно, потому что полиция могла приписать побег.

Ляховский нагнулся, взял из мелкой гальки синий камешек и стал подкидывать его на ладони.

— Вот что, Николай Евграфович, — сказал он. — Говорите, Владимир Ильич советовал держаться поближе ко мне?

— Да, советовал.

— Тогда послушайте меня. Комиссию мы создадим. Сегодня же. Разберёмся. Осудим Юхоцкого. Но он ведь не успокоится. Всё равно будет писать во все концы. Вам надо пренебречь им. Живите так, как будто его нет на свете.

— Дорогой доктор, это не в моих силах. Дело-то не во мне. Эта мразь для всех нас страшна. Революция только зачинается, а уже мерзавцы к ней пристали. И сколько ещё пристанет! Долго придётся потом очищаться. А может, нас вычистят? А?

— Ну, зачем же так грустно думать? В революцию идут честные и чистые люди. Юхоцкий — это эпизодическая личность. Он отпадёт, как отпали Нечаев, Сабунаев. Собственно, юхоцкне — мелочь. Сор. Не надо делать из мухи слона.

— Да, Юхоцкий мелок. У него пока нет никаких убеждений. Но не дай бог, если он вооружится какой-нибудь диктаторской

идеей. Многих подомнёт. Грустно, доктор, грустно.

— Жаль, что вам не пришлось поработать со стариком. Он бы исцелил вас. Жизнерадостный человек. Огромная оптимистическая сила. Пишите, Николаи Евграфович, пишите. Уверен, ваш труд будет закончен. Не отвлекайтесь. Юхоцкого отдайте нам. Обуздаем.

7

Избранная комиссия приступила к делу. Члены её каждый день после обеда оставались в столовой, пункт за пунктом разбирали «обвинительный акт», писали письма, разыскивали свидетелей, запрашивали сведения, выясняли и уточняли факты. Николаи Евграфович, не желая как-то воздействовать на комиссию, перестал ходить в столовую, заперся в избушке, читал, пытался работать, но иногда не выдерживал тягостного одиночества, оставлял своё тоскливое жильё и забегал на часок в соседнюю избу к отшельнику Гольдбергу (этот ссыльный всё время сидел над книгами) или уходил на Большую улицу к Лежаве, чтобы забыться в его милой семье. Семья Андрея Матвеевича (жена, ребёнок и тёща) всегда успокаивала Николая Евграфовича, но стесняло его то, что Людмила Степановна сразу, как он появлялся, хваталась за самовар и начинала собирать на стол. Революционерка, врач, она в своём домашнем кругу была только любящей женой, нежной матерью, доброй дочерью и простодушной хозяйкой, неистощимо гостеприимной. Андрей Матвеевич брал по частям рукопись Федосеева, вдумчиво читал её и при каждой встрече заставлял краснеть автора.

— Батюшка, я не знаю в нашей литературе ничего подобного! Понимаете ли вы, что это такое? Это экономическая история России. Да, да, история. И какая глубина, какая исчерпывающая разработка! — И пошёл, и пошёл. Николай Евграфович, смущаясь, хватал на руки ребёнка и начинал с ним болтать. И за чаем он отводил разговор на другие темы, чтобы избежать пылкой похвалы друга.

Потом он возвращался в пустую избушку, бросался на кровать, закидывал руки за голову и, глядя в потолок, думал о своих близких, оказавшихся такими далёкими. Мать перебралась в Казань, чтобы жить вместе с дочерью, поступившей в Родионовский институт. Да, сестрёнка Маша уже институтка. Помнит ли она его? Нет, мать, запретившая ей писать «преступнику», наверно, убила в пей сестринские чувства. Брат служит в канцелярии нижегородского губернатора. Что ж, Дмитрий, на которого отец не возлагал никаких надежд, благополучно проживёт в этом смятенном мире тихим маленьким чиновником. Отец умер. Вот он, если бы с ним сейчас встретиться, понял бы «блудного сына». Не дождался. Оборвалось родство. И семьи новой нет. Нет и никогда не будет. Аня исчезла бесследно. А Мария Германовна? Она ведь приедет. Да, приедет, но останется другом. А может быть, может быть… Пусть поскорее

приезжает. Когда же комиссия кончит расследование?

В конце сентября комиссия обвинила Юхоцкого в клевете. Николай Евграфович, весёлый, молодой, прибежал поделиться радостью к Лежаве, тут его поздравили, угостили тайменьей ухой и оставили ночевать, потому что крестьянин Тюменцев, у которого жила семья Андрея Матвеевича, выхлопотал разрешение исправника на двухнедельную отлучку Федосеева и завтра должен был отправить его в тайгу со своим сыном Дмитрием. Дмитрий был рад поближе познакомиться с политическим. Утром они оседлали коней, привязали в торока по мешку с охотничьим снаряжением и выехали с берданками за плечами со двора. Свернули в проулок, оставили позади городок и углубились в падь, в ту самую падь, куда с такой неизбывной мечтой Федосеев ежедневно смотрел из окошка своей халупы. Через два дня они слезли с сёдел у чёрного бревенчатого зимовья, одиноко стоящего па берегу Абуры, в таёжной долине. Долину с её лугами, озёрами и рекой окружали горные леса, в тёмную хвою которых вкрапливалась яркая жёлтая и красная листва.

Десять дней они с рассвета до сумерек бродили по распадкам и берегам озёр, стреляли рябчиков, глухарей и уток, возвращались в зимовье, отягощённые ягдташами, варили на костре ужин, плотно наедались, потом ложились на нары и до глубокой ночи говорили без умолку. Дмитрий, житель окружного крестьянского городка, не бывавший даже в недалёком Иркутске, расспрашивал, как живут люди в больших городах, из-за чего бастуют рабочие, свалят ли они Николашку и что будет, если свалят? Отвечая ему, Николай Евграфович наводил его на разговор о жизни ленских крестьян, и Дмитрий начинал рассказывать, вернее, размышлять.

— Ну что наш мужик? Тяжело ему. Пашня горная, каменистая. Ковыряет её сохой, семь потов прольёт, а она не родит. Хлеба хватает только до рождества. А дальше-то как? Иди на промысел, дос/гавай деньги. Потом запрягай лошадёнку, тащись за сто вёрст в степи. К богатым бурятам. У них всегда есть хлебушко. Продадут — привезёшь два-три мешка…

В рассказах Дмитрия Федосеев находил много нового для своей работы и готов был слушать до утра, но парень внезапно обрывал:

— Поболтали, хватит, завтра рано вставать.

Он натягивал на голову зипун и сразу начинал храпеть. А утром чуть свет поднимал своего подопечного и вёл к озеру по лугу, и под ногами их хрустела заиндевевшая отава, белая, серебристая.

Николай Евграфович вернулся с Абуры заметно окрепшим,

пахнущим дымом и кедровой хвоей. Он обошёл друзей и раздал всю дичь (кому глухаря, кому рябчика, кому утку). Побродил денёк по Верхоленску и начал готовиться к зиме. Надвигались холода, надо было запастись топливом. Из девяти рублей месячного пособия пять отдавал он за избушку, а четыре оставалось у него на хлеб, чай, сахар и молоко. Сажень дров стоила рубль. Да, целый рубль! Где его возьмёшь? Можно, конечно, занять в общественной кассе колонии. Нет, подальше от всякой помощи. Деньги всегда запутывают, если они не твои, по попадают в твой карман. Взять хотя бы эти двести рублей, полученные в Москве на вокзале. Ты передал их в Красноярске человеку, который должен помочь товарищу бежать из Енисейска, а Юхоцкий приписывает присвоение, и попробуй опровергнуть эту чушь, не выдав тайны. Нет, нет, больше никаких денег. Тебе ли с ними возиться. Помнишь, как подвёл бедного Сомова? Почему тогда землячество выбрало тебя казначеем? Потому что ты честен? Но честный-то скорее запутывается в этом неустроенном мире. Надо довести свой быт до предельной простоты, раз не имеешь практической смекалки. Никаких займов, никакой помощи. Не погибнешь.

Походив в раздумье по избе, он достал из подпечья топор, пощупал большим пальцем, как это делают плотники, острие и отправился в лес. На улице увидел вдали старика Гедеоновского и прибавил шагу, чтобы поскорее свернуть в проулок, не встретившись.

Пересёк Большую улицу, вышел на окраину, поднялся на взгорок. Прошёл по кладбищу, углубился в густой сосновый лес, отыскал тут тонкое сухое дерево и, сбросив куртку, принялся его рубить. Свалил, очистил его от ломких отмерших сучьев, и получился длинный хлыст. Николай Евграфович стал отрубать от него чурки.

Шесть дней он валил тонкие сушины, разделывал их на дрова, а потом таскал вязанки поленьев в хозяйский двор, таскал ночью, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь из друзей и не вызвать тревоги, за которой последовала бы неизбежная помощь.

Морозы не застали его врасплох. Утром он хорошо протапливал русскую печь, выпивал два стакана крепкого горячего чая и садился за работу. Во дворе и на крышах сараев лежал уже снег, и от этого в избушке рано светлело, а с восходом солнца в маленькие окна врывались искристые лучи. Они снопом падали на стол и рассеивались по разложенным листам бумаги. На душе было тоже солнечно и как-то уютно, а мысль работала необыкновенно отчётливо. Николай Евграфович пересматривал, дополнял и обновлял старые главы своего неоконченного труда.

В декабре пришло письмо из Якутии, из Усть-Нотора, от Малахова, который описал доброму этапному спутнику страшную жизнь кавказцев, заброшенных в снежную пустыню. Николай Евграфович, прочитав горькую жалобу духобора, сразу же обратился к Толстому — только этот великий писатель, протестант и вероучитель, мог заступиться за якутских мучеников.

Переписываясь с Толстым, но не надеясь, что тот заступится, Федосеев часто заходил к друзьям и советовался с ними, чем бы помочь усть-ноторским ссыльным. Он подобрал десятка три книг и послал их в Якутию, чтобы спасти изгнанников от одичания.

Хотел было организовать денежные сборы, но тут же решительно отказался от этого, поняв, что Юхоцкий не замедлит внести в свой обвинительный акт ещё один пункт и возобновит дело. Заботы об усть-ноторцах отвлекли Николая Евграфовича от рукописи, и он долго не мог войти в колею, но его встряхнуло письмо из Шушенского. От Ульянова! Владимир Ильич жил большой, наполненной жизнью. Сибирская ссылка, о которой он писал с весёлым юмором, нисколько его не охладила, и от дружеского его послания веяло жаром напряжённой деятельности. По некоторым иносказательным строкам можно было догадаться, что организатор питерского «Союза борьбы» готовится к новому, ещё более широкому наступлению, налаживает связи с петербургскими марксистами и с женевской группой русских социал-демократов. И продолжает научную работу — исследование внутреннего рынка капиталистической России.

Николай Евграфович загорелся и снова взялся за свою рукопись. С полмесяца он работал с прежним молодым упорством и душевным подъёмом. Но вот морозным утром в его жарко натопленную избушку ввалился холодный, укутанный башлыком почтальон и подал ему синий пакетик. Федосеев разорвал конверт, вынул крупно исписанный лист бумаги, прочитал его и побледнел. Это был оскорбительный пасквиль трёх ссыльных из далёкой киренской колонии.

И назавтра пришло такое же злобное, но уже из другой колонии письмо, и пошли, и пошли они одно за другим, и Николай Евграфович каждый раз вздрагивал, когда почтальон, скрипя по снегу обшитыми кожей валенками, поднимался на дощатое некрытое крылечко и топтался за дверью, прежде чем взяться за ручку.

Политические ссыльные клеймили позором Федосеева за то, что он, будучи старостой этапной партии, забрал двести рублей общих денег и связался в пути с духоборами, а теперь

преклоняется перед ними, предав забвению революционные идеи. Юхоцкий крепко поработал. Он изъял из своего «обвинительного акта» многие незначительные пункты и оставил только два, подведя под одно из них идеологическую подоплёку.

Опять зашевелилась комиссия, но Федосеев, утомлённый, больной, уже не возлагал на неё никаких надежд, потому что грязная верхоленская история ввела в заблуждение почти все сибирские колонии, и слухи о ней дошли до Петербурга и Москвы. Чтобы выяснить дело, в разбор его должно было включиться множество людей, по Федосеев считал, что теперь, когда марксисты готовятся к генеральному наступлению, преступно отвлекать их таким занятием, как спасение чести одного человека.

Пришла тяжёлая слякотная весна, в избушке было сыро и холодно, во дворе не осталось ни полена, а принести с горы вязанку дров уже не хватало сил. Николая Евграфовича постоянно знобило, и иногда он заходил к друзьям погреться, но долго сидеть стеснялся: они знали, что живёт он впроголодь, и всегда старались покормить. Он выпивал чашку чаю без сахара и уходил в свою холодную избушку. Он хотел тепла и ждал лета.

8

Лето, солнечное, жаркое, не принесло облегчения, душа не согревалась, нервы не успокаивались, болезнь не унималась. С горы веяло смолистым запахом соснового бора, но это не очищало воздуха, отравленного зловонной деятельностью Юхоцкого. Было душно. Николай Евграфович не знал, куда себя девать. Ранним утром он уходил в лес, бродил там часа полтора и возвращался усталым. Полежав немного, садился за стол и пытался писать, но работа день ото дня шла труднее и медленнее, и тогда он собрал листы рукописи, сложил их в стопу, перевязал крест-накрест шпагатом… Удалось проследить исторический путь сельской общины, показать зарождение товарного производства, вскрыть причины падения крепостного хозяйства, а вот картину развития русского капитала завершить не хватило сил. И всё-таки этот десятилетний труд, пускай и незаконченный, не должен остаться безвестным. Конечно, русские марксисты кое-что уже взяли из него на вооружение, но этого мало. Надо послать рукопись минусинским питерцам. Может быть, им удастся переправить её в Женеву. Глеб Кржижановский говорил ведь тогда в Красноярске, что они будут ждать её и постараются продвинуть в печать. Только дойдёт ли такая посылка до места?

Николай Евграфович отодвинул рукопись в сторону и стал прибирать стол, заваленный книгами, журналами и газетами. Как мною ещё непрочитанного! Вот повесть Чирикова. Её-то обязательно надо дочитать. Хорошая, правдивая повесть. «Инвалиды». Да, Евгений Чириков прав. Народники вышли из битвы потрёпанными и опустошёнными. Духовными инвалидами. А ты, Николай Федосеев, всё-таки не инвалид. Духовно ты здоров и крепок. Тебя просто подводит твой организм. Но надо его ещё испытать. Не пойти ли куда-нибудь в поход? Взять да и пуститься пешком по деревням. Посмотреть, как живут крестьяне в глубине округа. Записать десяток песен.

Николай Евграфович отошёл от стола и зашагал по избушке, обдумывая внезапно возникший замысел. В Сольвычегодске раз как-то он удачно вышел ни тупика. Там тоже, хотя болезнь тогда ещё так не грозила, жилось ему нелегко. Связь с марксистскими далёкими кружками была только письменной, а дли экономического исследования в городке не хватало ни наблюдений, ни нужных книг. И однажды, когда совсем затёрла работа, он, рискуя попасть в руки полиции, пошёл бродить по уезду. Это была интересная вылазка. Он насытился свежими впечатлениями, близко познакомился с жизнью вологодских

крестьян, записал много, на целый сборник, чудесных народных песен и вернулся в свою поднадзорную квартиру с большим запасом творческих сил. Может быть, и сейчас удастся вернуться к полноценной жизни?

Николай Евграфович надел куртку и фуражку, взял белый ситцевый мешочек, замкнул избушку и сошёл с крыльца. За воротами его встретил почтальон. Он подал конверт. Письмо было из Бирюльки. Николай Евграфович сразу понял, что это за письмо. Он положил его, не вскрывая, в карман куртки и направился в лавку. Там он купил булку белого хлеба, засунул её в мешочек, потом пошёл к переправе.

У паромного причала стояла каряя лошадь, запряжённая в крестьянскую двуколку. На телеге сидел коренастый чернобородый мужик в синей посконной рубахе. Он курил трубку и смотрел из-под руки на ту сторону, где стоял, не отчаливая, пустой плашкоут. Перевозчик, навалившись грудью на перила, смотрел на эту сторону, поплёвывая в воду.

— Чёрт, никак не подаёт, — сказал чернобородый. — Ждёт. Никто не подъедет — до вечера простоим тут. Кому теперича ездить-то? Такая погода. Мужики все на пашнях. Вам, господин, далеко?

— Хочу пройти по куленгским деревням, — сказал Николай Евграфович.

— Вот и хорошо. Подвезу. Может, крикнете ему, чёрту? Вас послушает.

Николай Евграфович поднял руку и помахал. Перевозчик повернулся и двинулся к задним перилам.

— Видали? — сказал чернобородый. — Пошёл отвязывать. Господам везде почтение. А мужика кто послушается? Вы не учитель?

— Нет, политический ссыльный.

— Вот оно что! За народ, значит, страдаете? Знаем, знаем. Жил у нас такой. Ребятишек учил, кормили его обчеством.

— Вы из какой деревни?

— Из Шеметовой.

— Это далеко?

— А вот сразу за Леной начинается деревня Челпаново, за ней — Толмачево. Так и пойдут они одна за другой. Наша — седьмая. Вы, видать, не бывали на Куленге-то?

— Не бывал.

— Посмотрите, посмотрите наше житьё-бытьё. Потом, может, книжку какую про нас напишете. Тут, говорят, провозили таких, что книжки-то пишут.

— Да, через Верхоленск провозили и Чернышевского и

Короленко. Вы не читали их.

— Ну, куда нам! Я только численник читаю. И то с горем пополам. Зимой. Оторвёшь листок и сидишь с ним весь вечер.

Подошёл плашкоут. Мужик взъехал на него по дощатому настилу и слез с телеги. И показал рукой на речку, впадающую в Лену.

— Вот она, наша Куленга.

— Знаю, каждый день её вижу.

— И ни разу на ней не бывали?

— Пи раду.

— Пошто так?

Федосеев усмехнулся.

— А, понимаю, понимаю, — сказал мужик. Тоже несладкая жизнь-то выпала. Пройдитесь, пройдитесь, ничего страшного. Может, до нас доберётесь — заходите.

— А ваша фамилия?

— По фамилии не найдёте. У нас, почти все Шеметовы. Ищите Ивана Чёрного. Это моё прозвище, Вас-то как величать?

— Николай Евграфович.

— А меня Иван Иванович.

Плашкоут пересёк реку и приткнулся боком к причалу. Иван Иванович взял пустой мешок, встряхнул его и расстелил на телеге.

— Милости просим, — сказал он Николаю Евграфовичу.

Они сели на двуколку спиной к спине. Мужик стегнул лошадь вожжой, телега прогремела по дощатому настилу, съехала на берег и покатилась по пыльной деревенской дороге. Замелькали избы, амбары, ворота, заборы. Дома тут были крепкие, с тесовыми крышами, а окна — большие, с белыми ставнями и наличниками. Николай Евграфович вспомнил зажиточные трактовые сёла, тянувшиеся но этапной дороге от Иркутска до Качуга. Вспомнил и подумал, что крестьянство в Сибири живёт гораздо легче, чем в Центральной России. Пожалуй, так оно должно и быть. Здешние мужики не знали ни помещиков, ни крепостного права. А мощный капитал ещё не вломился в эту глушь, не разворотил деревни. Да, но земли-то здесь страшно неудобные. Одни горы.

— Вас докуда довезти?. — спросил Иван Ивано-

— А я и сам не знаю, где слезть.

— До нас доехать не желаете?

— *С* удовольствием.

— Вот и хорошо. Ночуйте у меня. Погостите.

— У вас песни-то поют?

— Только по большим праздникам. На гуляньях. Бабы, правда, и на пашнях голосят.

— А люди живут здесь, кажется, неплохо?

— Ближе к Лене — ничего. Река кормит. Всё-таки заработок. Погрузка, сплав, постройка паузков. А нас, куленгских, только тайга выручает. То белковать пойдёшь, то орехов добудешь. Иначе подати задавили бы. Вот пристал вчерась волостной, прижал за недоимки — пришлось свезти мешок орехов Купцову. Хорошо, что кедрач в прошлом уродил. У Купцова-то все амбары забиты орехами. Вздорожают — свезёт в Иркутск.

— Выходит, помогаете наживаться верхоленским купцам?

— А что поделаешь? Так уж заведено. Мы горбом живём, они — умом, хитростью. Вечно так будет.

— Так вечно не будет.

— Ждёте второго пришествия?

— Нет, революции.

— Переворота, значит?

— Да, переворота.

— Слышали. Этот говорил, который ребятишек-то обучал. Не верится. Царя, пожалуй, никому не свалить.

— Не верить, — конечно, не свалить. Вы народ, а народ сильнее любого царя, любого правительства.

— Слабее мужика никого нет.

— Ваша слабость — терпение. Перестанете терпеть — появится сила.

Иван Иванович молчал, задумавшись. Проехали одну деревню, другую, третью. Избы пошли беднее и чернее. Реже мелькали крашеные окна, чаще попадались покосившиеся ворота и погнившие заборы. Оставили позади ещё две деревни, потом миновали волостное и приходское село с белой синеглавой церковью, и вот показалась деревня Шеметово, раскинувшаяся по обеим сторонам Куленги.

Переехали по ветхому деревянному мосту через речку, и тут лошадь свернула к старой избушке, глядевшей на улицу двумя тёмными окошками.

— Добрались, — сказал Иван Иванович и соскочил с телеги.

Он вошёл в калитку и открыл замшелые тесовые ворота. Николай Евграфович взял мешочек с хлебом, прошёл во двор. Хозяин провёл его в избу.

— Вот тут мы и живём-поживаем, добра наживаем. Ребятишками ещё не обзавелись. Ждём первенца. Баба ходит тяжёлой.

— Вы недавно женились?

— Прошлым летом. Пошто так смотрите? Стар? Соха-то, Николай Евграфович, старит. Да и тайга достаётся. И чёрный я, а чёрные молодыми не бывают. Отдыхайте. Пойду коня выпрягу.

Николай Евграфович остался один. В избе пахло увядающей травой, настланной на некрашеный пол.

Под чистым, белым потолком летал и грустно жужжал лохматый шмель. Федосееву вдруг почему-то показалось, что он, вечный арестант и ссыльный, после долгих скитаний вернулся в свой родной дом и вот ждёт кого-то из своих близких — сестру ли, мать ли, а может быть, жену.

Во дворе послышался женский голос. Николай Евграфович глянул в окошко и увидел беременную молодуху в синем холщовом сарафане. Она стояла около хозяина, который держал за повод выпряженную лошадь а, глядя в землю, что-то тихо говорил — отвечал, видимо, на вопросы жены. Она сначала говорила тоже тихо, но потом вдруг закричала:

— Ирод проклятый! Ты что, по миру хочешь меня пустить? В доме ни копейки, а он пьянствовать задумал. Пропади ты пропадом со своей водкой! Керосина ни фунта, вчерась последний в лампу вылила.

— Но, но, раскаркалась! — прикрикнул хозяин. — Что надо, то и покупаю. Не твоё бабье дело! Иди, ставь самовар.

Женщина повернулась и быстро пошла в избу. Николай Евграфович встал, шагнул ей навстречу. Она остановилась у порога, вытерла ладонь о сарафан и протянула гостю руку, остро пахнущую полынью.

— Здравствуйте. Извините, грязная, я только что с пашни. — Она кинулась в кухню, загремела там посудой, но разговора не прервала. — Прополка замучила. Задавила нынче пшеничку трава. И откуда такая нечисть? Жибрей, осот, полынь. Хлебов и не видно.

Вошёл хозяин, вынул из кармана штанов бутылку, поставил её на подоконник.

— Вот и все орехи, — сказал он. — Бутылка зелья, остальное — на подати. Не ругайся, мать, один раз живём. Вот и гость у нас дорогой. Посидим, побалакаем. Слышь, мать, Николай Евграфович вроде нашего мученика. Помнишь, ребятишек-то учил?

— Как же, помню. Хороший был человек. Теперь, поди, на воле. Дай ему бог здоровья. Многих читать научил. Прошения мужикам писал. И про всё рассказывал.

Молодая хозяйка быстро вскипятила самовар, поставила его на стол, сняла крышку и вынула десяток сварившихся яиц, потом принесла миску творогу, нарезала ржаного хлеба.

— Вы уж не взыщите, угощать-то у нас нечем, — сказала она. — Мяса нет, бычка до осени оставили, корова стельная, вторую неделю не даёт молока.

Николай Евграфович положил на стол белую буханку.

— Вот как, — сказала хозяйка, — гость-то со своим хлебом. Ну, от хлеба отказываться грешно. — Она отрезала несколько ломтей от буханки. — Николай Евграфович, садитесь вон туда, в красный угол. Вот так.

— А где же святая посуда? — спросил Иван Иванович. Жена посмотрела на него, сходила на кухню, принесла три рюмки. Хозяин наполнил их, одну поставил перед гостем. — Ну, дай бог не в последний раз. Будем здоровы.

Николай Евграфович не оскорбил гостеприимства, от первой рюмки не отказался. Иван Иванович, проглотив водку, подул в усы и взял ломоть белого хлеба.

— Крупчатка. Из чьей лавки?

— От Купцова.

— Хваткий человек. Всё прибирает к рукам. Орехи, пушнину, хлеб.

— И лучшие пашни. Денег много, батраков сколько угодно. Разворачивается. Живёт на широкую ногу.

— Да, катается, как сыр в масле. Нам такое и не приснится. Вот, мать, Николай Евграфович сулит перемену жизни. Переворот, говорит, будет.

— Сколько не переворачивай, а мужики всегда окажутся внизу.

— А ведь верно. Ты у меня голова, мать. Министер бы из тебя вышел, если выучить. Говоришь, мужики всё равно останутся внизу? Для чего же тогда переворачивать-то? А, Николай Евграфович?

— Если переворот только вверху, — сказал Федосеев, — тогда народ действительно всегда оказывается внизу. Надо перевернуть самое основание жизни, а это может сделать только народ. И если он сумеет это сделать, то сумеет и поставить свою власть.

— Тоже верно. Мать, побил тебя Николай Евграфович.

В избу вошла молодая баба и почти следом за ней — пожилой мужик. Хозяйка сразу усадила их за стол и принесла ещё две рюмки. Иван Иванович стал разливать водку. Николай Евграфович накрыл свою рюмку ладонью.

— Ничего, ничего, всё будет хорошо, — сказал хозяин, но жена остановила его.

— Не привязывайся, отец. Может, человеку и вправду будет плохо.

Пришлось им выпить только вчетвером. Хозяйка после второй рюмки совсем повеселела, стала не только доброй, но и нежной. Она подвинулась со стулом ближе к мужу и погладила его по коротким чёрным волосам.

— Спасибо, Ваня, что привёз такого хорошего гостя. Пускай поживёт у нас да отдохнёт. Ишь какой он худой.

— Мать, — сказал Иван Иванович, — затянула бы ты песню. Николай Евграфович желает послушать.

— Верно, Матрёна Ивановна, — поддержал пожилой сосед, — спой-ка, отогрей душу.

Матрёна Ивановна (в деревне её, видимо, очень уважали, раз и пожилые величали по имени и отчеству, такую молодую) не заставила себя упрашивать. Она откинулась на спинку стула, сложила руки на выпуклом животе и запела:

Закатилось красное солнышко
за тёмные, ой, за тёмные за леса.

У Николая Евграфовича сразу пошёл по коже мороз и защипало в глазах. У всех мгновенно размякли лица и повлажнели очи. Да, у этих огрубевших от тяжёлой работы людей появились вместо тусклых глаз именно очи, полные печальных дум, Николай Евграфович смотрел на своих новых друзей и думал, что нет, не песни записывать приехал он сюда, а просто встретиться с народом. За этот народ и для этой песни стоило пройти тюрьмы и ссылки, стоило отдать все силы в десять коротких лет.

Матрёна Ивановна вдруг подалась вперёд, облокотилась на стол, уткнулась лицом в ладони и заплакала в голос. Все глядели на неё молча, не двигаясь. Но она вскоре выпрямилась и тряхнула головой.

— Ну, что приуныли? Ваня, не весь голову, но печаль гостей. Не пропадём! Николай Евграфович, нам ведь строиться надо. Изба-то не наша. Нынче весной задумали отделиться, а тут как раз один вдовец на прииски уходил, вот он и пустил нас в эту хатенку.

Не горюй, Ваня. Провались земля и небо — мы на кочке проживём.

Все засмеялись.

…Утром Николай Евграфович собрался в обратную дорогу.

Матрёна Ивановна положила в белый ситцевый мешочек кусок своего ржаного хлеба, три варёных яйца и узелочек с солью. На прощание она подала Николаю Евграфовичу жёсткую, шершавую, ещё пахнущую полынью руку и по-матерински посмотрела ему в глаза.

— Счастливо. Какой вы больной! Выздоравливайте да приезжайте погостить.

— С удовольствием бы, да ведь полиция.

— А вы украдкой, украдкой.

— Может быть, удастся.

— Ну, с богом.

Иван Иванович пошёл проводить гостя. Он повёл его не по мосту через Кулешу, а в узкий проулок.

— Куда это мы? — спросил Николай Евграфович.

— Сейчас расскажу. Шагайте, шагайте.

За деревней Иван Иванович остановился и показал рукой на гору, которая тянулась откуда-то с верховьев Куленги и тут обрывалась напротив селения.

— Вот пройдёте мимо этого мыса, завернёте за него, минуете ельник и увидите деревню. Это Тальма. Перейдёте через речку, тоже Тальмой называется, и подниметесь на гору. Перевалите её — вот вам и Лена. Доплывёте на попутной лодке до Верхоленска. Так легче добраться. На нашей дороге тепереча попутчика не найти. Прощевайте. Удастся ли ещё свидеться-то?

— Будем надеяться.

— С богом.

Николай Евграфович пошёл к горе. Он не оглядывался, чтобы не дать воли закипающим чувствам.

Из-под красной скалистой горы, поросшей на склоне мелким и редким ельником, били струи ключей. Федосеев присел на корточки у звенящего родничка, зачерпнул пригоршней студёной прозрачной воды и стал пить. Заломило зубы. Он мотнул головой, выплеснул остаток воды, взял мешочек, вытер им руки и пошёл дальше. Обогнул «мыс», пересёк еловый пригорный лесок и оказался в деревне, одна маленькая улица которой прижалась слева к шумной речушке, другая, большая, тянулась по правобережному взгорку. Николай Евграфович перешёл по жердевым мосткам через речку.

Девочка лет десяти, стоя по колена в воде и подоткнув платьишко, полоскала какое-то выцветшее ветхое тряпьё. Он подошёл к ней и спросил, есть ли здесь

дорога на Лену. Она разогнулась и повернулась к горе.

— Есть, вон она, мимо деревни идёт, по пашням.

— А выше по этой речке есть ещё деревни?

— Тама дальше буряты живут. Тятя туда по тарасун ездит. А ты, дяденька, не учитель?

— Нет, не учитель. Ты учишься?

— У нас нет училища. — Девочка отвернулась и опять принялась полоскать тряпку.

Николай Евграфович пошёл дальше.

Он поднялся на гору и остановился, запыхавшись. Постоял, посмотрел на деревню, на речку, на крохотную девочку. Потом

снова пошагал на подъём.

Дорога нырнула в логовину, но скоро опять пошла в гору и завела в лиственный лес. Николай Евграфович заливался потом, тело его горело, а ноги едва двигались. Он ясно видел, как били из-под красной скалы прозрачные роднички. Ах, глотнуть бы сейчас той студёной воды. Пересыхает горло.

Он свернул в сторону и сел на пенёк, замшелый, поросший брусничником. Отдохнул, осмотрелся, прислушался. Как хорошо! Тихо шумит осинник. Полянка пылает оранжевым пламенем. Это так буйно цветут сибирские жарки. Жить бы да жить!

Николай Евграфович достал из кармана куртки письмо и, не вскрывая его, порвал на мелкие клочки. Конец интриге. Сил нет бороться. Вот что. Совсем нет сил. А надо всё-таки идти. Полянка горит. Жарко.

9

Раз как-то на рассвете он пришёл на берег Лены, сел на камень, долго смотрел на реку, прислушиваясь к тихим всплескам воды, и на время забылся.

Глядя на ползущие белые космы тумана, он вспомнил Волгу, вспомнил Ключищи и совершенно отчётливо увидел сидящую рядом Аню, и это почему-то не вызвало обычной в таких случаях грусти, а как-то мягко легло на душу спокойной радостью. Он смотрел на стелющийся по водной глади туман, вдыхал утреннюю речную свежесть и счастливо улыбался. Анна. Она где-то на Волге, в Царицыне или в Саратове. Она, конечно, не отказалась от борьбы, не погрузилась в безмятежное бытие, осталась революционеркой, и всё-таки это другая Анна. Не та, не казанская. Та никуда не уходила, а всё время была с ним. И сейчас живёт в нём. Как юность, как вечно цветущие ромашки. Она подарила ему себя навсегда и, если бы даже захотела отнять подаренное, не смогла бы. Что легло в человека, того никому никогда не отнять. Как это хорошо!

Николай Евграфович встал и быстро пошёл к Лежаве.

Андрей Матвеевич и Людмила Степановна сидели в передней половине избы за столом. Перед ними стояла новенькая, сплетённая из красных прутьев корзина. Они чистили и обрезали грибы.

— Ой, как кстати! — сказала Людмила Степановна. — Я только что из бора. Набрала вот маслят, сейчас будем жарить.

— У вас какая-то радость? — спросил Андрей Матвеевич.

— Да, радость. — Николай Евграфович сел у окна на лавку, вытер платком взмокший лоб. — Открытие. Знаете, оказывается, хорошее не исчезает. Есть вечные ценности. Если я что-то вобрал в себя, никогда этого не потеряю. Мы всё время впитываем жизнь. Вот и сегодняшнее утро останется у нас навсегда. Речной туман, запах грибов, красная корзина. Нет, я не могу этого выразить. — Он встал, прошёлся из угла в угол, опять сел на лавку, взял с подоконника пожелтевший обрывок газеты. Наткнулся на строки прошлогоднего сообщения, прочитал их, снопа вскочил и зашагал туда-сюда. — Андрей Матвеевич, что заставило наше правительство пойти на сокращённо рабочего дня?

— Протест рабочих, конечно.

— А конкретно, конкретно?

— Не знаю. Что, по-вашему?

— По-моему, забастовки позапрошлого года. Огромная стачка питерских ткачей. Это было грозное выступление. Умный Витте

сразу понял, какая надвигается сила. Обратился к забастовщикам со слезницей. Русский рабочий поднялся во весь рост. Мы живом накануне больших событий. О съезде в Минске слышали?

— Да, слышали.

— Понимаете, разворачивается наша социал-демократия. Поскорее бы на волю. Остаётся три года. Я выберусь отсюда уже в двадцатом веке. Двадцатый век! Надо готовиться, друзья. Нас ждут бури!

— Давно не видел вас таким, — сказал Лежава.

Он положил на стол очищенный жёлтый маслёнок и с улыбкой смотрел на Федосеева. — Рад, очень рад.

Вам ли отчаиваться? Такой талантище. Вы знаете, что я не был марксистом, а вот прочитал ваш труд, и у меня многое встало на место. Да что я? Мы все тут около вас прозрели.

— Да, все прозрели, — вдруг горько усмехнулся Николай Евграфович и, опустившись на лавку, задумался.

Людмила Степановна сгребла со стола в ведро грибы, залила их водой и стала мыть.

— Николай Евграфович, — сказала она, — вы куда удалились?

Федосеев очнулся, тряхнул головой.

— Простите, я пойду.

Он постоял в раздумье за калиткой и тихо побрёл по Большой улице, отяжелевший от слабости. За церковью свернул в проулок, вышел на набережную и вскоре оказался в своей тоскливой халупе. Почти все книги он перенёс на днях в соседнюю избу, к библиофилу Гольдбергу, а рукопись уложил в корзину, и голый чёрный стол сейчас выглядел сиротливо. Николай Евграфович присел к нему на табуретку, отдышался, вытер платком лоб и отпотевшие очки и оглядел избушку, низкую, с неровными бревенчатыми стенами, широченными половницами и толстыми потолочными плахами, настланными не впритык, а внакладку.

Ну, что же делать? Если сможешь хоть немного ещё поработать, вернись… Нет, сил не хватит даже на одну страницу. С работой покончено. Останется только чахнуть и постепенно умирать, обременяя друзей. Вот приедет Маша — чем её порадуешь? Ты сляжешь к тому времени в постель, и ей придётся сидеть около тебя денно и нощно, может быть, два-три года, пока не снесут тебя на гору. Нет, жизнь завершена. Работа остаётся незаконченной, и едва ли она попадёт когда-нибудь в печать. Из Минусинска пишут, что там, в южных сибирских степях, готовится к смерти мужицкий писатель Бондарев. Его философская книга так и не вышла в свет в бессвободной России, и он сейчас возит на место своей могилы огромные плиты и

высекает на них целые главы из рукописи. У тебя, Николай Федосеев, нет ни лошади, чтобы навозить плит, ни сил, чтобы врубить в камень хоть одну из твоих мыслей. Да, ты уже бессилен. И окончательно отрезан от жизни, от революционных дел. Никогда так не бывало. Даже в «Крестах» тебя не могли изолировать. Ни в казанской и владимирской тюрьмах, ни в глухом Сольвычегодске не прерывалась связь марксистскими кружками, а теперь вот… В последнее время переписываешься только с Машей. Владимир Ильич обижается, что не отвечаешь, но что ему напишешь? Жалобу? Он захвачен работой — не стоит его отвлекать и огорчать.

Лязгнула щеколда калитки, Николай Евграфович глянул в открытую дверь и увидел Ляховского, Наверно, Лежава уже побывал у доктора и попросил навестить. Следят. Вчера пришли в бор разыскивать, поймали, привели в эту хижину. «Вам лежать надо, лежать!» Людмила Степановна, когда перетряхивала постель, кажется, заметила под тюфяком револьвер. Надо положить его в корзину. Под рукопись.

Ляховский, чистенький, в белой парусиновой куртке, поднялся на крылечко, вошёл в избушку и поставил на стол маленький туесок, закупоренный сосновой крышкой.

— Что это? — спросил Николай Евграфович.

— Лекарство. Вчера ходил за реку, в деревню Челпаново, вскрыл мужичку нарыв на шее — навязали вот топлёного масла. Ну-ка, позвольте. — Доктор подошёл к Федосееву, пощупал пульс, потом приложил руку ко лбу. — Дружище, у вас жар. Ложитесь в постель.

— Ладно, лягу, только заберите этот туесок.

— Не дурите. Вам нужно усиленное питание, Жиры, жиры необходимы. Посмотритесь в зеркало — лица нет, одна бородка осталась. — Ляховский сел на лавку, закинув ногу на ногу. — Это вас Юхоцкий довёл. Нервничали, плохо спали, не соблюдали никакого режима, а болезнь только этого и ждала. Ничего, поправимся. Покой и питание. Послушайте, тут недалеко живут буряты. На речке Тальма. Нет ли у них кумыса?

— Нет, кумыса они не делают, гонят тарасун. На кумыс поехать мне советовали ещё во Владимире, но мои политические доктора послали на курорт в Сольвычегодск.

— Всё тюрьмы да ссылки. Сколько вы уже трубите?

— Одиннадцатый год. С семнадцати лет.

— Бежать ни разу не пытались?

— Нет, это не в моей натуре. И я не сторонник эмиграции. Здесь нужны люди, в России… Во владимирской тюрьме надзиратели хотели однажды выпустить. Можно было рискнуть,

да жалко стало мужичков. Всех посадили бы, а у них в деревнях семьи, малые дети. Славные были надзиратели. Привыкли ко мне, просто сдружились. Передавали товарищам мои письма и от них приносили. Особенно активной была переписка с Самарой. С Ульяновым. Да, было время. Теперь вот хожу оклеветанным.

— Николай Евграфович, что вы казнитесь? Вас знают все марксисты России. Никто из них не верит Юхоцкому.

— Ладно, не утешайте. Оставьте меня. Я полежу.

— Хорошо, ложитесь. — Ляховский поднялся, вышел на крылечко.

Николай Евграфович вскочил с табуретки, догнал его, придержал за руку.

— Яша, дорогой, не обижайтесь. Это я сгоряча. Мы друзья. У нас общее дело. Оно дороже всего. Оно бессмертно. Понимаете, бессмертно!

10

Был праздник. По Большой улице ходили кучками принаряженные девушки и парни. Старики сидели у калиток на лавочках и пристально рассматривали прогуливающихся. Николай Евграфович дошёл до нижнего конца улицы и оказался на берегу, у переправы. Он сел на перила причального паромного настила и стал смотреть за реку, туда, где в Лену впадала Куленга. Там где-то, на этой мало кому знакомой речке, в десяти верстах отсюда, в деревне Шеметово, живут и работают, грустят и веселятся, плачут и поют его добрые знакомые. Матрёна Ивановна, может быть, полет сейчас пшеницу и поёт какую-нибудь протяжную, тоскливую песню. Господи! Как она тогда пела!

Сидя на шатких перилах, он пытался вспомнить мотив той грустной песни. «Закатилось красное солнышко за тёмные, ой, за тёмные за леса…» Он пробовал тихонько петь, но так и не смог восстановить мелодию. Спрыгнул с перил, пошёл по берегу домой.

Во дворе, у крыльца хозяйской избы, играла камешками худенькая болезненная девочка, которую Николай Евграфович учил зимой грамоте.

— А к вам дядя Андрей приходил, — сказала она.

— Андрей Матвеевич?

— Ага.

— Доченька, ты отнесёшь ему вечером записку? Хорошо?

— Давайте.

— Записка будет у меня на столе. Возьмёшь и отнесёшь. Только вечером. Поняла? — Николай Евграфович погладил её по голове. Потом вошёл в свою пустую избушку, выдвинул из-под стола корзину с рукописью, достал револьвер и сунул его в карман брюк. Взял чистый лист бумаги, сел на табуретку, набросал прощальную записку Андрею Матвеевичу и Людмиле Степановне. Подписал: «Ваш И. Федосеев».

И ниже добавил ещё одну строку: «Рукопись прошу передать Ляховскому для Кржижановского». Выдвинув ящик стола, он увидел подаренное Машей овальное зеркальце и поднёс его к лицу. Да, Яков прав. Лица нет, одна бородка. И большие глаза под очками, удивительно спокойные. Ну что ж, дружище, прощай. Жил ты, надо сказать, неплохо, сумей неплохо умереть. Спокойно, мужественно. Ты уходишь, но дело, которому отдал все силы, продолжат другие, здоровые, сильные. Жизнь вечна.

Он положил зеркальце в стол, взял гребешок, причесал

волосы, поднялся, окинул взглядом своё жилище, вышел, сбежал с крылечка и быстро прошёл по двору. Девочка играла уже за калиткой. Он ещё раз погладил её по голове и торопливо зашагал по набережной. Дойдя до проулка, оглянулся, девочка смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой.

На Большой улице было людно. Николай Евграфович, пересекая её, одёрнул полотняную белую косоворотку, чтоб никто не заметил выпуклого и оттянутого брючного кармана.

Городок остался позади. Николай Евграфович шёл по распадку, по мягкой пыльной дороге, рассекавшей прямой линией овсяное поле купца Купцова. Веял ветерок, и по обеим сторонам дороги бежали, тихо шелестя, серебристо-зелёные волны. На горе, в сосновом бору, куковала запоздалая кукушка, и под печальные звуки вспомнился наконец мотив шеметовской песни. «Закатилось красное солнышко за тёмные, ой, за тёмные за леса…»

Сзади послышался крик. Николай Евграфович обернулся и увидел бегущих за ним Лежаву, его жену и Гольдберга. Девочка поспешила с передачей записки. Неужели всё лопнуло? Нет, решение должно быть выполнено. Николай Евграфович свернул с дороги и побежал наискосок по овсяному полю в лес, на горку. Врезавшись в сосновый бор, он остановился, выхватил из кармана револьвер, повернул его дулом к сердцу, поднял курок и нажал на спуск.

Эпилог

Доктор Ляховский сразу же послал письмо Владимиру Ильичу. Оно пришло в Шушенское через три недели. Владимир Ильич сидел в это время над своей книгой о рынках. Прочитав верхоленское письмо, он рванулся из-за стола и закружил по комнате. Дом был пуст. Надежда Константиновна ушла с матерью за грибами, и поговорить было не с кем. Владимир Ильич выбежал во двор и нервно зашагал по дорожке между рядами кольев, увитых зелёным хмелем. Не успокаивал и этот импровизированный садик. Ах, Николай Евграфович! Стойко переносил все невзгоды, а тут не выдержал. Болезнь подкосила. Болезнь и наглая клевета. Нет человека. Большого, необыкновенно талантливого. Ушёл. И в такое время ушёл! Очень будет не хватать его в битвах. Корзину с рукописью просил отправить Кржижановскому. Дойдёт ли она? Необходимо съездить в Минусинск и поговорить с Глебом. Вот закончить книгу и поехать. Надо спешить.

Владимир Ильич вернулся к столу. В этот день писать ему было трудно, но назавтра и все последующие дни он работал ещё более упорно, чем раньше. В начале августа он закончил вчерне книгу и принялся отделывать первую главу. Надежда Константиповна переписывала готовые страницы в тетрадь, чтобы послать её потом в Подольск Анне Ильиничне, которая с нетерпением ждала рукопись и уже договаривалась с петербургскими издателями.

Когда Надежда Константиновна предложила мужу поехать в Минусинск подлечить зубы, он с радостью согласился. Да, да, надо воспользоваться случаем и вырваться дня на два. Не так уж сильна эта зубная боль, но в Минусинске Кржижановский и Старков, а встреча с ними необходима. Может быть, в окружной столице не окажется дантиста, и тогда будет основание вытребовать у енисейского губернатора поездку и в Красноярск. Туда недавно прибыла Аполлинария Якубова, член «Союза борьбы». Там сейчас и петербургские студенты, молодые марксисты. Они поступили на службу в железнодорожное депо, и неплохо было бы помочь им организовать рабочий кружок. В дорогу.

Владимир Ильич укатил на выездной крестьянской одноколке в Минусинск.

Попросив возницу-попутчика остановиться у почтовой конторы, он перемахнул через борт брички, сбил ладонью с лацканов пиджака пыль, встряхнул помятую шляпу и взбежал на

крыльцо. Почта. Сюда, в Минусинский округ, в Шушенское, приходят письма революционеров со всех концов России. Даже из-за границы.

Владимир Ильич подошёл к седоусому чиновнику, сидящему за барьером.

— Скажите, пожалуйста, нет ли писем в Шушенское? Ульянову.

Седоусый взял стопку конвертов, перебрал их и два отложил.

— Есть.

— Разрешите их получить?

— Что, не терпится? Завтра вручит вам почтальон.

— Но зачем же ему везти лишний груз?

Чиновник усмехнулся и подал письма. Одно из них было из Подольска, от Анюты, другое — ил Архангельска, от Михаила Григорьева. Владимир Ильич вскрыл на ходу подольское, пробежал глазами по знакомым строкам. Ничего нового, Анюта по-прежнему ждёт рукопись, от петербургских издателей ответа ещё не получила. Ну-ка, что в Архангельске? Владимир Ильич вынул другое письмо и, остановившись, прочитал. Что, что? Он прочитал письмо снова. Покончила с собой Мария Германовна. Ужасная трагедия. Вторая жертва. Чёрт знает что такое!

Очнувшись, Владимир Ильич пошёл в музей. Этот всемирно известный музей, созданный провизором Николаем Михаиловичем Мартьяновым, был не только культурным центром округа, но и тайным клубом ссыльных революционеров и просветителей. В музее собирались и народники, и народовольцы, и польские повстанцы, и марксисты — борцы молодого племени. Тут вероятнее всего было застать Глеба Кржижановского и Василия Старкова.

Владимир Ильич, не дойдя до парадного входа, свернул во двор, а оттуда проник в читальный зал библиотеки. Да, Глеб и Василий были здесь. С ними за чёрным столом, стоящим посреди зала, сидели старый народоволец Аркадий Тырков и бывший каторжанин Феликс Кон. Все встали, сдержанно поздоровались и опять сели, а Феликс Яковлевич вышел в большой зал, побыл там минуту, вернулся и плотно закрыл за собой дверь.

— Сейчас библиотекарь запрёт парадную дверь, — сказал он. — Садитесь, Владимир Ильич.

— Спасибо. Ехал в сибирском кабриолете, окаменел, надо размяться. Где же ваш Николай Михайлович?

— Уехал к Тимофею Бондареву. Хочет выпросить у пего хоть часть рукописи. Тот решил себя увековечить, переносит свою философию с бумаги на каменные скрижали.

— Слышал, слышал. — Владимир Ильич подошёл к книжной

полке, посмотрел на бюст Шекспира и быстро обернулся. — Напрасно старик старается! Разрушат и ого плиты. Нам надо пробиваться к печатным станкам. Вот Федосеев оставил интереснейшую работу. — Владимир Ильич подошёл к Старкову и Кржижановскому. — Мы должны её спасти. Что, Глеб, корзина с рукописью ещё не пришла?

— Нет, не пришла.

— Надо написать доктору, разузнать, когда и как она послана? Ведь и Мария Гонфенгауз погибла…

— Погибла? — встрепенулся Глеб. — Непостижимо!

— Собралась в Верхоленск, но получила оттуда письмо и застрелилась… Этот Юхоцкий, говорят, рядится под социал-демократа. Сколотил целую компанию и оклеветал честнейшего революционера. Ужасны эти ссыльные истории. Слышал, и в других колониях наших травят. И у нас тут, как помните, тоже что-то заваривалось из-за побега одного товарища. Появляются какие-то вожаки и вносят раздор в жизнь. Мы ещё не умеем как следует защищать своих товарищей. И это в то время, когда каждый марксист на счету. — Владимир Ильич подошёл к двери и, приоткрыв её, посмотрел в большой зал. Потом опять вернулся к столу. — Социал-демократы должны стоять стеной. Если мы хотим создать сильную партию, нам надо драться за каждого её члена, за каждого преданного человека.

Феликс Кон встал.

— Владимир Ильич, мы, может быть, здесь мешаем?

Ульянов подошёл к нему и взял его за локоть.

— Феликс Яковлевич, вы для нас не чужой.

— Но мы всё-таки не марксисты, — сказал Тырков. — Возможно, даже и не революционеры. Наше прошлое ныне забыто.

— Нет, не забыто, Аркадий Владимирович. Вы из той геройской когорты, подвиги которой марксисты никогда не забудут. Мне вспоминается сейчас одно письмо Николая Евграфовича. Он очень тепло писал о первомартовцах. О Желябове, Перовской…

— Никак не верится, что Николая Евграфовича уже нет, — сказал Старков.

— Он с нами, — твёрдо сказал Владимир Ильич. — Он воспитал много молодых марксистов в Поволжье и в центре России. Их жизнь — это его жизнь… И он будет с нами, когда народ завоюет свободу.

Таруса, 1966–1967 гг.

notes

Примечания

1

Педели — университетские надзиратели.

2

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо *(лат.)*.

3

Господа, давайте осторожнее. Хозяйка, кажется, к нам прислушивается. Может быть, перейдём на французский? (Франц.).